НЁМАН

7/2012
ИЮЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

Первый заместитель директора — главный редактор Алесь Николаевич БАДАК

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Е. Н. Макаренко*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкая*

Подписано к печати 09.07.2012 г. Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,52. Тираж 3179. Заказ 1903.
Цена номера в розницу 14 300 руб.
Журнал «Нёман» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Юридический адрес: 220005, Минск, пр. Независимости, 39.
Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь; общественное объединение «Союз писателей Беларуси»; редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



НИКОЛАЙ ЕЛЕНЕВСКИЙ

Мытари и фарисеи

Роман

*Последним офицерам
Вооруженных Сил Советского Союза*

У входа в здание штаба, рядом с огромной жестяной урной для мусора, в специальной рамке под туго натянутой леской висело объявление. Написанное размашисто, красной краской начальником полкового клуба гвардии капитаном Ерохиным, оно сообщало: «Сегодня состоится офицерское собрание в поддержку политики, проводимой Президентом СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым.

Докладчик генерал-майор Б. П. Иванников.

Явка обязательна. Начало в 19.00».

Бумажный уголок вылез из-под пружинистой лески и хлопал на легком утреннем ветру: то ли радовался тому, что освободился, то ли стремился закрыться от поднявшегося над горами солнца.

Начальник продовольственной службы гвардии майор Пухляк, никогда не питавший особой симпатии к подобным мероприятиям, которых в последнее время было пруд пруди, взглянул в мою сторону, иронично хмыкнул:

— Опять уши трубочкой. Да сколько можно! У меня квартальный отчет на носу, а у них лапша, как нам будет хорошо и весело жить в связи с завершением очередного этапа перестройки. Поддержим всенародно любимого президента. Бред, да и только. Николай Никитич, а этот генерал, откуда он, что-то раньше я такой фамилии в штабе округа не слышал?

Мне оставалось пожать плечами. В последнее время то генерал депутатом становился, то депутат генералом, вот и разберись, чья фамилия и кто за ней стоит. В маленькой беседке, когда-то выкрашенной в ярко-зеленый цвет, а теперь облупившейся, группа офицеров, прежде чем разойтись по кабинетам, не спеша затягивалась полученными в счет пайка сигаретами и обсуждала судьбу родного гвардейского вертолетного полка. Последние новости в большинстве своем состояли из слухов, а каждая последующая новость рождала этих слухов еще больше.

— На собрании о чем речь будет, опять «ля-ля, бу-бу».

— Да вот Пухляк чего-нибудь скажет. Пухляк, ты чего расстроился, тебя же начальник политотдела записал выступающим, вот и пройдешься своим логическим мышлением по всем шероховатостям, — в беседке рассмеялись.

Пухляк, не уловив иронии, взвился как ужаленный:

— Как записал? Я своего согласия на трибуну не давал!

— Ха, тебя спрашивали. Прошлый раз от штаба выступал Исламбеков…

— Да нет, Исламбеков от первой эскадрильи, от штаба майор Пушкарев. Теперь твоя очередь, гвардии майор котлет и консервов.

— Да ну вас, — Пухляк обиженно махнул рукой. — Скажи, Никитич, ну зачем мне все это? Разве у нас мало таких, кому трибуна как жена родная…

— Чем ближе, тем теплее, — донеслось из беседки.

Мне оставалось его тем утешить, что генералы перед отлетом не особенно любят много говорить, следовательно, собрание пройдет по усеченному формату.

— По какому формату ни пройдет, говорить же что-то придется, а так не хочется, народ уже плюется от этой болтовни.

— Вот и скажи об этом!

— Придет время и скажу. Здесь один знакомый шепнул, что вскоре партию из армии погонят, и политотделы вместе с ней. Чувствую, заварушка будет, пожалуй, круче афганской.

— Чудак, нашел с чем сравнивать. Если что и будет, так в порядке реформирования. Без реформы страна армию потеряет. Это однозначно. Афганистан показал, что в этом плане нам есть о чем подумать.

Пухляк улыбнулся:

— Теперь «думалки» в другом направлении работают. Мы еще в академии об этом спорили, между собой, втихую, а теперь можно и гласно, что однопартийная система себя изжила. В Москве так многие считают. Уж если там кому в голову мысль вскочила, так обратно ее не вышибешь. Так что будем готовиться сдавать партбилеты.

— Сдавать или нет, время покажет.

— Это в вас член парткомиссии говорит, а в душе боевого офицера полное со мной согласие.

— Откуда ты знаешь, что в моей душе?

— У вас на лице, как на этой бумаге, — и он кивнул в сторону объявления, — как считаете, пойдет народ?

В прошлый раз офицеров заманили в клуб тем, что Ерохин где-то достал аудиокассеты с фильмом «Однажды в Америке». Зал набился битком. Даже пришли офицеры с танкистскими эмблемами. Клубный телевизор пришлось подвешивать к потолку.

Вскоре позвонили из штаба округа, сказали, что собрание надо начать на два часа раньше. Причину объяснять не стали. Она прояснилась, когда начальник политического отдела подполковник Дубяйко по своим каналам узнал, что после собрания генерал Иванников сразу улетал в Москву.

Командир полка подполковник Гаврилов схватился за голову, вызвал к себе начальника штаба подполковника Громова, и вдвоем начали срочно обзванивать командиров эскадрилий. В моем кабинете также раздался телефонный звонок:

— Лунянин, давай сюда и захвати с собой всех кого можно!

— А кого можно?

— Да не ёрничай ты, я же сказал всех. Приказано собрание на два часа раньше начать.

— А с чего бы это? У меня все оповещены, что на девятнадцать, как теперь их собирать? Если солдат для массовки, на задние ряды?

На том конце телефона послышалось громкое чертыхание, переросшее в мат, что Гаврилов позволял себе в разговорах со мной крайне редко.

— Какие такие солдаты! Собрание офицерское!

— Так общее сделай, ты же командир полка! Или не командир?

— Какое общее, в политуправу уже пошло, что офицерское. Дубяйко на ушах стоит! Поэтому собирай всех! Это не просьба, это приказ! Ясно?!

— Вполне!

— Вот и выполняй, а я посмотрю, сколько человек из твоей эскадрильи будет.

Полковая суета по поводу собрания быстренько превратилась в полковую беготню. А в итоге собрание перенесли на полчаса позже, потому что в клубе про-

пало электричество, не работали кондиционеры, молчал микрофон. Пока переносили, молодой генерал Иванников, чтобы не терять времени, попросил собрать в политотдел партийных и комсомольских активистов для личной беседы. Собрали всех, кто попался под руку.

Пока генерал популярно излагал активистам задачи, стоящие перед полком в плане политико-воспитательной работы, политотдельцы вместе с дежурным по части начали искать капитана Ерохина. Подполковник Дубяйко грозился сорвать с Ерохина не только погоны.

— Найдите мне этого разгильдяя! Немедленно! Я оторву ему все, что можно оторвать! Сколько раз говорил, надо убирать его из полка, так нет, Гаврилов уперся: боевой офицер, по ранению летать не может, а так родине еще послужит. Где послужит? Кем послужит? А надо было под зад ногой, чтобы крылья обрел и улетел подальше. Жалельщиков развелось, — он начал материться, — вот и дожалелись. За срыв такого собрания, знаете, что бывает?

Подполковник Громов ухмылялся, другие офицеры штаба сочувствующе качали головой. Начальника полиотдела хотя и недолюбливали, но перечить никогда не перечили, дабы не нарваться на неприятность.

Дубяйко постоянно восседал в своем кабинете, дверь в дверь рядом с командирским, встречал каждого входящего с пренебрежительной улыбкой на тонких нервных губах. Был он из молодых, растущих офицеров и давал понять окружающим, что значит быть в такой должности. В полк он попал ко времени, когда мы уже оставляли Кандагар. Месяц какой-то зацепил того, чего нам оказалось с лихвой, но и этого месяца ему хватило, чтобы украсить грудь медалью «За боевые заслуги» и звание подполковника получить досрочно. Офицеры тогда косились на Гаврилова, но он лишь разводил руками, дескать, от меня здесь ничего не зависело. Ушлый Пухляк узнал, что в женах у Дубяйко родственница одного из заместителей командующего Московским военным округом: «Теперь ясно, какие ветры дуют, оранжерейный, из дикорастущих так бы не взлетел», — усмехались те, кто медаль добывал потом и кровью.

А здесь еще в составленном плане работы Ерохин возьми да и сделай перенос фамилии вопреки всем правилам грамматики: «Дуб-яйко», и принес на утверждение. Дубяйко вначале размашисто вывел подпись, а когда прочел, вскипел:

— Капитан, это что такое? — он тряс стопкой листов перед лицом Ерохина. — Что-о, тебя спрашиваю?!

— Ваша фамилия, товарищ подполковник.

— Капитан, я тебе такую фамилию покажу, что ты у меня всех своих предков вспомнишь, — он разорвал план и бросил в мусорную корзину. — Переделать!

Об этом с легкой руки того же Ерохина стало известно в штабе. В эскадрилье офицеры, увидев начальника клуба, подтрунивали: «Ероха, как твои «дуб» с «яйко» поживают? Смотри не разбей, дуб покрепче будет».

Дубяйко был годами младше капитана. Но Ерохину с его средним училищем да детдомовским воспитанием на особое продвижение по службе претендовать и не приходилось. Разве что перед увольнением в запас, до которого оставалось менее года, мог получить звание майора. Поначалу он на это надеялся, даже думал, что станет им куда раньше еще там, в Кандагаре. И стал бы, окажись на месте Дубяйко иной офицер. Гаврилов же долго уговаривал нового начальника политотдела подписать представление, но тот уперся:

— Родина офицерскими званиями не швыряется, и мой долг коммуниста свидетельствовать об этом. Я даже не знаю, по какому праву он еще в партии.

Капитан Ерохин, опрокинув стакан разведенного кока-колой спирта, сказал:

— И «дуб» гнилой, и «яйко» протухшее…

Нашлись доброхоты, которые донесли об этом начальнику политотдела, тот возненавидел своего подчиненного лютой ненавистью.

Ерохина нашли на чирчикском базаре, где он утолял жажду кумысом и был немного захмелевшим от этого благородного, не значившегося ни в каком реестре алкогольных изделий напитка.

Увидев секретаря парткомиссии майора Сорокина, он радостно воскликнул:

— Давайте-ка сюда, Петрович! И как там в песне народной поется: «Не кочегары мы, не плотники, и сожалений горьких нет, а мы партийные работники, и с высоты вам шлем привет!» Садись, угощаю! До чего хорош кумыс. Помнится, ты уважал этот напиток.

— Послушай, Ерохин, тебя весь полк ищет! — вскипел Сорокин, которому порядком надоело мотаться в жарком чреве уазика по чирчикским забегаловкам. — Ты знаешь, что собрание перенесено?!

— Полк, это хорошо, выходит, я полку еще необходим, — добродушно ухмыльнулся Ерохин.

— Какое там хорошо, — Сорокин суетливо забегал туда-сюда перед столом под длинным, отбрасывавшим неглубокую тень парусиновым навесом. На другом конце стола продавец ловко раскачивал бурдюк с кумысом, не позволяя застаиваться и нагреваться, натренированно, даже с видимым шиком наливал полные косушки, при этом ни капли не проливалось на стол, и косушки мигом разбирались посетителями. — Ну-ка, быстрее в машину!

— Не будем спешить, сколько на твоих кремлевских?

— Да нисколько! Кондиционеры не работают, микрофон молчит. Ерохин, ты знаешь, что уже сорвал собрание?

— Конечно знаю, — Ерохин осушил косушку. — Эх, до чего хорош напиток, холодненький, а за душу берет. Только дурак не может знать, какая судьба ему уготована, дорогой мой Иван Петрович. Полчаса туда, полчаса сюда, разве для генералов это время. Это для нас с тобой время. Забыл, значит, как я тебя на том проклятом склоне спасал? Ты знал, что мы выживем? Нет! А я знал! Еще как знал, даже будь иначе, все равно бы полетел. Э-эх, к черту все! Я и сейчас знаю, как в той песне поется: «Капитан, никогда ты не станешь майором!» Вот так вот.

Подъехав к клубу, Сорокин быстренько провел Ерохина через тыльную дверь по узкому темному коридору в комнатку за сценой и приказал:

— Сиди и не высовывайся, а я постараюсь все уладить с Дубяйко.

Электрики уже выяснили причину отключения электричества. Оказалось, что сгорела соединительная муфта на кабеле подачи питания, и в этом никакой вины Ерохина не было. Муфту быстренько заменили. Сержант включил рубильник, загудели кондиционеры, зажглись люстры, засвистел микрофон, ожидавшие генерала офицеры стали занимать места подальше от сцены. На ней для президиума возвышались столы, накрытые тяжелыми красными скатертями, сшитыми женой Ерохина Натальей из отслужившего сценического бархатного занавеса, за что капитан выслушал похвалу от Гаврилова, правда, с добавлением: «Да не тебе, а жене твоей». — «Так ведь вы сами сказали списать и пустить на тряпки, а я вот…» — «Лады, и тебе спасибо».

Как я и предполагал, все пошло тем чередом, который давно устоялся для такого рода мероприятий. Радовало, что генерал Иванников постоянно посматривал на часы. Он снял их с руки и положил перед собой на трибуну. Каждую фразу начинал с чеканного, словно отлитого из металла призыва:

— Товарищи офицеры!

Дальше следовали пропущенные через генеральскую душу слова генерального секретаря компартии товарища Горбачева о том, что обратного пути у нас нет,

что только перестройка позволит нам подняться к тем высотам социального благополучия, на которые нацеливает народ наша родная коммунистическая партия.

— Горбачев — наш президент! — Иванников снова громко повторил: — Горбачев — наш президент.

Первые ряды как по команде встали и начали дружно аплодировать и скандировать: «Горбачев — наш президент!» Их поддержали. Довольный Иванников аплодировал вместе со всеми.

— Партия была, есть и будет той силой, которая способна сцементировать наши ряды в единый монолит для претворения в жизнь всех намеченных планов. — Генерал потихоньку входил в ораторский транс.

Каждые новые аплодисменты, инициаторами которых были сидевшие в первом ряду партийные активисты, еще больше подхлестывали генерала. «Да, все как на автопилоте», — шепнул мне Парамыгин. Сколько бы это продолжалось, не выйди на сцену капитан Ерохин, никто не знал, видимо, до самой посадки генерала в самолет. В руках у Ерохина были графин с водой и стакан. Увидев Ерохина, генерал дружески улыбнулся, отодвинулся чуть в сторону, разрешая установить графин на трибуне в подобающем месте. Парамыгин вдруг нервно оглянулся, зябко потер широкие крепкие ладони: «Эх-ма, откуда его черт принес?! Да, покатилася торба с великого горба...»

Я даже не понял, к чему все это было сказано.

Ерохин графин со стаканом почему-то не ставил, а стоял с ними перед трибуной, слегка пошатываясь, казалось, что он и вовсе раскланивался перед генералом.

— Извините, товарищ генерал, извините. Сейчас, один момент, — он попытался налить воды в стакан, но вода упрямо текла мимо, ему на брюки, на пол.

— Да вы не волнуйтесь, товарищ капитан, не волнуйтесь, — Иванников снова улыбнулся офицеру, — ну, вот видите, все в порядке, ставьте, ставьте.

Ерохин поставил графин, а стакан попытался пододвинуть ближе к генералу. Зал замер, наблюдая за всем происходящим. На лбу у подполковника Гаврилова выступила испарина, и он машинально промокал ее белоснежным носовым платком. Дубяйко уперся взглядом в список выступающих, как будто гипнотизировал, у Громова под кожей забегали желваки, но он сохранял каменное выражение.

В зале заволновались. Это подспудно передалось и генералу, искоса наблюдавшему за сидевшими и за Ерохиным:

— Все, все, вы свободны, капитан, идите! — влетело к нам через микрофон. Но наполненный до края граненый стакан вдруг не послушался подрагивавшей капитанской руки, опрокинулся, и зал охнул. Гаврилов схватился за голову, а Дубяйко даже привстал, еще не осознавая до конца, что происходило. Ерохин же, конфузливо извиняясь, ухватился за трибуну, пытаясь рассмотреть, куда попала вода. Только Громов походил на каменного идола.

— Прямо невезение какое-то, товарищ генерал, вы извините, совсем нечаянно… вот, по жизни прямо невезение, — совсем по-детски бубнил Ерохин.

Генерал хмуро зажевал губами, покачал головой так, словно вколачивал в желто-лаковую доску невидимым молотком невидимый гвоздь.

К трибуне уже торопился перепуганный Сорокин…

* * *

Плакат упрямо свешивался на одну сторону, и я начал в очередной раз его поправлять, когда в дверь учебного класса постучали:

— Товарищ гвардии подполковник, вас срочно вызывает к себе начальник политотдела! — раскрасневшийся от бега посыльный держал ладонь у краешка панамы, на которой сидела перекошенная набок красная звездочка с отбитой эмалью.

— Цель вызова?

— Не могу знать, товарищ гвардии подполковник!

— Не могу знать, не могу знать, а прешь, как танк! — мне не хотелось прерывать только что начатое занятие с молодыми летчиками о пикировании вертолета для точного бомбометания. Еще в Кандагаре опробовал этот метод, разработал его для боевого применения.

— Сообщите дежурному, что вызов получен, я скоро буду. Понятно?

— Так точно, товарищ гвардии подполковник! — солдат лихо повернулся, в окно было видно, как опять бегом заторопился к зданию штаба, до которого от учебного корпуса было с километр.

Дубяйко никогда просто так не вызывал, у него все было срочно. Это срочно могло растягиваться на целые часы по составлению различных планов, проведению собраний. Я подумал, что занятие завершить успею, ведь в конце месяца желательно отработать тему в ходе практических полетов в зону. Но минут через пятнадцать снова прибежал изрядно взмокший посыльный, запыхавшись, поднес руку к панаме:

— Товарищ гвардии подполковник!..

— Я же сказал, вызов получен.

Солдат взмолился:

— Товарищ гвардии подполковник, дежурный сказал, что только вас ожидают!

— Передай дежурному, что вызов получен! — я почувствовал, что еще мгновение, и сорвусь. Лейтенанты переглядывались и улыбались.

Не успел солдат закрыть дверь, как в класс вскочил капитан с красной повязкой на рукаве:

— Товарищ подполковник!..

Среди лейтенантов прокатился смешок. Мне и самому стало смешно:

— Что там стряслось, что? — я хлопнул указкой по плакату, который слетел со стойки и плавно приземлился на пол, но взял себя в руки. — Штаб горит?

— Командир сказал, что это приказ!

— Иди и доложи, что…

— Товарищ подполковник, Гаврилов сказал без вас не приходить!

В просторном кабинете начальника политотдела Ерохин сидел отдельно, жался в самом уголке и совсем не был похож на того отчаянно смелого офицера-красавца, которому в Афганистане так благоволила удача. Только теперь я заметил, как сильно изменился внешне: обрюзгший, в мятой рубахе, он легонько гладил верх фуражки, которую почему-то держал в руках, словно этим поглаживанием себя успокаивал. Мне стало понятно, почему Дубяйко так захотелось, чтобы и я участвовал в этом заседании.

Члены партийной комиссии, сидевшие за длинным столом, похожим на бильярдный, старались не смотреть на Ерохина. Они вообще старались никуда не смотреть. Даже один на одного. По зеленому сукну лениво ползала толстая муха, постоянная жительница местного базара, случайно попавшая в кабинет с чужими запахами и непривычным для нее холодком. Начальник ТЭЧ полка майор Парамыгин пытался пстрыкнуть по ней пальцем, она мгновенно улетала. Полетав, возвращалась, снова садилась напротив Парамыгина, тщательно чистила передними лапками громадные глаза и чувствовала себя хозяйкой.

Дубяйко, наблюдая за усилиями Парамыгина, раздосадованно произнес:

— Парамыгин, столько окон открытых, так нет, надо сюда залететь, открой дверь, пусть убирается!

— Кто?! — очнулся Парамыгин.

— Муха, а кто же еще! Командира и начальника штаба не будет. Разговор проведем без них.

— А может, прихлопнем, вон сколько нас!

— Не дури, кому сказано, открой дверь! — Но муха упрямо не хотела вылетать.

В политотделе сразу после отъезда Иванникова прошло собрание. На нем политотдельцы рассмотрели персональное дело коммуниста Ерохина и единогласно исключили из партийных рядов.

О том, как принимались решения в политотделе, мне было хорошо известно.

— У нас есть все основания поддержать решение собрания. Вчера мы пережили позор, позор, которого полк еще не знал. — Дубяйко постучал кончиками пальцев по красной папке. — В принципе, я ожидал, что именно этим все и окончится. Но кто меня слушал? Кто?! Выйти пьяным на сцену, и когда? Когда наступает исторический момент в жизни нашего огромного государства! Мы с вами единогласно приняли обращение к Центральному Комитету… Еще раз говорю, позор, и таким офицерам, как этот, — он красноречиво указал на Ерохина, — не место в наших рядах.

Заметив мою улыбку, Дубяйко уперся взглядом:

— Неужели кое-кто из членов партийной комиссии считает иначе? — Он раздраженно забарабанил по красной папке, и муха восприняла это как сигнал для более тщательного обследования кабинета. Начала описывать круги вдоль стен, увешанных портретами Ленина, Маркса и Энгельса, поочередно присаживаясь на каждом. — Считаю, коммунисты политотдела поступили верно. Вы это прекрасно понимаете и без меня. Так вот, по данному вопросу я хочу персонально знать позицию каждого.

Все понимали, что исключение из партии в последующем означало для Ерохина и увольнение из Вооруженных Сил, поэтому слушали Дубяйко без особого энтузиазма.

— Майор Сорокин, ваше мнение?

Сорокин вздохнул и пожал плечами.

— Да чего вы завздыхали, Иван Петрович, у нас с вами по Ерохину неоднократно был разговор, и вы соглашались, а теперь что? — И Дубяйко раздраженно выкрикнул: — Вы посмотрите на него, разве это офицер? Это наш позор!

Ерохин перестал поглаживать фуражку, замер, затем начал отстукивать по лакированному козырьку барабанную дробь.

— Вот, вот, он и здесь цирк устраивает! Это из-за таких наша партия теряет авторитет, это… — Дубяйко даже привстал из кресла, — а такие, как ты, Сорокин, этому потворствуют!

Сорокин опять пожал плечами.

— А подполковник Лунянин как думает? Николай Никитич, он ведь начинал свою службу в первой эскадрилье? — вдруг учтиво произнес Дубяйко, и его учтивость вместо привычной нахрапистости мне не понравилась. Повеяло фальшью, неестественностью. Офицеры знали наши натянутые отношения, а здесь он вдруг назвал меня по имени-отчеству.

— Да, мы начинали вместе, еще лейтенантами, — я посмотрел начальнику политотдела в глаза, и он сразу отвел взгляд.

— И что?

— Хороший офицер, орденоносец.

— Как же этот орденоносец умудрился так гвардию опозорить?

— За всю гвардию говорить не надо. В ней тоже всякого по нынешним временам хватает. А если по правде, ничего страшного в том, что произошло, не вижу. Ну, слегка освежил генерала. Вода ведь чистая, без дерьма и запаха.

— Вы, вы… ты, ты, подполковник, ты думай, что говоришь! — Дубяйко постучал себя по лбу. — При чем здесь дерьмо и запах! Да так можно договориться, знаешь, до чего?

Парамыгин ухмыльнулся, посмотрел на меня, покачал головой, пробормотал:

— Да, покатилася торба с великого горба... Фарисействуем, братцы, фарисействуем. Были такими, такими и останемся.

— Парамыгин, что у тебя, чем недоволен? — уставился на него Дубяйко.

Парамыгин оторвал взгляд от летавшей мухи:

— Из-за стакана воды ломать судьбу, не дороговато ли для нас?

— О каких «нас» мямлишь, я говорю о партии, о ее авторитете! — перешел на крик Дубяйко. — Кто еще такого мнения? Здесь не торги, здесь заседание партийной комиссии отдельного гвардейского вертолетного полка. Офицер пьяным вышел, пьяным, когда такое, — вскочил Дубяйко и покрутил пальцем, словно винтом, — такое мероприятие, в поддержку самого Горбачева. Что о нас подумают в Москве, если туда сигнал проскочит?

— Да, иногда стук быстрее доходит, чем звук, — ухмыльнулся Парамыгин, — Москва она и есть Москва, уж выше некуда! Вот только официального заключения, что он пьяным был, у нас нет. Без него… Сами понимаете…

Разговор явно пошел не по тому руслу, на которое рассчитывал Дубяйко.

— Какое еще заключение, Парамыгин? Вы что, с ума посходили? Это что, партийная оценка? — Он навис над зеленым сукном, словно собрался вынести стол вместе с сидевшими за ним офицерами хоть куда-нибудь, но подальше от своего кабинета. — Партсобрание исключило! Единогласно! Вы что, коммунистам политотдела не доверяете?! С Луняниным, выходит, спелись.

Та-ак! А как считает подполковник Семенов?

Давно ходивший в замах начальника штаба вечно угрюмый и чем-то недовольный Семенов, уже видевший себя в новой должности после ухода Громова, развел руками:

— Почему же, коммунистам политотдела мы доверяем. Как не доверять!

— Ну вот, — облегченно вздохнул Дубяйко, считая, что дальше никаких казусов ожидать не придется и он быстренько доложит в политуправление и лично генералу Иванникову о том, что коммунисты полка из всего случившегося сделали верные выводы. Он уселся и привычно расправил плечи.

— Чего мы здесь разошлись, давайте послушаем Ерохина, — внес предложение Парамыгин.

— Чего его слушать, надо выносить вопрос на голосование. А, Сорокин? — Дубяйко хлопнул по красной папке ладонью.

Сорокин согласно кивнул головой. В кабинете наступила тишина. В стекло под мерное гудение кондиционера беззвучно билась одуревшая муха.

— Ерохин, подождите за дверью!

Вместе с вышедшим Ерохиным за дверь вылетела и муха, чем вызвала грустную улыбку у Парамыгина:

— Суждено уцелеть.

— И здесь не до шуточек, Парамыгин, речь идет о чести полка, о чести советской гвардии.

Дубяйко опять куда-то понесло. В Кандагаре он умудрился наломать дров, когда не дал справить свадьбу старшему лейтенанту Горупе и молоденькой мед-

сестре из Кабульского госпиталя, доказывая всем и везде, что советские воины посланы руководством страны в Афганистан не для свадебных застолий. Медсестру срочно отправили по месту прежней работы, а Горупа сказал, что он этого никогда Дубяйко не простит. Пришлось и ему искать иное место службы.

— А может, детально поговорим о судьбе офицера, с которым мы прошли огонь, и воду, и медные трубы? — предложил я.

— Послушайте, Лунянин, вы со своими медными трубами обождете, а этот офицер должен был сам позаботиться о своей судьбе.

— У него же семья, дети.

— А что, у меня нет семьи, нет детей? У каждого из нас семьи! Вот пусть и объясняет своим, почему мы, его боевые товарищи, так поступили.

— Уже записался в боевые товарищи, — наклонился ко мне Парамыгин, — асфальтовый каток ему товарищ.

— Знаете, я против! Прав Парамыгин, нет у нас доказательств, что он был пьян. Надо провести расследование…

— Вы что, Лунянин, против партии?

— …против скоропалительного решения политотдела.

— Политотдел и партия — это одно целое. Сорокин, ставь на голосование! И учтите, Лунянин, ваша позиция мне непонятна и будет весьма неоднозначно воспринята там.

Где там, Дубяйко разъяснять не стал, взглянул на часы: через десять минут у него истекал срок, установленный политуправлением для доклада генералу Иванникову.

Я и Парамыгин голосовали против. К общему удивлению, подполковник Семенов оказался среди воздержавшихся. Когда-то на такой же парткомиссии мы спасали его от строгого партийного выговора: он развелся с женой, распутной бабенкой. Его Светуня после развода обобрала Семенова до нитки: что могла, распродала, а остальное загрузила в контейнеры и укатила в Ленинград. У Семенова не было детей, и это тогда смягчило его вину за то, что не сберег семью. Он же трясущимися руками тогда благодарил нас с Парамыгиным: «Спасибо, хлопцы, спасибо!» — «Так ведь все равно теперь в вечных замах ходить будешь», — говорили мы, имея в виду, что Семенов уже давно котировался на должность начальника штаба полка и мог бы занять ее. «Пусть в замах, но зато остался в армии».

Теперь же Дубяйко взглянул на Семенова, презрительно хмыкнул:

— Вы же сказали, что коммунисты политотдела поступили правильно, а не голосуете за эту правильность. Что-то у вас жизненные ориентиры скачут-прыгают. Или передумаете? Смотрите…

Семенов усердно тер непослушными ватными пальцами зеленое сукно и молчал.

* * *

— Николай, палатку будем брать или обойдемся и без нее? — жена упаковывала в багажник «зубила», так народ прозвал восьмую модель «Жигулей», сумки со снедью, водой, скатерть, запасную одежду, — я бы взяла, так, на крайний случай… Погода, она в горах непредсказуема.

— Исламбеков заверил, что они возьмут, — и я успокоил не в меру разошедшихся детей, с визгом носившихся вокруг машины в предвкушении субботней поездки на природу. Последние несколько суббот, в нарушение всех наших традиций, мы никуда не выезжали. Полк готовился к учениям, которые проводились по

плану штаба округа, и Гаврилов весь изнервничался, извелся: «Лунянин, ты уж со своими не подкачай». Моей эскадрилье отводилась на учениях главная роль, и я просиживал в штабе сутками. Если мы отрабатывали свои задачи на «отлично», то Гаврилову подписывали представление на звание полковника. Предыдущий командир еще в Афганистане дослужился до папахи, и там полк на радостях гудел целую неделю. Пухляк говорил, что выпили месячный запас спирта. «Да он приукрашивает, чтобы списать побольше», — возражали офицеры, хотя весомых аргументов против Пухляка у них не находилось. Здесь никто на какое-то пиршество не рассчитывал, однако нам хотелось, чтобы Гаврилов стал полковником. Это был для него, как заверял сидя у меня на кухне сам Гаврилов, последний шанс. Ветры перемен больше срывали папахи с голов, чем водружали их.

На учениях мы отработали по высшему классу, сказалась афганская подготовка. Лысоватый крепыш генерал Плешков, заместитель командующего авиацией округа, долго хлопал Гаврилова по плечу, молодцевато выхаживал перед строем: «Вот это настоящая гвардия! Представление на полковника сегодня же отправим министру обороны!»

Вечером в штабе полка долго не гасли огни. Дольше всего светились окна кабинета Гаврилова. Жена мою радость восприняла весьма сдержанно:

— Ну, ему папаха, а тебе что? Вот разгонят полк, и останемся все у разбитого корыта. — Она Гаврилова недолюбливала, и каждый его приход к нам вызывал раздражение, которое она всячески пыталась скрыть.

— Ладно, не огорчайся. Твердо обещаю, что эту субботу полностью посвящаю тебе и детям...

Жена с сомнением покачала головой.

После вывода полка из Афганистана мне в штабе тыла округа вручили талончик на приобретение машины, что вызвало бурную радость в семье. Требуемые за нее восемь с половиной тысяч рублей жена копила все те годы, которые я воевал. Как она умудрилась это сделать, мне до сих пор неизвестно. Новая машина вызвала у знакомых узбеков небывалый интерес. Торговец с чирчикского рынка говорил, что хоть завтра мне привезут тройную цену. «Брат, послушай Ибрагима, продавай, не пожалеешь, купишь на родине квартиру, мебель и еще такую же машину». Но жена даже слышать не хотела, дети тоже были на ее стороне. «Машина, вот она, а остальное по воде вилами писано». Вскоре началась денежная реформа. Все пошло с павловского обмена сторублевок. В банках очереди, суматоха, крики, слезы. Узбеки считали, что во всем виноваты русские, и делали они это специально. Свыше пяти тысяч меняли без проблем, а дальше требовалась уйма разных документов о доходах. Не доверявший банкам и прятавший деньги по разным загашникам, состоятельный народ взвыл от отчаяния. Как говорили офицеры, у некоторых на руках имелись такие суммы, которые нам и не снились. Офицерам разрешалось обменивать без ограничений. Наиболее предприимчивые стали предлагать услуги по обмену местным жителям, забыв о том, что сведения по всем денежным операциям контролировались, передавались вышестоящему командованию. Несколько наиболее рьяных оказались на скамье подсудимых.

Ибрагим через жену, которая постоянно покупала у него мясо, попросил о встрече со мной: «Брат, надо обменять на новые пятьдесят штук. Обменяешь, десять твои». Когда я отказался, он огорченно покачал головой: «Такой большой командир, а такой, извини, пожалуйста, дурак. Я никого не убивал, не грабил, вот этими руками все заработано, вот этими. Это меня сейчас хотят ограбить, понимаешь, меня. Эх, командир, командир».

Когда у моего заместителя по политической части майора Исламбекова появился довольно приличный «Москвич», я понял, что Ибрагим все же деньги обменял. И это вызвало у меня хорошее настроение.

Теперь Исламбеков со своим семейством, превышающим по численности мое ровно вдвое, составлял мне и майору Парамыгину компанию по выходным дням. Он отменно знал здешние места и каждый раз предлагал показать все новые и новые красоты узбекской земли. На этот раз мы собрались побывать на Красном водопаде. Зная мою страсть к рыбалке, Исламбеков словно невзначай добавил:

— Николай Никитич, а оттуда рыбачить… за форелью махнем.

Теперь мы ожидали, когда подъедут Парамыгины и Исламбековы. Они почему-то задерживались. Первым появился Исламбеков, но без машины:

— Звоню вам на домашний, в трубке молчание. Думаю, точно уже на улице ожидаете.

— А что стряслось?

— Отойдем в сторонку, Николай Никитич, здесь такое дело. В общем, жуткое «чепе»… — Он замолчал, затем выдохнул: — Ерохин повесился.

— Как повесился?

— На веревке.

— Ясно, что не на тросе, как, где? — мои вопросы были, наверное, еще глупее, чем его предыдущий ответ.

— Прямо на сцене в клубе. Сержант-киномеханик зашел, а он висит. Что делать?

— Гаврилову доложили?

— Он вместе с Дубяйко в Ташкенте. Там какой-то юбилей. Громову доложили, он за Гаврилова. В прокуратуру сообщили, в штаб округа…

— Ну, а в штаб-то зачем? Надо вначале во всем разобраться.

— Представитель прокуратуры уже на месте. Дежурный, бестолковый, с перепугу стал всюду названивать.

— Да, теперь начнется свистопляска. Эх, Ерохин, Ерохин, куда так поспешил? — И я махнул жене рукой: — Надюша, даю отбой. Выгружай все обратно!

— А что стряслось?

— Как тебе сказать. Одним словом, выгружай, а затем сходи к Ерохиной Наталье.

— Беда, что ли, какая? Как скажешь. — И она окликнула детей: — Андрюшка, Машенька, будем все заносить в квартиру. Так папа сказал! — Увидев, что дети готовы вот-вот разрыдаться, добавила: — У него в полку неприятности. Слово «в полку» детьми воспринималось безоговорочно.

* * *

Возле темного кирпичного здания клуба уже собирались офицеры. Суетился Сорокин, пытаясь с кем-нибудь поговорить. Подполковник Громов отдавал какие-то распоряжения.

— А, Лунянин, — он почему-то первым протянул мне руку, — нехорошо все как получилось, нехорошо, ведь офицер был не из последних. Думаю, в клубе надо прощание организовать. Парамыгин всем занимается.

— Он этим и в Кандагаре занимался, — согласился я.

— Недалеко ушло то время, а теперь вот и вовсе возвратилось, — и ругнулся.

Подошел Сорокин, потоптался, как-то виновато проговорил:

— Там бархат от занавеса остался, пускай им гроб обошьют. Наталья сказала, что хоронить будет здесь, в Чирчике, на православном кладбище.

— А при чем здесь православное или не православное, — хмыкнул Громов.

— Так она решила. Они ведь оба детдомовские. Куда везти, да и зачем?

— Может, она еще и попа заказала?

Сорокин пожал плечами:

— Вроде как самоубийц церковь не отпевает.

— Ты откуда знаешь? — удивился Громов.

— Знаю, — и Сорокин пошел сутулясь, как будто взвалив на плечи невидимый тяжелый груз, с которым теперь придется ему идти по жизни до самого конца.

— Что он знает, секретарь сраный, — ухмыльнулся Громов, — он еще не знает самого главного: только что получена бумага из Москвы. Ты даже не поверишь, что в ней прописано. Сообщаю в порядке конфиденциальности: партия приказала долго жить. Все то, о чем судили да рядили, свершилось одномоментно, армия становится беспартийной. Пока есть время, сходи, ознакомься, интересная бумага, очень интересная. Теперь Дубяйко очередь вешаться, не к слову будет сказано.

— Ты поосторожней, такие долго живут.

— Да, настоящего мужика, можно сказать, в петлю засунул. Вот, считай, что вместе с Ерохиным и партию хороним… Пойду в клуб, посмотрю, что там и как. Послушай, у Ерохина помимо ордена много медалей, надо бы все на атласных подушках разместить, знамя полка поставить. Ты как считаешь? Да, еще траурное фото около клуба и около подъезда. У него квартира на каком этаже?

— На втором, — ответил я, пересиливая бедовый комок, клещами сжимавший горло. — Я своей сказал, чтобы сходила к Ерохиной, мало ли что, да и сам пойду туда.

— Значит, у подъезда, — буднично продолжил Громов, — а насчет жены, правильно. Остальных она и видеть не захочет. Сдали мужика ни за понюх табаку. — Чувствовалось, что он в душе гордился тем, что не присутствовал на заседании партийной комиссии. Громов кивнул в сторону гор: — Ишь, облака закурчавились, быть грозе.

— Гроза, как слеза, будь оно все неладно, я у себя дома.

— Ладно, — Громов кивнул головой, — шагай.

На полпути от штаба к ДОСам меня догнал запыхавшийся Сорокин:

— Николай, сумасшествие какое-то, не поверишь, позвонил Дубяйко, приказал: никаких похорон в клубе не устраивать, никаких почестей. Сказал, таково требование политуправы…

— Генерала Иванникова, что ли?

— Ну, не знаю, скорее всего.

— Совсем оскотинимся, если послушаем, — не выдержал я. — И мертвому покоя не дадут.

Сорокин, словно не расслышав, продолжал:

— Там Громов за голову схватился, кричит, ему начхать на Дубяйко, он боевого офицера хоронит, а не просто какого-то пьянчужку, как это собирается выставить партийная братия.

Я знал, что Громов больше кричит для внешнего антуража. Он всегда сделает то, что ему прикажут, ни на шаг в сторону. «Да если бы я с начальством так, как тот же Ерохин, то и ходил бы, как и он, в капитанах, — пояснил Громов, — где много чести, там много и пакости. Жаба душит». С ним трудно было не согласиться. Вот и похороны он проведет по указке сверху так, как желает командование.

— Никитич, а насчет бумаги из Москвы это правда? — Сорокин пошарил по карманам, извлек платок и привычным жестом вытер лицо.

— Не видел, Иван Петрович, не видел, да и особого желания видеть, что там сейчас из Москвы присылают, у меня нет. Хотя по нынешним временам ожидать можно чего угодно. Сегодня так, а завтра эдак. Какой президент, такая и политика.

Сорокин осторожно кивнул головой:

— Пожалуй, оно конечно… Быстро же нас предали, быстро! Чувствовал, нутром чувствовал, что это будет, но не так скоро…

Мне не хотелось его слушать, и он понимал это, произнес то ли для оправдания, то ли для самоуспокоения:

— Наталья, наверное, меня проклинает, а что я мог поделать, что? Хоть ты сам… — он не договорил, вдруг отчаянно махнул рукой и пошел, боясь оторвать взгляд от запыленного, в паутине трещин асфальта, уже горячего и мягкого.

Около подъезда, несмотря на удушающую жару, толпился народ. Завидев меня, некоторые поздоровались, некоторые отвернулись. И только теперь я понял, что такое видеть перед собой спины тех, кто еще вчера протягивал руку.

Над горами курчавилось, синело, набрякало чернотой грозовое облако, обрамленное по краям седой бахромой.

Наталья в черном платье и черном платке сидела на стареньком диване, обняв детей. Диванчик был маленький, весь вытертый, купленный еще в ту далекую лейтенантскую бытность, когда любая такая покупка была настоящим событием для молодой семьи, и многократно ремонтированный Ерохиным. На предложение сослуживцев приобрести что-нибудь поновее он смеялся: «Нам, детдомовским, не привыкать! — И добавлял: — Две красавицы растут, приданое надо. Будь хлопцы, в авиацию бы пошли, а эти… Поэтому, как Наташка говорит, копейка рубль бережет».

Увидев меня, Наталья горестно вздохнула, но не выдержала, поднялась, бросилась на грудь и заплакала. За ней начали плакать дочери. К ним добавились слезы моей жены, соседей. Из другой комнатки вышел Парамыгин, вытер кулаком глаза:

— Как в такой тесноте гроб разместить? Конечно, лучше на улице, а оттуда на кладбище. Наталья же ни в какую, только здесь. А как его потом выносить, на лестничной площадке не развернуться. Я уж и так прикидывал, и эдак. Скажу Полухину, чтобы подогнал кран, будем как-то через окно.

— Здесь Натальино слово последнее.

— Оно так, жена ведь, настоящая боевая подруга, — согласился Парамыгин. — В клубе было бы и проще, и… Сколько эти дураки еще глупостей да бед натворят.

Кого он имел в виду, говоря о дураках, для меня пояснять не требовалось.

Вскоре на командирском уазике подъехал Громов, вызвал на улицу:

— Такое дело, Никитич, там офицеры… Одним словом, начинается катавасия, требуют, чтобы гроб поставили в клубе. А как в клубе, как? Дубяйко категорически запретил. Да и Гаврилов на его стороне, хотя не поймешь, раньше был командир как командир, а теперь? Куда ветер, туда и… Одним словом, отвечать придется мне, когда начальство наедет, а оно наедет.

— Если офицеры требуют…

— Да там больше всего молодежь, лейтенантики, дери их душу… Кстати, зачинщики из твоей эскадрильи, да еще Пухляк — эта банка с томатом, ему-то чего неймется?

— Значит, хорошие генералы вырастут.

— Вырастут, если головы им не пооткручивают. Надо же, весь полк вздыбили, басмачи проклятые.

— А ты не расстраивайся. Молодежь она всегда не при наших делах, вспомни хотя бы свои лейтенантские.

— Мы не дыбились. Мы шли в ногу…

— Шли, шли и пришли, как ежики в тумане… Так что будем делать?

— Семенов говорит, что с этих желторотиков и спроса никакого, а вот с меня шкуру сдерут.

— Тогда звони Гаврилову с Дубяйко, объясни ситуацию.

— Там у них празднество. Сам понимаешь, как такие звонки воспринимаются, нарвусь на неприятность.

— Тогда напрямую, в штаб округа, генералу Плешкову. Пусть принимает решение, а я пойду к лейтенантам.

— Вот ты бы Плешкову и позвонил. Генерал тебя уважает больше, чем кого-либо. — И вдруг встрепенулся: — А к лейтенантам пойдешь из солидарности или все-таки уговоришь?

— Гвардия принципами не поступается. И правда, давай вначале выйду на командующего.

— А ты растешь, гвардии подполковник, растешь! Такие решения принимаешь!

— Да ну тебя!

Генерала Плешкова оперативный дежурный по штабу округа отыскал в местном санатории. Оказывается, там отмечался юбилейный день рождения у высокого узбекского товарища, на который были приглашены и Гаврилов с Дубяйко.

Через пару часов после моего звонка Плешкову все завертелось в обратном порядке. Сказался его авторитет. Перезвонил Гаврилов, обозвал меня нехорошими словами и сказал, что гроб с телом Ерохина разрешили поставить в клубе. Громов по секрету сообщил, что Плешков уже поднажал на военную прокуратуру так, что она дело срочно переквалифицировала из самоубийства в гибель на рабочем месте по неосторожности.

— Теперь семья будет пенсию получать, а то ведь без копейки могла остаться.

Наталья воспротивилась, но ее уговорили, и она устало согласилась:

— Только после всего хочу в церкви отпевание провести. Он в душе православным был.

Громов замахал руками:

— Очумела баба! Какая церковь? Нам тогда кранты! Неужели непонятно?!

Но здесь лейтенанты Наталью поддержали, сказали, что если надо, гроб на плечах понесут к церкви. Договариваться со священником Громов послал Семенова. Тот вскоре вернулся, удрученно пожал плечами:

— Извините, прав Сорокин, самоубийц церковь не отпевает. Священник начал расспрашивать, крещеный ли был покойник, а я откуда знаю, крещеный он был или нет. Короче говоря, попал я впросак, да такой, что от стыда впору сгореть. Поп спрашивает: а сам я когда-нибудь бывал на церковной службе или хотя бы для успокоения души заходил в храм?

— И что?

— Да ничего! Вот о Боге вспоминаем в последнюю минуту. Одним словом, поп сказал: «Хороните так, как хоронили доселе». Нательный крестик мне дал, я машинально сунул в карман, он головой покачал. Что мне с этим крестиком делать, не на шею же его вешать?

— Но и в кармане не носят, — нахмурился Парамыгин. — Да, покатилася торба с великого горба... Значит, могилу звезда увенчает? Несчастливой она для него оказалась.

На прощание с Ерохиным пришло столько людей, что полковой клуб не смог всех вместить.

Как только вынесли гроб, над военным городком прокатились мощные глухие раскаты. Даже дома вздрагивали от небесных залпов. Мгновенно поднявшийся ветер взвихрил легкую пыль, перевернул несколько урн. Над строевым плацем, выхваченная из мусора, закувыркалась, пролетела скомканная «Правда» и шмякнулась об угол клуба, прилепилась к нему, затем вырвалась оттуда, опять закружилась и с размаху влетела в аккуратно подстриженные кусты сирени, там

и затаилась. Где-то послышался сильный хлопок, долетел звон разбитого стекла. Через мгновение сверху по городку полоснули косые струи. Узенькая улочка, вившаяся между железобетонными домами, наполнилась до краев и превратилась в кипящую кастрюлю, которую забыла снять с огня куда-то убежавшая по своим делам хозяйка. Гроб спешно занесли обратно, пережидали, пока уйдет гроза. Народ судачил, к чему бы это. Стремительные арыки с веселым клекотом тащили в реку мусор. Капало с крыш, с деревьев, с цветов на клумбах. По лицам стекали то ли капли, то ли слезы. Лейтенанты, для них это были первые в жизни похороны, отказались от подставки, на руках вынесли гроб и понесли на плечах до самого КПП. Заместитель начальника политотдела Баулов что-то суетливо нашептывал каждому на ухо. Нашептывание билось о молодые непроницаемые лица, как вода о бетонные желоба арыков.

На кладбище Наталья настояла: «На могилу поставьте крест!» Его заранее изготовили в ТЭЧи из нержавеющей стали, с аккуратной табличкой, где была вычеканена фамилия Ерохина и цифры, как счета за прожитое.

— Ведь прав Громов, обезумела женщина, — глядя на то, как старательно устанавливали крест лейтенанты, пробурчал Семенов. — Или с крестом лучше? С крестом ведь раньше не хоронили. Все под звездами лежат, а с крестом, оно как?

— У лейтенантов спроси, чего у меня спрашиваешь?

— У них уже Баулов наспрашивался, послали подальше.

— Тогда не лезь.

Наталья рыдала, обняв крест, целовала его, пока женщины не увели ее к машине. Вместе с ними ушел и Семенов.

* * *

Смерть Ерохина, «гибель партии» все наложилось одно на другое, и в этом, как говорил Парамыгин, прослеживалась мистика. Но дальше время начало склеивать из новой череды событий наше будущее в некоторое подобие чего-то целого, будущее непонятное, ни разу в жизни не обозначавшееся. Первым в этой череде стал звонок из политотдела с вопросом, буду я сдавать партийный билет или нет, и куда девать мою учетную карточку.

— А если не заберу?

— Тогда в огонь, — вздохнула на том конце провода Елена Семеновна, инструктор по партийному учету. — Знаете, кто-то отказывается, кто-то забирает.

— Не понял?

— Ну, из командования, так почти все забрали, говорят, для потомков, другие для себя.

— Питают надежду?

— Смутное время. Кто какую надежду питает, меня не уведомляли, — по ее глухому, сдавленному голосу чувствовалась невероятная усталость человека, впервые в жизни занявшегося решением подобных вопросов. — Коммунисты из ТЭЧи, те все как один отказались, да и многие офицеры из вашей эскадрильи в том числе. Правда, спрашивали, как поступите вы.

— Не Парамыгин ли?

Она по своей старой привычке работника политотдела интуитивно ушла от ответа, оставив последнее слово за мной.

— А если не заберу?

— Тогда в огонь, — резко ответила она, — таково распоряжение политуправления.

— Знаете, пожалуй, зайду.

— Как считаете необходимым, Николай Никитич.

На втором этаже около кабинета Дубяйко толпились вчерашние секретари партийных организаций, партгрупорги, секретари ревизионных и других комиссий, так или иначе связанные с партийными структурами. Кто-то нервно потирал ладони, кто-то рассказывал забавный анекдот, кто-то, заложив руки за спину, молча уставился в окно и наблюдал, как солдаты снимали лозунг «Народ и партия — едины!», даже не успевший, как остальные, выгореть на солнце. Лозунг срединой завернулся, зацепился за ветки дерева, и «партия — еди...» никак не хотела поддаваться солдатам, которые неспешно дергали за парашютные фалы, служившие для лозунга растяжками. Вскоре кумач не выдержал и, разорвавшись между словами «партия» и «едины», сполз с дерева. Усатый прапорщик начал аккуратно сматывать ткань в рулончик. С другой стороны штаба шел демонтаж огромных портретов членов и кандидатов в политбюро ЦК КПСС, вывешенных в рамках из нержавеющей стали много лет назад и обновлявшихся с уходом одного члена Политбюро и приходом нового. В последнее время фотографии даже не успевали обновлять, и три последних рамы зияли пустотой.

Смотревший в окно капитан вдруг громко спросил:

— А в рамы теперь кого?

— Да хотя бы тебя!

Тот же капитан улыбнулся:

— Да нет, я к тому, что уж очень рамы хорошие.

Из дальнего угла послышалось:

— За эти рамы когда-то Мандровского чуть было из партии не исключили. До госпиталя довели.

— А, помню, какому-то проверяющему из штаба округа не понравилось, что краска на железе потрескалась, так за ночь старые срезали, а новые сварили и забетонировали.

— Кажется в семьдесят восьмом, или девятом?

— Девятом, перед самым нашим входом в Афганистан.

— Да, на эти рамы с нас деньги собирали. Ох, и ругался народ!

— Он и сейчас не очень-то тихий. Слышали или нет, в ТЭЧи собираются суд чести над партбилетом устроить. Секретарь их, майор Конюхов, сейчас у Дубяйко, не иначе об этом разговор, вот и нас собрали. — Пожилой майор, из тех, которые, казалось, были вечно в одной должности и постоянно избирались партийными секретарями в своих подразделениях, вздохнув, добавил: — Начало положено.

— Чему начало, ты о чем?

— Да о том же, что сначала судят партбилет…

Вдруг как по команде все разговоры стихли, и офицеры уставились на майора:

— Иваныч, это как же так?

— Сходи в ТЭЧ, тогда поймешь!

— Дуреем, братцы, дуреем. Сам-то как считаешь?

— Нормально, время дураков сменяется временем идиотов.

Открылась дверь кабинета Дубяйко, оттуда высунулась голова Баулова, известного в офицерских кругах своим умением произносить застольные речи и здравицы:

— Товарищи, заходите, заходите! И побыстрее, время не терпит! — и сделал широкий жест, как будто приглашал на очередное застолье. Увидев меня, он удивился: — Разве вас…

— Да нет, я мимо! — успокоил я Баулова.

В полку на каждом углу разговоры о предстоящем суде над партбилетом. В ТЭЧи готовились к нему основательно. Вызванный в политотдел Парамыгин на все вопросы Дубяйко, что это будет за судилище, односложно отвечал:

— Не судилище, а суд. Ну, нечто вроде спектакля из разряда художественной самодеятельности.

— Какая самодеятельность! Парамыгин, вы что, не знаете, чем у вас подчиненные занимаются? Что за самодеятельность? Или вы уже не считаете себя начальником ТЭЧ? Если хотите, могу этому поспособствовать.

— Я же вам сказал, товарищ подполковник, они в свободное от службы время. А если вам интересно, так сходите и у них спросите.

— Вот как пташечка запела?

— Так и запела, кошечки-то уже нет, — усмехнулся Парамыгин, — лучше пташечкой петь, чем волком выть.

— Это кто у нас волк? Да я вас!.. Вот такие, как вы, партию угробили, а теперь и армию собираетесь угробить? Да я...

— Да я, я! — вскипел Парамыгин. — Если на то пошло, так кто кого гробил, время покажет.

Суду над партбилетом состояться не было суждено. Огромная страна разваливалась на глазах, а вместе с ней и армия полезла по швам, словно офицерская шинель, которую стали тянуть в разные стороны. Кто за что ухватился: кто за полы, кто за рукава, кто за ворот, думая, что из отдельных лоскутков сошьется нечто приличное. И теперь сосед отгораживался от соседа, словно тот был самым заклятым и при этом давним врагом.

Парамыгин при встречах негодовал:

— Вот так запросто патриотизм перестройки перерос в национализм правящей верхушки, хуже того, в мафиозный национализм.

— Откуда такого добра нахватался?

— Лунянин, только слепой не видит. С их подачи наш «СэСэСэР» превратили в общественный туалет для всех народов и наций, над которым вывесили красный флаг, как сигнал кровяного поноса. Теперь стены нашего сортира украсят юмор и сатира…

— Как понять?

— Понимай как хочешь, все вокруг такое… Юморнее не придумаешь. Покатилася торба…

И началось! Границы…

Пограничные посты…

Таможенные досмотры…

Народу стало не до юмора. Ездивший за дешевыми китайскими спортивными костюмами в приграничном кишлаке, где базарная торговля разрасталась до невероятных размеров, Пухляк с обидою рассказывал, как перед мостом, — а граница как раз проходила по реке, — узбекские таможенники и пограничники облазили его машину всю снизу доверху. «Ты русский, у тебя деньги есть, будешь обратно ехать, уплатишь пошлину». — «Какую пошлину?» Смеются: «Какую назначим».

— И что?

— Уплатил, а куда денешься. Их там целая куча, и все рты раскрывают. Как голодные галчата. Сказали, машину отберем!

— Так уж и машину?

Пухляк обиделся:

— Очень даже запросто. Съезди, проверь.

Проверять никому не хотелось.

— Думаю, нас скоро попросят отсюда, — говорил я жене. Она с испугом и недоумением вопрошала:

— Как попросят? А кто же их защитит?

— Национальная гвардия.

— О, да! Национальная гвардия будет плов с утра до ночи варить.

* * *

Штаб Среднеазиатского военного округа как-то быстро стал Министерством обороны Узбекистана со своим министром, замами и всем тем, что необходимо для такой категории руководства. Вчерашние майоры, подполковники, имевшие узбекскую родословную, в спешном порядке возводились в полковники, генералы. И без того строгая пропускная система в штаб взвилась в своем усердии до непостижимых высот секретности, как будто узбекской армии предстояло решать задачи мирового значения. Сейчас и немедленно!

Издававшаяся на русском языке военная газета заскулила, заплясала, не зная, к какому берегу плыть. Офицеры с самого утра собирались в угловом кабинете подполковника Попова, спорили до хрипоты, как надо выживать в такой ситуации, поближе к обеду кабинет запирался изнутри на ключ, на столе появлялась пара бутылок водки, к ним нечто вроде закуски, из той, что не доели вчера. Попов протирал исписанными исчерканными листами неудавшейся статьи стаканы, сам же и разливал водку:

— Я звонил вертолетчикам, Лунянину, спрашивал, много ли русских остается…

— И что? — уже протягивая руку к стакану, вопрошал майор Кожухов, которого больше интересовало то, чем они занимались сейчас, а не то, что предвиделось, пусть и в недалекой, но перспективе.

— Многие.

Попов когда-то написал о Лунянине большой очерк. Познакомились они в Кандагаре, куда Попов через знакомого офицера в штабе округа сделал себе командировку. «Когда-нибудь мне это зачтется, — говорил он, — такая отметка в личном деле факт значимый». Не прогадал. Начальник политотдела вертолетного полка подполковник Дубяйко, узнав о планах журналиста по написанию книги, сказал, что лучшей кандидатуры, чем Лунянин, ему не найти.

— Вы понимаете, политический отдел таких офицеров держит под особым вниманием, они — наша гордость, — Дубяйко сделал многозначительную, так любимую им паузу. — Думаю, вы понимаете, о ком речь. Это молодой, талантливый и весьма перспективный офицер.

По распоряжению командира полка Лунянин усадил Попова в вертолет и сделал пару кругов над аэродромом, при этом на дальнем приводе лихо сымитировал атаку в пике, от чего Попова стошнило, и комок в горле долго не мог рассосаться даже тогда, когда газетчик уже стоял на земле. «Ну, ты, старичок, и летаешь!» — выдохнул он свое восхищение Лунянину. И впоследствии этот полет расписал как вылет на уничтожение душманской засады. Расписал в самых ярких тонах и красках, подчеркивая, что именно за такие вылеты и был награжден Лунянин боевыми орденами. Растиражированный в газетах и журналах, даже вошедший в сборник, очерк принес Попову так давно ожидаемую им славу мастера пера. Дубяйко отправил в политуправление об очерке свое резюме, в котором высоко оценил талант журналиста: «Он показал через службу боевого офицера ту огромную важность партийного влияния на решение задач, которые поставила партия перед воинами-интернационалистами».

Политуправление признало Попова лучшим журналистом года, вручило диплом и премию. О чем жалел Попов, так о том, что премия не имела лауреатского знака, он был бы на груди очень кстати среди юбилейных медалей.

Сборник стоял в кабинете Попова на книжной полке особняком, на видном месте. Для журналистов рангом пониже, особенно из «дивизионок», книга доставалась со словами: «Вот, старичок, моя очередная работа. Но это промежуточный

этап, в принципе, материала уже на целую книгу», — и при этом довольно улыбался.

Услышав от Попова очередную новость, Кожухов, один из первых кандидатов на сокращение, обрадовался:

— Ну вот, я же говорил, что без русского языка армия никуда. На «культур-мультур» далеко не уедешь. Значит, не пропадем!

Он вкусно, неспешно выпил теплую водку и долго держал у носа кусочек лепешки, раздумывая, у кого бы из сидевших рядом одолжить денег. Посматривал на Попова, Черкашина, Безъюрова, прикидывал, оценивал. «Попову и Черкашину уже задолжал порядочную сумму, а вот к Безъюрову можно подкатиться». Деньги нужны были позарез. Вчера опять оставил в игральном автомате все, что утаил от жены, вечно шарившей по карманам. В последнее время не везло. Почти полмесяца — и проигрыш за проигрышем. Ведь вначале, как только открыли игральный зал, установили там привезенные из Гонконга игральные автоматы разных мастей и разного калибра, все складывалось благополучно. Он даже разработал свою систему, которую считал беспроигрышной. Теперь система давала сбои.

— Безъюров, как у тебя насчет капитала?

Попов с Черкашиным понимающе переглянулись.

— Если по Марксу, здесь полный кругляк, если по гонорару, так, мелочишка осталась. Ты, никак, хочешь еще сбегать?

— Нет, у меня дело житейское, к тебе потом зайду, расскажу все по порядку и буду очень благодарен, если выручишь…

Раздобревший после выпитой водки Безъюров, всегда хранивший заначку в кабинете в толстом темно-синем томике «Капитала», махнул рукой:

— Заходи, как же без выручки, нынче я тебе, завтра ты мне.

Попов хохотнул:

— Завтра может и не быть, это уж точно по Марксу. — Он взглянул на часы. — Допиваем и брысь, у меня в номер материал, а я все кисну на первом абзаце.

Редактор на подобные застолья смотрел сквозь пальцы, мало веря в то, что какие-то предложения братьев по перу будут дельными и заслужат внимания. С месяц назад он забронировал себе место в одном из центральных военных журналов и жил предстоящим отъездом в Москву. Его заместитель, плешивый подполковник Тишук каждый день спешил в военное министерство в центре Ташкента, чтобы пропитаться атмосферой новых веяний, шнырял по редакциям узбекских газет, подыскивая там журналистов для газеты «иной формации», как он все чаще выражался на редакционных летучках.

— Начнем с того, что нам необходим вкладыш на узбекском языке, — убеждал он, — чем раньше, тем лучше! Иначе, если там замыслят свою газету, нам труба, полная труба!

Офицеры недовольно зудели по поводу тишуковских замыслов, зная, чем это пахнет для каждого из них. Редактор понимающе качал головой, соглашался с Тишуком, а тот доказывал:

— Будет вкладыш, сохраним газету, сохраним коллектив. Пояснять не буду.

Тишук уже просчитал свои действия на несколько ходов вперед, зная, что место редактора, о котором он никогда и не помышлял, теперь само плыло в руки.

— А там — куда кривая выведет, — говорил он жене, — гражданских ведь надо обучать нашему ремеслу, военного журналиста растить надо. В этом узбеки «ни бельмеса, ни гугу». Столько гражданских газет объездил, и, представь себе, ни одного желающего. Понятно, наше ремесло непростое. Здесь мне и карты в руки. Буду искать среди военных, кто мало-мальски может грамотно писать по-узбекски. На первых порах обзаведемся переводчиками.

Жена доставала из холодильника и с радостной улыбкой наливала ему в крохотную рюмочку коньяк:

— Получишь полковника, и мы отсюда… — она мечтательно закатывала глаза. — Полковники, они в любой армии полковники. Да и пенсия… Нашто, — она имела в виду редактора, — уже московские сны видит. Смотришь, и нам чего-нибудь да перепадет? Он с тобой как?

— Я для него главная рабсила. Сны? Сны пускай видит. — Тишук отдавал пустую рюмку, сыпал в рот щепотку изюма, медленно прожевывал. — Сейчас полковника получить — раз плюнуть. Вот закиснет кое-кто!

Под этим «кое-кто» он подразумевал тех, с кем когда-то вместе выходил на журналистскую дорогу. Многие из них, куда талантливее, так и остались сидеть редакторами дивизионных газет. В лучшем случае прорвались в армейские, а редактором-полковником он из своего выпуска будет первым. Будет! Не Попов, который еще в курсантские годы смеялся над его заметками, а он, Тишук. Кто такой Попов, бегает, заискивает. Понимает, что ему ничего не светит. Говорил же, сделай к сборнику предисловие от полковника Иваненко — не сделал. Иваненко? Иваненко уже генерал. Хорошо, что не уговорил, самому теперь хуже было бы.

— Попов нам дорогу не перебежит? — словно читала его мысли жена.

— Кто, писатель? Вот пусть и «писяет». Приезжают дружки, попьют с ним водочки — и обратно, писюки несчастные, тьфу! — Тишук самодовольно распрямлял плечи, словно на них уже лежали долгожданные полковничьи погоны. — Нинуль, капни еще малость. — И держал наготове щепотку изюма.

На рынке, разливая кумыс, продавец деловито поправлял съезжавшую на тугой затылок тюбетейку и улыбался:

— Вот теперь у нас своя армия… Когда есть своя армия, мой сын будет в ней служить и станет большим начальником. Русские нам теперь не нужны!

Его крепкие руки привычно гоняли по доскам бурдюк и все так же ловко разливали в пиалушки хмельной напиток.

* * *

Бывшие советские генералы один за другим отбывали в Москву, где Министерство Вооруженных Сил СССР уже понизило себя в должности до уровня рядового министерства Российской Федерации и превратилось в рассылочно-пересылочную базу для хлынувших в Россию генералов и офицеров. Воинские части, расположенные на территории Узбекистана, начали переходить под новые знамена.

На утреннем построении Гаврилов зачитал приказ о том, что их отдельный гвардейский вертолетный полк включен в состав военно-воздушных сил другого государства.

— Всем офицерам написать рапорта о своем желании продолжать службу в Узбекистане, это для переоформления личных дел. Если кто-то не желает, определяйтесь самостоятельно, но учтите, полк переходит на новое финансирование, кто замешкается с рапортом, может оказаться без денег.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — и офицеры судачили, чертыхались, собираясь в курилке, главном информационном центре, как ее окрестил Парамыгин, деловито наполняли окурками зеленую урну, стараясь побольше узнать, о том, есть ли возможность перебраться на родину, а если таковой нет, то хотя бы поближе к родным местам. Капитан Лобановский ехидничал:

— Господа офицеры, будут сборы недолги на Кубань да за Волгу?!

Без умолку трещали телефоны, куда-то отбивались телеграммы, писались письма к тем, кто имел хоть какой-то вес там, наверху, может, он протиснет в потоке просьб словечко за геройского майора или подполковника. Украинцы постоянно кучковались около командира второй эскадрильи подполковника Непийводы. Он уже несколько раз слетал в Киев и каждый раз возвращался с ворохом самых неожиданных новостей, но вполне обнадеживающих: «Хлопцы, ненько-Украина за нас, она никому пропасты не даст. А цэ, хто тут шось дюдюкае, господа пасынки и тильки всего». И каждый раз все больше и больше разговаривал на украинском языке, чем немало удивлял Гаврилова, который после такого разговора с Непийводою тыкал пальцем в Громова:

— Скажи, а ты можешь вот так, как Непийвода, или просто распинаешься, что белорус! Ну-ка, дай нам что-нибудь эдакое «здоровэньки булы», покажи летный класс!

Громов отмахивался, но Гаврилов не отставал:

— Ну, скомандуй: «Равняйсь, смирно!», или, скажем: «Стройся!» Не знаешь? Значит, тебе верная дорога в запас. Будешь минские улицы подметать, не ухмыляйся, брат, будешь, да еще как! Когда-то хрущевское сокращение заставило моего отца работу искать. И что, начал дворником, а затем вырос до начальника ЖЭСа. Кстати, тоже начальником штаба полка был, вот-вот! А Непийвода хоть завтра готов крикнуть: «Струнко!»

— Лучше минские, чем чирчикские, — огрызался Громов.

Забежавший ко мне в штаб эскадрильи Парамыгин хохотал:

— Слышал, Гаврилов тренирует Громова перед отправкой на родину. Что ж, тогда и метлу ему в руки! Меня больше волнует, куда настоящая гвардия нацелилась? Не секретишь планы?

— Гвардия еще не определилась.

— И чего так?

— Да так, Минск молчит, Москва не чешется.

— Тогда сам кричи и чешись, а то правда, как Непийвода сказал, будешь ходить в вечных пасынках.

— А мы не шелудивые, чтобы чесаться.

— Ну-ну, какая же гвардия да без гордости! — подтрунивал Парамыгин.

Сам же он никуда не собирался, не торопился, ни перед кем, ко всеобщему удивлению, не заискивал и не юлил.

— У меня, кроме этого полка, ничего нет. Если что, так место рядом с Ерохиным всегда найдется. Ведь от моей большой родины даже пыли не осталось, а здесь за столько лет родни куда больше, чем там, где когда-то родился.

Вечером позвонили из Ташкента, сказали, что завтра меня в срочном порядке приглашает генерал Плешков. Слово «приглашает» в армейском лексиконе было абсолютно новым.

— А ты говорил, что забыли, — обрадовалась жена. У нее молчание официального Минска на мой рапорт о переводе в какую-нибудь из вертолетных частей на любую должность родило до этого неведомую ей апатию, что меня крайне расстраивало. Теперь вот родилась надежда на какое-то будущее, и она сразу воспрянула духом.

Штаб военно-воздушных сил округа размещался в центре того Ташкента, который устоял под напором землетрясения. Уютный военный городок примостился под боком у корпусов огромного самолетостроительного завода, отделенного высокой кирпичной стеной. Городок меня всегда очаровывал плотной зеленью высоченных деревьев и журчанием арыков. В любую спеку здесь было прохладно. Сразу за общим контрольно-пропускным пунктом, уже который месяц пустовавшим, стояло низенькое зданьице фотографии, где Файзула делал

снимки на все виды документов, а заодно предлагал сфотографироваться в национальной узбекской одежде. Желающего сразу же переодевали в длинный полосатый халат, перевязывали поясом и на голову водружали огромную белоснежную чалму. Этим создавалось документальное подтверждение, что ты побывал в Ташкенте. Располневший, добродушный, с короткой седой бородкой, подчеркивавшей его особое обаяние, после съемок Файзула прижимал руку к груди:

— Брат, даже если ты здесь в командировке, не волнуйся, снимки вышлем туда, куда скажешь. Вот бумага, пиши адрес.

И высылал. Когда Файзула обосновался здесь со своей, а точнее, с быткомбинатовской фотографией, не помнили даже старожилы городка.

— Мой отец здесь работал, — и Файзула каждому новому посетителю указывал на широкую полку, — видишь, брат, здесь все его аппараты. Таких сейчас нигде не найдешь. Даже американский есть.

Какой из них был американским, он не уточнял. Любопытному пояснял: «Зачем тебе этим голову забивать, брат. Если я сказал есть, значит есть».

Никто на Файзулу не обижался, он никого ни разу не подвел и не обманул ни на копейку. Снимки делал преотличные. «Смотри, брат, мне даже генералы позировали!» — это было его лучшим аргументом по поводу качества. С началом перестройки Файзула приватизировал фотографию вместе с двумя огромными клумбами: одна перед фотографией, другая позади нее. Эти клумбы были главной визитной карточкой всего военного городка авиаторов, как его еще называли в Ташкенте. Они радовали своей ухоженностью и обилием цветов с ранней весны до поздней осени. «Это не я, это все мой брат. Любит он такое дело», — не прельщался на чужую славу Файзула. Теперь на месте той клумбы, что находилась позади здания, шли строительные работы. Гудел кран, крутилась бетономешалка, деловито сновали строители. «Не иначе Файзула расширяется. Ох и ловок!» — выразил я невольное восхищение уважаемому мастеру.

Городок по сравнению с тем, каким я видел его несколько месяцев назад, основательно опустел. Полгода назад на его улочках было не разминуться от прогуливавшихся с колясками молодых женщин и пожилых супружеских пар, спешившей в школу или в плавательный бассейн детворы. Во время полуденного зноя его тенистые аллеи укрывали всех и вся, и после жарких городских площадей эта прохлада ощущалась особенно. По пути к штабу всегда можно было с кем-то повстречаться, поздороваться, сейчас я прошел, не встретив ни одного знакомого. Только перед внутренним КПП, за которым виднелись здания штаба, один из офицеров обрадованно крикнул:

— Ба, кого я вижу, а мне говорят, что давно уже где-то под Ленинградом или Минском? — подполковник Саханчук из отдела боевой подготовки, говорливый, сноровистый офицер, которого знали во всех авиационных гарнизонах, крепко обнял меня, словно мы с ним только что уцелели после жуткой передряги. Саханчук был из офицеров, разрешавших себе в любую жару опрокинуть стакан спирта, и как он сам говорил, «ни в одном глазу, потому как имею авиационный организм», но славился не этим, а тем, что отменно летал и крепко уважал рядовых летчиков: «За моей подписью судьба», — резюмировал он и выводил эту подпись в любом документе лишь тогда, когда во всем лично убеждался, зная, что не навредит. Офицеры шутили:

— Мы ему памятник поставим.

— Со «Стакан Стаканычем» или без? — вопрошал у шутников Саханчук.

— Без!

— Тогда можно! И на самой высокой горе!

Саханчук покрутил растопыренной ладонью:

— Сам видишь, разлетается народ куда глаза глядят. А ты к нам или к ним? — он кивнул куда-то в сторону.

Распространяться на эту тему мне особо не хотелось:

— Плешков вызвал.

— Значит, к ним, теперь он там всем заправляет. Говорят, переругался с Москвой и остался без кислорода. Хотя на кислородном голодании сейчас, наверное, каждый второй из нас. Сам-то что решил?

— Да пока не определился. Может, что и прояснится в беседе с Плешковым.

— Как бы еще сильнее туману не напустил, — хмыкнул Саханчук, — в случае чего, забегай, мой кабинет в бывшем штабе тыла на первом этаже, найдешь. Кстати, есть наметки, хотя… — он не договорил, — ты заходи, помни, я за тебя всегда буду горой.

— Постараюсь.

Авиационный штаб с развалом Союза также располовинился. В одних зданиях теперь размещался штаб авиации Узбекистана, в других штаб тех частей, которые еще оставались под российским командованием.

Генерала Плешкова в кабинете не оказалось, и помощник дежурного с мятыми погонами капитана, потный и какой-то сонный, посмотрев на мое офицерское удостоверение, сказал, что его срочно вызвали в новое министерство обороны.

— Товарищ подполковник, вы подождите, генерал обещал, что через час вернется. Здесь к нему еще несколько посетителей, — и он кивнул на сидевших в отдалении офицеров.

Но прошел час-другой ожидания, а генерал не появлялся.

— Если что, будь другом, пришли посыльного к Саханчуку, я у него, — предупредил я капитана, слабо веря в то, что мою просьбу кто-то исполнит.

— У русских, что ли? — круглолицый помощник дежурного рассмеялся.

— У русских, русских, товарищ бывший советский, — подтвердил я догадку, и мы оба беспричинно и дружно захохотали: он по ту сторону толстого стеклянного барьера, я по эту. Ожидавшие Плешкова офицеры переглянулись.

Саханчук при моем появлении обрадованно спрятал в стол кучу бумаг: «Надоела эта канитель! Ты обедал? Нет? Тогда на плов!» — И мы по старой привычке вместо гарнизонной столовой, которая все так же исправно открывала двери перед посетителями из обоих штабов, объединяла их за общими столиками, пошли в жилую зону. Там, за гарнизонным офицерским клубом, в тени огромного тутовника обосновался торговец пловом. Все так же стоял на своей площадке на железной треноге громадный казан, закопченный, аппетитно пахнувший, обставленный от шаловливого ветра листами железа, где в расщелинах еще плескался огонь, доедая остатки мелко нарубленного саксаула. С него уже была снята широченная крышка и к многочисленным запахам потного, слегка пыльного, душного города добавился аромат отменного плова. Он витал, парил в воздухе, тек по закоулкам вокруг клуба и не просто разбавлял все предыдущие, а затмевал их.

К казану вилась очередь. Но не длинная. Саханчук облегченно вздохнул:

— Успели, а то пришлось бы париться. Давай, ты за пловом, а я стану за чаем.

К плову здесь всегда заваривали отменный зеленый чай.

Раньше каждый отдел штаба высылал сюда офицера, чтобы он занял место, потому как очереди выстраивались такие, что у опоздавших не оставалось никаких шансов пообедать. Особенно, когда в них вставали с кастрюльками разных размеров местные домохозяйки. Зная возможности своего казана, повар деловито вытирал руки о белый фартук, снимал с желтой горы риса и выкладывал на разделочный стол духмяное, исходившее паром мясо, ловко нарезал на мелкие

кусочки. Из-под быстро мелькавшего длинного ножа они выходили абсолютно одинаковые, а он громко повторял:

— Дальше не становись! Дальше не становись!

Так было и десять лет назад, так оставалось и теперь. Время словно застыло над казаном. Только вкушавшая аромат очередь пожиже. Заметно поубавилось женщин с кастрюльками. А плов и чай как будто стали еще вкуснее.

— Это оттого, что ты у нас редко бываешь, — съехидничал Саханчук, старательно вытирая прихваченными из офицерской столовой бумажными салфетками жирные губы, — выходит, подзабыл вкус, или помнишь?

За этим «помнишь» всплывали и дни рождения, и новые назначения, и обмывание боевых наград. Много чего было в наших офицерских судьбах за этим «помнишь».

Генерала Плешкова в тот день я так и не дождался. Дежурный по штабу только разводил руками, мол, если чего, вызовет повторно. Но повторно генерал меня уже не вызывал.

— Не обижайся, таких, как ты, сейчас не перечесть, — вздыхала жена, — лети в Минск, уж если там ничего, тогда…

Ни я, ни она не знали, что тогда.

* * *

Полковник Сиднев пьяно расплескивал коньяк и махал перед моим лицом пальцем:

— Приедешь в Москву, и там все обустроим. Говорю тебе, как брат брату, не пропадешь. Я ведь тоже когда-то летал. Авиация такими кадрами не вправе разбрасываться. — Он проглотил коньяк, долго искал, чем закусить, пока я не подал дольку лимона. Он начал ее обчмокивать с видимым удовольствием, словно в этом теперь состоял смысл его жизни. — Вот Союз развалился, жалеешь? Жалей, жалей, а я нет. Ему уже давно пора развалиться, не сегодня, так завтра. Подох Союз, как шелудивая собака.

Он говорил так, словно сам присутствовал и ставил диагноз событию, заставившему исчезнуть с карты мира огромную страну. Я кивал головой, зная, что каждый прилетавший сейчас из Москвы то ли офицер, то ли генерал извлекал из себя стратега мирового масштаба. Уж чего-чего, а этого у москвичей не отнять.

В комнате для гостей, красиво обставленной в одной из пристроек к летной столовой, натужно гудел кондиционер, слегка играя кисеей занавесок. За окнами летной столовой чирчикского военного аэродрома полуденное июньское пекло шло на убыль, хотя днем оно чуть ли не плавило бетон взлетной полосы. Аэродром, позволявший себе в такие минуты расслабиться, чтобы не одуреть от зноя, уже оживал. Кто стойко переносил тяготы и лишения воинской службы, это дежурная смена. Устало лопатили невесомый, разогретый до печного духа воздух радиолокационные антенны.

О том, что время расслабления истекло, говорил рокот двигателей спешивших куда-то КамАЗов. У транспортника, готовившегося к вылету на Москву, заботливо сновали техники. Этим транспортником улетал и полковник Сиднев, который целую неделю разбирался в личных делах офицеров, отказавшихся писать рапорта о переводе в узбекскую армию и изъявивших желание служить России. Перед Сидневым в Ташкент уже прилетала группа офицеров из бывшего Министерства обороны СССР. Одни занимались складами с продовольствием, другие военным имуществом, третьи крутились около вооружения, четвертые морщили лбы около цистерн с горюче-смазочными материалами. Что-то грузилось в эшелоны, что-то

в самолеты, что-то списывалось и текло на чирчикский или ташкентский рынки, а может, и куда подальше. Скорее всего, так оно и было, о чем судачили в полку офицеры, уставшие от безделья и неизвестности. Полк переходил под узбекское знамя. Некоторые из офицеров-узбеков уже занимали в новом министерстве обороны высокие посты, о чем раньше и не мечтали. Замполит эскадрильи майор Исламбеков вскоре получил в новой армии звание полковника и стал заместителем командующего армейской авиацией по воспитательной работе. В полку он появлялся часто, на черной Волге. Мужик прямой, откровенный, он говорил, что полк в таком виде существовать не будет, а после реорганизации его разделят на отдельные эскадрильи с дислокацией в разных городах Узбекистана. Этим внес еще больший раздрай среди личного состава. Парамыгин жаловался, что его офицеры и вовсе перестали ходить на службу, посылая всех и вся подальше.

— Но если кто у нас останется, не пожалеет, — уверял бывших однополчан Исламбеков, — своих в обиду не дам.

«Горбачев тоже со всех трибун кормил народ перестройкой, о радужных перспективах соловьем заливался, а получилось, что все мы оказались, как в той пушкинской сказке, у разбитого корыта. Господа пасынки — ни больше ни меньше!» — злился Парамыгин.

В полку решили оставаться, кто уже корнями врос в узбекскую землю, а такие, как я, появившиеся на этой земле недавно, думали, чтобы поскорее уехать. Когда Сиднев ознакомился с моим личным делом, сразу завел разговор о том, что Москва для меня место обязательно подыщет. При этом намекнул, моя дальнейшая часть затронутой темы требует разговора «тет-а-тет».

«Тет-а-тет» проходил в комнатушке, где за столом частенько сиживали все, от генерала до прапорщика. За ее широкими окнами шел большой дележ некогда огромной мощной армии. Дележ нахрапистый, наглый. И не один майор, глядя на все это, в душе кричал: «Ну почему я не полковник!», а полковник долго не мог успокоиться от мысли: «Ну почему я не генерал!»

Прямо на складах теперь запросто можно было обзавестись всем — от спецавтомобиля, десантной резиновой лодки, современного оптического прицела для снайперской винтовки, карабина, обмундирования до ящиков с тушенкой, сгущенкой, галетами со складов «нз». Кое-что уплывало и на рынки, и в «тмутаракань», как говорил Парамыгин.

Майор Пухляк обогатился пущенным в распродажу спецавтомобилем для эвакуации раненых с поля боя и всей семьей каждое воскресенье ездил в горы на пикники или чирвакское водохранилище на рыбалку.

— Всем можно, а мне что, нельзя? Это когда бы я купил автомобиль? А здесь сам в руки пришел.

Начальник вещевой службы майор Биркун шутил:

— Так уж и сам. Знаем, знаем, все само через Москву идет.

— Да хотя бы и через нее.

Пухляк был главным действующим лицом по приему и обслуживанию многочисленных комиссий, которые от разных ведомств и управлений теперь слетались в Ташкент, как саранча. Он спешно обзаводился связями и уже имел на выбор несколько предложений по новому месту службы. Но пока ни одно из них его не устраивало. Пухляк ожидал нечто такое, чтобы одним махом опередить всех своих бывших однокурсников по академии, которыми, по его словам, заткнули все дыры от Новосибирска до Владивостока.

— После распределения они надо мной смеялись. Вот и посмейтесь, паяцы! Как в народе говорят: «Смеется тот, кто смеется последним».

Когда Биркун особенно доставал Пухляка разными шуточками, тот хмурился:

— Слушай, Вован, у самого-то, небось, тоже рыльце в пушку, а все в праведники лезешь. Ты лучше скажи, за какие такие подштанники умудрился себе должность в Ленинграде добыть?

— Ну, хлопцы, еще и за чубы возьмитесь, — утихомиривал Громов, который со дня на день уже должен был улететь в родную Белоруссию. Семью отправил и теперь дослуживал здесь последние недели. Пухляк с Биркуном втиснули ему в контейнер несколько тюков с обмундированием и ящики с продовольствием для «черного рынка», чем несказанно порадовали Громова: «Ну, хлопцы, будете в Минске, обязательно отблагодарю».

Громов кровно обещал, что, как только уладит все свои дела, займется моим рапортом, который затерялся где-то в коридорах белорусского военного ведомства.

В дверь комнаты постучали, заглянул Пухляк:

— Товарищ полковник, как вы и просили, все в ящиках, ящики подписаны.

Сиднев небрежно махнул рукой:

— Спасибо, майор. Иди, присаживайся, тяпни со мной на дорожку, чтобы легкой была.

— Извините, товарищ полковник, еще дел невпроворот.

— Ты майор или не майор! — пьяно погрозил пальцем Сиднев. — Ой, не отказывайся, а то ведь я приглашаю только один раз, другого может и не быть.

— Ну, если только понюхать, товарищ полковник.

— Можешь граммов на сто нюхнуть, на большее не рассчитывай. А то, ишь, какой гордый. Дела, видите ли, у него. Это сегодня ты гордый, — и Сиднев повторил с нажимом, — сегодня!

Он подождал, пока Пухляк поставит опорожненную стопку, постучал ногой под столом:

— Вот, теперь ты свободен. Да, скажи, коньяк сам доставал или он? — и Сиднев кивнул на меня.

Коньяк, конечно же, доставал Пухляк, но здесь майор слюбезничал:

— Никак нет, товарищ полковник, у комэска свои подвязки.

— Свои так свои, разберемся! Заряжай, подполковник, а ты, майор, иди и достойно исполняй долг. Придумал же какой-то идиот такое слово — долг. А если ни я, ни этот майор, ни ты, подполковник, никому ничего уже не должны, а?

Пухляк вытер платком мокрый лоб, ухмыльнулся:

— Так я пошел, товарищ полковник?

— Иди, иди!

Когда дверь за Пухляком аккуратно закрылась, он сытно икнул и выпил очередную рюмку.

— Вопрос поставлен ребром, подполковник, быть долгу или не быть, как у Шекспира. Дай-ка еще лимончик. Стервозная штучка коньяк с лимоном. Или нет, постой, побалую себя виноградцем, вон тем, покрупнее.

Он опять сытно икнул.

Я подвинул к нему блюдо, он выбрал кисть поувесистее, толстыми пальцами аккуратно отрывал виноградинки, впихивал в рот, сжимал крепкие челюсти:

— Вот так и жизнь с нами, мда-а. Знаешь, подполковник, передашь своему Гаврилову, что я на него не в обиде, но ты мне определенно нравишься. Как только получишь бумагу, собирай шмотки. Дальше Волги и Оки служат только дураки, ты меня понял? Вот и отлично! Сколько до вылета?

Дежурный сообщил, что к вылету все готово, ожидают генерала Тульского, который почему-то задерживается:

— Товарищ полковник, как только генерал приедет, сразу на взлет.

— Тульский-шмульский, — Сиднев скривился, — все летает, утрясает, пакостник старый, думает, ему что-то обломится. Сегодня еще генерал, а зав-

тра… — он сжал ягодину так, что сок брызнул ему на рубашку, оставив на зеленом поле темные пятна. Пришлось звать официантку Свету, чтобы та прошлась по ним салфеткой. Пока она вытирала, Сиднев успел погладить ее по бедрам и хотел усадить к себе на колени.

— Мне нельзя отказывать, мне никто не может отказывать. Ты еще не знаешь, а тебе скажу, что я почти главный кадровик, — и пьяно ухмылялся, — со мной шутки плохи.

— Оно и понятно, что главный, поэтому и кадрите себе где-нибудь на стороне. А у меня муж и семья, — разозлилась Света.

— У меня тоже, — икнул Сиднев.

— Вот, нет ничего хуже вчерашних щей да проверяющих москвичей, — она убрала пустые тарелки, стукнула Сиднева по рукам, повернулась ко мне: — Николай Никитич, если что-нибудь еще, я в посудомоечной, оборзели вконец, — и ушла, стройная, высокая, красивая, под липким взглядом Сиднева.

Он погрозил вслед пальцем:

— Подполковник, скажешь от моего имени Гаврилову, уволить, и немедленно. Таких нам не надо! Я в Союзе был кто, просто полковник, а теперь я дважды полковник, понимаешь, что это такое? Нет? Объясняю популярно: таких, как ты, тысячи. Выходит, кто играет первую скрипку? Кадровик, даже не заместитель начальника управления кадров округа, как я, а простенький кадровик твоего же полка. Вот ты командир эскадрильи, боевой офицер, три ордена, куча медалёв — и что? Да ничто, ты весь в тоненькой картонной папке, перевязанной простенькими тесемочками в капитанском сейфе. И если вовремя твой капитанчик достанет папку и положит передо мною, сам понимаешь, дальше все пойдет как по маслу.

Он отложил на край тарелки осмоктанную дольку лимона:

— Заряжай, подполковник, заряжай! — и, прищурив от удовольствия глаза, наблюдал за струйкой текущего в рюмку коньяка. — Хороший напиток, знатный. Сколько ты мне в сумку впихнул?

Я растопырил ладонь.

— Отменно, отменно, будет чем угостить шефа. А то ведь неприлично лететь из Ташкента пустым. Не поверят. А фрукты? О чем же мы еще вели речь? — он пытался вспомнить, потряс головой, словно крутанул бутылку с коньяком, — ах да, майор, так сколько ты впихнул в сумку?

Я снова растопырил перед его глазами ладонь.

— Отменно! Добавь еще столько. Сможешь добавить или не сможешь, говори сразу. Сколько у нас там до самолета осталось? Тульский-шмульский еще не приехал? Если добавишь, значит не майор, а полковник. Понял? Тогда, полковник, заряжай!

К транспортнику его пришлось везти на дежурной машине. Сиднев отказывался лететь, пытался вернуться обратно, грозился всех поувольнять, пока генерал Тульский не подошел и не сказал ему что-то, после чего Сиднев буквально на глазах протрезвел, сам влез по трапу в самолет.

* * *

— Николай дома?

— Дома, дома, проходите, — из прихожей долетел голос жены, — он вас целый день ищет, а вы его? Что-то у вас в последнее время нестыковка появилась.

— Так уж служба пошла.

— С каких это пор?

— С нынешних: хотите — верьте, хотите — нет.

— Где вы видели офицерскую жену, чтобы она верила всему тому, что говорите, — Надежда рассмеялась. После того, как полк вывели из Афганистана, она с детьми переехала из Кобрина, места нашей прежней дислокации, в Чирчик, и теперь радовалась дешевизне местного рынка, всякий раз хвасталась, сколько сэкономила на овощах и фруктах.

— Даже не поверишь, морковча сегодня уже дешевле, чем была вчера. Это корейцы постарались! Завалили все прилавки!

Морковчой мы называли салат из нарезанной длинными полосками моркови, напичканный разными пряностями, от которых во рту словно Змей Горыныч поселился. Жене салат несказанно нравился. Единственное, что огорчало, это цена на картофель. Для нее сначала картофель, а затем уже все местные деликатесы.

— А он здесь дороже персиков. Тебе хорошо, в летной столовой поел — и трава не расти, а мне детей чем-то надо кормить, не пловом же единым сыт человек.

Приходилось соглашаться, хотя и плов она научилась делать отменный. Не варить, не готовить, а именно делать. Это для семьи, а для себя она обязательно готовила картошку с селедочкой, а к ним морковчу.

— Она у тебя истинная бульбашка, — нахваливал ее Гаврилов, стараясь удержать ее расположение. — И где ты нашел такую ладушку-оладушку?

Его Гюльнора была человеком абсолютно не домашним, что для узбечек крайняя редкость. Она преподавала в каком-то ташкентском институте, жила высокими материями, желчно добивалась от Гаврилова, чтобы тот скорее решил вопрос с переездом в столицу. Их сын заканчивал Ташкентское военное училище, дочь училась в том же институте, где преподавала мать.

— Не прозябать же нам в этом воробьином анклаве, — и Гюльнора сводила к переносице длинные красивые черные брови. Под анклавом она подразумевала как название городка, где в большинстве своем жил, как начали говорить политики, русскоязычный народ, так и то, что Чирчик на самом деле был истинным воробьиным раем. Своим оглушительным чириканьем эти птицы вводили в транс любого нового жителя. Для местного населения те же воробьи были составной частью полнокровной жизни уютного городка с его многочисленными арыками, полными зелени улицами, увенчанного короной недалеких гор.

С квартирой в Ташкенте у Гавриловых пока не получалось. Да и сам он особо туда не стремился. Но Исламбеков сказал, что заберет Гаврилова в свое управление на должность зама, значит, и квартира будет. «Сейчас русские уезжают, много русских, квартирный вопрос решится быстро», — успокаивал он жену Гаврилова. Поговаривали, что Гюльнора неравнодушна к Исламбекову. Теперь женщина часто напрашивалась к нему в «Волгу», чтобы не толкаться в автобусе или не спешить на электричку, и водитель Исламбекова с нагловатой ухмылкой открывал перед ней заднюю дверцу машины. По вечерам она мучила мужа вопросами, не узнавал ли он, примерно, в каком из районов Ташкента случится для них долгожданный праздник.

— Скажи мне пару лет назад, что так все получится, застрелился бы, — и Гаврилов уныло бубнил, что надо увольняться и искать место на гражданке, — такой был полк, краса и гордость вертолетной авиации, а теперь? Не хуже моего знаешь, что не нужны мы узбекам! Плешков сказал, этой авиации здесь, хоть ты в Китай продавай! — Он доставал из кармана бутылку водки. В последнее время Гаврилов всегда заходил с отягощенным карманом. — Давай по стопочке под морковчу, а если точнее — за беспросветность при наших просветах.

Ныне у меня особого желания не имелось, и это было написано на моем лице, но Гаврилов не обращал на это внимания и уже откупоривал бутылку:

— Гюльнора звонила, кафедру будет принимать, а я вот… — он выпил, зачавкал сочной острой морковчой и снова стал изливать душу. — Полк хотят поэскадрильно расформировать с дислокацией на разных аэродромах. Поэскадрильно! Да их самих надо поэскадрильно посадить в самолеты и послать к чертовой матери! Наш президент, наш президент! Докричались, «докукарекались», кликуши! И этот кликуша уже в Москве около Иванникова отирается.

Дубяйко одним из первых улетел в Москву и больше в Чирчик не возвращался. Раздосадованный Гаврилов не мог простить измены, потому как Дубяйко до последнего момента доказывал всем, что полк он никогда не бросит. Но Исламбеков пояснил, что «бывший начпо» даже не помышлял оставаться, а дальний родственник оказал ему хорошую поддержку с новым местом службы.

— Дубяйко уже в штабе авиации, звонил, спрашивал, говорил, что надо налаживать контакты, что впереди у нас новые горизонты сотрудничества, — усмехался Исламбеков в ходе очередного посещения полка, — нашли контактера!

С каждым новым приказом раны Гаврилова становились еще больнее, и он последними словами ругал всех, кто поставил его перед таким жизненным выбором.

— Вот, Коля, куда ни посмотрю, горизонта не вижу, все затянуто, абсолютно все. Видимость — ноль. Пропасть, бездонная пропасть. А ты уезжай, — он выливал в рюмку остатки водки, выпивал и тыкал рюмкой мне в грудь, — давай деру, пока есть куда, здесь ловить нечего. Исламбеков? Да что Исламбеков, наобещает с три короба, да все три пустые, дырявые, грязные, вонючие. Ни капельки хорошего, ни капельки. Тебе Громов звякнул, что и как там, в Минске, или молчит?

— Пока молчит.

— Выходит, и там нашего брата не ждут, — долго рассматривал опустевшую бутылку, — надо на эту неделю полеты спланировать, а как летать, если керосина нет. У русских есть, но они не дают. Плешков говорит, что самим надо. Узбеки на топливо денег не нашли, а на что нашли… На «шашлык-машлык», как говорит Пухляк. Надо учить «пеший по-летному», и буду! — Он собрался стукнуть кулаком, но, оглянувшись на дверь, которую Надежда предупредительно закрыла, передумал, похлопал по плечу: — Давай деру, Коля, давай! — И уходил, пошатываясь, обмякший, совсем не похожий на того Гаврилова, которого я знал в Кандагаре, которого любили и летчики, и технари, и солдаты срочной службы. Его когда-то любил полк, и он этим еще дорожил.

— Да, покатилася торба с великого горба… Стержень вынули — сломался. — Вынес ему вердикт Парамыгин. Это был страшный приговор. В полку это понимали.

* * *

— Брат, выручай, срочно надо машина!

Звонил полковник Анатолий Гульман. Был он заместителем начальника службы горюче-смазочных материалов округа. В этой должности пережил все пертурбации, связанные с периодом полураспада, как говорил он, а затем и с полным распадом страны. Остался в этой должности, но уже в объединенном штабе частей, входивших в состав армии Российской Федерации и временно дислоцированных на территории Узбекистана. Нового начальника еще не назначили, и Гульман исправно выполнял более высокие должностные обязанности, проявляя завидное рвение. Наши служебные пути пересекались, когда полк вывели из Афганистана,

а Гульман прибыл из подмосковного Клина. Жил он в однокомнатной квартире по соседству, а поскольку семью перевозить не торопился, то частенько заходил к нам перекусить, и что особенно импонировало Надежде, был малопьющий человек.

— Понимаешь, у него спирт в канистрах, а он ни капли в рот. Вот еврей так еврей!

Однако во всех документах имелась запись, что Гульман белорус, и я был тому свидетелем.

— Всем покоя не дает этот «ман». Да бог с ним, с «маном», может, кто и был в роду, не без этого, но ты на мой фэйс посмотри, — и смешливо дергал себя за нос, — вот лучшая вывеска: нос картошкой — душа гармошкой. Какой же я после этого «жид»? — И декламировал: — «… а хто там ідзе, у агромністай такой грамадзе? Беларусы!»

Он знал много стихотворений на белорусском языке и всю купаловскую поэму «Курган».

Его жена несколько раз прилетала посмотреть, как у супруга дела. Приятная, неунывающая хохлушка пришлась моей Надежде по нраву. Когда местные острословы намекали, что у ее Анатоля еще не пропало мужское достоинство, заразительно смеялась:

— Даже если с узбечатами приедет в Клин, все равно он мой, и всем другим, кто с ним будет, место найдется. То, что под моей крышей, все мое!

Гульман заправлял полковым бензином мою «восьмерку» под завязку, и я возил женщин по рынкам, магазинам, а затем он с большой помпой отправлял жену в очередном транспортнике, при этом всегда выбирал тот, который летел в Клин. Загружал в самолет коробки, большие и маленькие… Наставлял: «Вот это для тебя, это для наших из Клина, это для москвичей. Я позвоню, и они приедут». Долго целовал, обнимал, а когда садился в машину, облегченно вздыхал: «Столько дел, а она прилетела и как по рукам связала!»

Когда появлялась очередная комиссия, Гульман был на высоте. Быстрее и лучше выполнить все пожелания «комиссаров», как их называли в полку, мог только он. В багажнике «восьмерки» то громоздились дыни, то плескался коньяк, то еле втискивались ящики с виноградом и разными сладостями. Чего только не повидал этот багажник за то время, пока Гульман служил в полку! Он даже кличку получил — «Топливозаправщик». За какой-то год с небольшим обзавелся массой знакомых, кому-то помог открывать мастерскую по ремонту легковых автомобилей, кому-то организовывать швейное производство джинсовых курток. Когда начались перебои с бензином и на заправках появились длиннющие, полные зла и неуважения очереди, он сразу выделил из этой массы нужных людей, а ненужных выбросил из своей памяти, словно скомканную бумажку в ближайшую урну, без всякого сожаления: «От них одна головная боль и больше ничего». В его лобастой, с огромными залысинами голове для меня место осталось.

Теперь на гульмановский звонок я не преминул уточнить:

— Товарищ полковник, а что стряслось?

Он помолчал, вздохнул и нехотя сказал:

— Сожалею, не телефонный разговор. Такое дело... понимаешь, меня тут предупредили, что мой водитель меня и сливает. Кому? Сам догадайся. Есть такие, кто на меня зуб точит. Слопают в один миг. Выручай, если свободен…

— Ладно.

— Так я подъеду, а дальше на твоей подскочим. Понимаешь, возникла серьезная необходимость обратиться к нужным людям.

— Мне быть в форме?

— Только в ней. Мы же гвардия, не дадут — заберем, насядут — отобьемся, подружимся — разбогатеем.

— Странный для нынешней гвардии девиз.

— Ничего странного, содержательный, а главное, — современный.

В полк Гульман приехал с молоденьким капитаном, судя по всему, узбеком. Капитан в новенькой форме, довольный, счастливый от своей молодости, от звания, от всего того, что делалось вокруг.

— Видал? — и Гульман покровительственно, но с дружеским оттенком похлопал капитана по погону, — недавно в нашем управлении. Рашид — парень толковый.

— Как посмотрю, так в вашем управлении все толковые.

— Дружище, а как же иначе, без нас любая армия просто куча железа. Понимаешь, куча мертвого железа. Знаешь, кто его родной дядя?

Я пожал плечами. На самом деле, откуда мне было знать, кто родной дядя молоденького капитана. У Гульмана на лице появилось делано обиженное выражение:

— Ну вот, а я думал, ты человек осведомленный. Ничего, — и подмигнул капитану: — Ладно, поехали к нашим бабаям, будем кое с кем и кое о чем говорить.

Рашид оказался главным переговорщиком с несколькими вальяжно восседавшими на расшитых подушках узбеками. Судя по золотым перстням с большими камнями, каждый из которых стоил куда больше, чем моя машина, это были весьма состоятельные люди. Всем своим поведением они внушали это окружающим. Но с Рашидом разговаривали как с равным. «Выходит, и на самом деле у этого капитана-пацана хороший дядя за спиной», — подумал я. Мы же с Гульманом примостились в сторонке, и сразу перед нами появились чай, горка сладостей. Чувствовалось, что Гульман был здесь своим человеком, да не просто своим: к нему верткий низенький узбек со сдвинутой на затылок тюбетейкой и полотенцем в руке подходил с поклоном.

Гульман не подавал вида, что ему интересно то, о чем там говорили, но иногда бросал в ту сторону короткий прищуренный взгляд и поглаживал свой толстый нос, молча подливал себе чай, сдвигал губы трубочкой и тихонько дул в пиалушку.

Чайхану окружал резной из тонких новых досок высокий забор. Под старым деревянным помостом, покрытым широченным, уже изрядно вытертым ковром, тихонько струилась вода, и оттуда веяло прохладой. Над нами нависали, почти касаясь воды, длинные ветки. Этот невероятной густоты зеленый шатер отгораживал нас не только от полуденного солнца, но и от всего остального мира, и казалось, только чай, только лукум и пение птиц, и ты в этом царстве покоя самый желанный гость.

Капитан откланялся и подошел к нам, присел, посмотрел на Гульмана и с улыбкой проговорил:

— Анатолий Адамович, вам желают здоровья и благополучия.

Гульман поманил к себе пальцем капитана, что-то прошептал ему на ухо, затем повернулся к узбекам, приложил руку к груди и кивнул головой. Там так же признательно засверкали голубизной бриллиантов тяжелые перстни. Гульман вдруг с присущим ему пафосом сказал:

— Миколка-паровоз, детям семечки привез! Отдай-ка ключи от машины Рашиду. — Заметив мое недоумение, довольно подтвердил: — Отдай, отдай, а мы с тобой пока еще чайку, на посошок! Хорошее место, влюбчивое. — Он откинулся на подушки — кажется, сидел бы вот так и ни о чем не думал, а думать надо.

Вскоре вернулся Рашид, с той же улыбкой проговорил:

— Все, Анатолий Адамович! — и вернул ключи от машины.

— Ну, все так все! — Гульман аккуратно поставил недопитую пиалу. — Тогда, поехали. — Он поднялся, и сразу же появился чайханщик, долго и благодарно жал Гульману руку, видимо, тоже был чем-то обязан ему.

Уже в полку, расставаясь, словно невзначай, он обронил:

— Спасибо, что выручил… Там в багажнике для Надежды подарок, ну, и для тебя тоже, не забудь достать. Вот такие дела, братка Миколка-паровоз.

Подарок и в самом деле оказался знатный. В большой картонной коробке поверх пакетов со сладостями лежало большое серебряное блюдо с изумительной чеканкой ручной работы, с таким же заварным серебряным чайником и набором расписанных позолотой пиалушек, а для меня чалма, расшитая серебряной нитью.

— Это не Гульман, а прямо падишах, — восторгалась жена, рассматривая подарки, — за что к тебе такая милость? Да, звонили из штаба, там пришла какая-то бумага, надо, чтобы ты ознакомился.

— А ты его евреем называла.

Бумагой оказался ответ из Минска на мой рапорт о переводе в Беларусь. В нем сообщалось, что перевод может состояться в том случае, если я дам согласие на последующее увольнение в запас. Причины не объяснялись. Пришлось звонить Громову.

— В двух словах не обрисуешь, — на минском конце телефонного провода бормочущий голос долго извинялся, — закопался, пойми, здесь надо твое личное присутствие. Ну, сам посуди, как без тебя. Такая кругом заварушка! Народ валом прет! Поэтому договаривайся с Гавриловым и прилетай. Чем скорее, тем лучше.

Гаврилов наигранно вздохнул и поморщился:

— На каком основании я тебя отправлю в Минск? Проездные надо чем-то обосновать. Ладно, — махнул рукой, — начни все обосновывать, с ума свихнешься. Слушай, неужели ты думаешь, что там тебя ждут с распростертыми объятиями? Посмотри вокруг! У тебя здесь эскадрилья, скажу, что и полк намерены сохранить. Исламбеков все прокручивает, а там?

— Там родина.

— Что? — он ехидно улыбнулся. — Где ты видишь родину? Мы все в штопоре. Америку с Западом на радостях понос прошиб, такую страну без единого выстрела угрохали, а ты родина. Родина-уродина! Если что, не особо кланяйся, не ползай, таких, как ты, в вертолетной авиации единицы. Да тебя здесь на руках носить будут!

— Носить не надо, мне надо летать.

— Чудак, будем летать! В министерстве обещают топливо по полной программе. Исламбеков сказал им, что вертолеты на земле, народ разбегается. М-да! Думаю, услышали.

Полк оставляли. Гаврилов ожил, посвежел, к нему возвращалась уверенность.

* * *

В Минск я прилетел ранним октябрьским утром почти в пустом самолете. Десяток пассажиров, видимо, из разряда новых преуспевающих бизнесменов, весь полет от Ташкента до Минска глотали коньяк, рассказывали анекдоты, пытались ухаживать за стюардессой, пели песни, бродили, расплескивая содержимое стаканов, по салону, как бродят отшельники в жаркий полдень по пустыне в поисках тени, тянули меня к обильному импровизированному столу, сооруженному на пустых креслах, всем своим видом показывая, что жизнь удалась.

В дальнем конце салона, подальше от шумной компании, подняв подлокотники кресел, я прилег в междурядье, укрылся шинелью, думая только одну думу: что ожидает в Минске?

Полупустой аэровокзал подавал признаки жизни разве что около таможенных стоек, где толпился народ, вылетавший за границу в западном направлении. Таксисты, покручивая на пальцах брелки с ключами, оценивали прилетевших, прикидывая, сколько можно содрать за доставку в город-герой.

— Командир, тебе куда? Глазом не успеешь моргнуть. — Увидев моих попутчиков, они тут же потеряли ко мне всякий интерес и дружно устремились к бизнесменам, еще энергичнее покручивая в воздухе брелками.

В город-герой я катил в полупустом «Икарусе». Водитель, сорокалетний угрюмый мужик в толстом вязаном свитере, устало обронил:

— Скажете, где вам выходить, остановлюсь.

Я был чрезвычайно благодарен ему за такую предупредительность, вежливость, вдруг вселившую в меня, не знаю почему, оптимизм.

Вышел у магазина «1000 мелочей», от которого было совсем недалеко до квартиры Анатолия, родственника жены. Автобус аккуратно вписался в реденькое движение разномастного транспорта и исчез за поворотом площади, оставив меня наедине с тем, что называлось огромным городом.

Улицы, подсвеченные желтыми, словно переболевшими лихорадкой, фонарями и назойливыми огнями рекламы… Дома… Унылые от осенней серости, похожие на вороха изношенных, измятых, пропаленных, простреленных шинелей, которые за ненадобностью побросали на эту грешную землю, они словно распластались в этих издевательских огнях, кукожась под пронизывающим ветром и ожидая спасения. Поднимавшаяся вверх улица отзывалась негромким эхом на дальний перезвон и перестук трамвая.

Вырвавшийся из-за углов домов ветер, издеваясь над молчаливыми дворниками, неустанно махавшими метлами, настырно гнал, кружил в вихре перед собой пестроту медно-желтых листьев, добавляя туда выхваченные из переполненных урн разноцветные обертки, окурки. Стоило сделать пару шагов, как он швырнул все это «богатство» под ноги и начал рьяно хлестать полами шинели по ногам. Куда-то спешившие одинокие горожане подставляли ветру бока, согнутые спины, словно что-то искали в этом огромном городе.

На улице Якуба Коласа у ювелирного магазина стояла продрогшая, нервная толпа, молчаливая, терпеливо сжавшая зубы.

В полутемном коридоре, уставленном высокими деревянными с висячими на крышках замками ящиками, пахло картошкой, полем и землей, еле нашел нужную дверь. Несколько раз нажал на кнопку звонка, но долго не открывали, и я уже собрался уходить, как из-за дерматиновой обивки послышалось неласковое предупреждение:

— Еще раз позвонишь, набью морду! — Кому хозяин собирался бить морду, он так и не прояснил, но мое появление посчитал для себя полной неожиданностью, хотя Надежда предупредила о моем вылете в Минск и просила приютить на некоторое время. Он сразу завел разговор о том, что больше всего волновало: — Понимаешь, мои уехали в деревню, в холодильнике, кроме холода, ничего. Видишь? — Он размашисто открыл дверцу холодильника и продолжил, словно мы только полчаса назад как расстались и теперь опять встретились для посещения этого самого холодильника: — Хлопцы вчера заходили, подчистили все… Понимаешь, на заводе полный бардак. Пол-нн-ыый! — казалось, он сейчас завоет. — Дома уже пятый день сижу. На месяц всех отправили за свой счет, козлы беловежские. — Он вздохнул. —

Был бы у меня этот счет, я бы месяц к этим козлам беловежским не появился. Бартер, видишь ли, не устраивает. А ты надолго или как?

От моего ответа зависело все его дальнейшее поведение.

— Да нет, если позволишь, приведу себя в порядок… Мне к девяти в штаб. Думаю, все решу в один день.

— Порядок — это ныне дефицит преогромный. Скажи, в армии такой же бардак?

Я пожал плечами:

— А что?

— Служить собираешься? — Ты перед рабочим классом не циркуй! Мы здесь вчера решили, что надо срочно звать американцев.

— Зачем? — усмехнулся я. — Они же наши противники.

— Для тебя, может, и враги, а для рабочего класса единственная надежда. Не позовем американцев, придут китайцы. А у них, как мне известно, дела обстоят похуже, чем в Вашингтоне. Так что выбор за нами, и он в пользу американцев. — Анатоль аккуратно составил в ряд на кухонном столе пустые бутылки, немое свидетельство вчерашнего напряженного разговора рабочего класса о текущем моменте, пригладил широкой ладонью курчавые черные волосы, делавшие его похожим на цыгана. — Слушай, как у армии с финансами? Я к тому, что, пока ты будешь приводить себя в порядок, я в круглосуточный сбегал бы, он здесь недалеко, — он опять прошелся по своим кудрям и хитровато взглянул на меня. В детстве его укусила змея, и после этого один глаз у Анатолия заметно косил, за что от друзей получил кличку «Косыгин», которая исправно заменяла ему фамилию в родном поселке. В армию не призвали, и он, окончив в Пинске профтехучилище, остался работать в местной механизированной колонне, участвовавшей в мелиорации полесских болот. Был мастеровитым и трудолюбивым парнем, из тех, к которым любое начальство всегда благоволило, прощало разные промахи. Заведующий мастерскими худенький жилистый Иван Космич буквально трясся над Толиком, не давая его никому в обиду:

— А над кем же мне еще трястись? Кто еще так, как Косыгин, все сделает по высшему классу? Да никто! Он всегда выручит. У него голова косыгинская.

Некоторые мужики и впрямь считали его кличку фамилией и по этому поводу над Анатолием частенько подтрунивали:

— Косыгин, тебе простор нужен, закиснешь в поселке.

— Да будь я Косыгиным, уж точно бы в Минске каким-нибудь заводом руководил.

Если кто начинал расспрашивать, не приходится ли он случайно каким-нибудь родственником председателю Совета министров СССР Косыгину, Анатолий хитровато щурился:

— Да как сказать! — чем всегда оставлял спрашивавшего один на один со своими предположениями.

К огромному огорчению Космича, Анатолий поступил в Минск на заочное обучение в какой-то институт и вскоре заявил, что намерен перебраться в столицу.

— Толик, не дури, здесь не сегодня завтра бригадиром будешь, — убеждал его Космич, нервно теребя полы старенького пиджака, никак не справляясь с ролью уговаривающего.

— Тут бригадиром, а в Минске министром, — посмеивались над его напрасными уговорами мужики.

Покорение столицы быстро подняло Анатолия до уровня начальника цеха, где на какое-то время застопорилось, а затем так же быстро пошло по нисходящей. Надежда, бывшая в курсе семейных дел брата, сокрушалась:

— Рюмка довела.

Взяв деньги, Анатолий мгновенно скрылся за бесшумной дверью, и пока я брился, гладил форму, на кухне уже запрыгала на сковородке докторская колбаса, обрамленная обжаренной картошкой, призывно свистел чайник.

— По граммульке для поднятия боевого духа, — Анатолий с достоинством хозяина неспешно открыл бутылку водки и так же медленно нацелился на стаканы. — Или тебе уже после боевого вылета?

Я покрутил головой, давая понять, что бутылка в его полном распоряжении.

— Вот и ладненько, — он радостно поднял стакан, — а я за американцев, за китайцев, и за японцев, за…— Он неспешно выпил, медленно поставил стакан на стол. — Одним словом, за всех, кто поможет выкарабкаться из этого дерьма. Вот угораздило меня родиться в такое время. Батьке война на плечи, а мне перестройка с ее радостными последствиями. Окроплю-ка я эту гадость еще граммулькой, иначе от избытка независимых чувств и свихнуться недолго. Спасибо козлам беловежским, жаль, не нашелся умный да не устроил там на них охоту. Слушай, если у тебя что не очень заладится, так дуй прямо ко мне. Лады? Вот и договорились, а заладится, тем более, удачный боевой вылет вспрыснем. Ты уж извини, что сдачу не вернул, я тут в холодильничек еще одну поставил. Рабочий класс думает про запас! Меня тут один фирмач к себе сватает. Хорошие деньги предлагает…

— Так в чем дело?

— Дело как раз очень тяжелое. Условия ставит…

— Ну и…

— Если выпивать брошу. Понятно, конечно, это не завод, это фирма. Там, понимаешь, следят за репутацией, а деньги? Хо, за месяц то, что у нас за три. Да какой там за три, на заводе сейчас, кроме директора да его конторы, больше никто ничего не получает. Все отсрочки да отговорки, а сами гребут как могут, родственнички козлов беловежских.

— Так бросай пить.

— Надо бы, надо, — он хмуро опустил голову, тяжело вздохнул, — может плюнуть на все, да вернуться в поселок. Хотя и там несладко. Значит, договорились, если что, сразу сюда. Я ключ у соседей оставлю, это на случай, если приедешь первым, а я все же проскочу к фирмачу. Мужик грамотный, стоящий… — и он решительно провел рукой по жестким курчавым волосам.

* * *

В бюро пропусков Министерства обороны толпились офицеры всех званий и родов войск: одни дозванивались по телефонам в свои штабы, управления, докладывая начальству о прибытии, другие мирно дремали, ожидая выписки пропуска, третьи непрестанно и нервно ходили в туалет курить. Кто-то встречал знакомого, и начинались расспросы, что да как. Были счастливчики, будущее которых уже определилось, и они сегодня в своих мытарствах поставили заключительную точку.

— Точка не ставится, точка проставляется, — довольно смеялся сидевший рядом толстенький лысый майор, прижимая к пухлому животу потертый кожаный желто-лимонного цвета саквояж, видимо, всякого повидавший за годы службы своего хозяина. Можно было только догадываться, сколько сейчас в него впихнули. Вышедший из комнаты дежурной смены старший лейтенант, хорошо сложенный, с выправкой истинного строевика, которой отличались офицеры комендатуры, чье продвижение по службе зависело от строевого плаца, как боевого офицера от полигона, смахнул с лица вежливое пренебрежение, поманил к себе пальцем

майора. Тот суетливо заторопился навстречу. «Комендач» молча взял саквояж и скрылся за дверью. Майор облегченно вздохнул, улыбнулся и, словно старому знакомому, пояснил:

— Так-то оно, сам понимаешь, проще, — словно этим саквояжем ему удалось снять целую кучу проблем.

Молчаливый высокий солдат с небрежно сползающим по новенькому мундиру на живот ремнем выносил из туалета полное ведро окурков, видимо, готовился сдавать смену. Майор, глядя ему вслед, проговорил:

— Чей-то сынок. А потом станет себя в грудь бить, доказывать, как он служил. Ты знаешь, будешь в гардероб шинель сдавать, ничего в карманах не оставляй. Я ножик забыл, складной, «чудо-ножик», подарок. Так вот, был да сплыл: почистили.

За стеклянным барьером два молоденьких лейтенанта над чем-то весело хохотали, затем один из них поднял затрезвонившую телефонную трубку, полистал лежавший перед ним журнал, что-то ответил, и сразу же из висевшего на стене динамика донеслось:

— Подполковник Лунянин, возьмите пропуск!

Громов встретил с распростертыми объятиями:

— Ну, молодцом! Оперативность при нынешней ситуации решает все. Я кое-что прозондировал. Думаю, все получится. Не отказывайся ни от чего. Главное, зацепиться.

— За что зацепиться?

— Как за что, за родину, туды ее мать! — он с усмешкой махнул рукой. — Видишь, сколько? — Он указал вглубь длинного коридора, где сидели, бродили в ожидании своей дальнейшей судьбы такие же офицеры. На усталых лицах было больше обреченности, чем надежды. Со свойственной ему усмешкой Громов кивнул головой: — Вон сколько соискателей собралось!

По коридору к кабинету, у которого больше всего сидело и стояло офицеров, с видом полного превосходства над всеми его временными обитателями прошествовал отягощенный желто-лимонным саквояжем старший лейтенант. Наступал блестевшими хромовыми сапогами на квадраты паркета так, словно шел по строевому плацу перед трибуной и саквояж ему абсолютно не мешал. Саквояж словно плыл сам по себе в погонной пестроте коридора.

— Во как здесь требуется ходить, — и Громов хмыкнул, — упакуют куда-нибудь в штаб, и пойдешь таким же гоголем. Тебе сюда, там в курсе, — и он указал на дверь с такой знакомой по многочисленным штабам надписью, — давай, заходи. — Но сам прошел первым.

Хозяин кабинета, усталый, с подсевшим голосом подполковник Гнилюк, сочувственно вздыхал, слушая мои ответы на вопросы, что-то вписывал в анкету в толстой тетради. Все это нужно было доложить генералу Грызлову в наиболее сжатой форме, и тут же не преминул наставить на путь истинный:

— Мыслью по древу не растекаться. Особенно перед генералом. Заслуги — заслугами, Афган — Афганом, а мы теперь служим в другом государстве. — Он исподлобья взглянул на Громова, и тот кивнул. — Считайте, все начинается с нуля. Скажем, этакое обнуление биографии. Главное — ваше желание вернуться на родину и продолжить службу. Я правильно вас понял?

— Так точно!

— Вот и хорошо. Вы до этого служили в Кобрине? В Кобрине, вот и подумаем, чтобы найти там место. Может, не комэском, а замом или начальником штаба, с понижением согласны?

— Так точно.

— И правильно. Городишко неплохой, Брест рядом, а это и вовсе полная Европа, да что вам рассказывать. Значит так, к шестнадцати ноль-ноль быть здесь. За территорию министерства не выходить, второй раз пропуск оформлять не будут. Все, вы свободны. Да, Громов говорил, что вы с Саханчуком знакомы. Как он там, стакан вверх дном еще не поставил? Стервец, стервец, — то ли одобрительно, то ли осуждающе заключил подполковник и с улыбкой взглянул на Громова, давая понять, что от него здесь никаких секретов нет. — Итак, в шестнадцать ноль-ноль. Захотите перекусить, есть столовая на первом этаже… Громов покажет.

Громов от приглашения перекусить вместе отказался. Сослался на то, что надо еще готовить кучу бумаг.

— Столовую определишь по запаху. Самый верный ориентир. Поторопись, а то ближе к обеду в очереди настоишься. Когда-то они крепко сцепились. — Я понял, что он имел в виду Гнилюка и Саханчука. — До парткомиссии дело доходило. Саханчук оказался более благородный, так его в Ташкент, а этого сюда, в кадры. Вот и думай, кто больше выиграл. Это так, между нами, сам понимаешь. Перекусишь, зайди, обмозгуем план действий.

— Смотрю, у вас здесь все на «гэ».

— Ты это к чему?

— Ну, Грызлов, Гнилюк, Громов…

— А, так карта ложится… — хохотнул Громов.

Пока искал столовую Министерства обороны, немного поплутал в хитросплетении переходов и коридоров. Лет семь назад мне доводилось в ней бывать. Здесь ничего не изменилось. В огромной, светлой от белоснежности скатертей, радостного сверкания никелированных поручней столовой народу и в самом деле было немного. Все так же белозубо улыбались, казалось, нестареющие молоденькие поварихи, стоявшие на раздаче, и чем моложе офицер, тем шире улыбка, тем призывнее взгляд больших раскрытых глаз.

Я уже рассчитался на кассе, когда позади донеслось:

— Ба! Чья это знакомая спина?

Говорившего подполковника я не узнал, но не подал вида и кивнул, как старому приятелю. Провести его не удалось.

— Неужели запамятовал? Ну, Лунянин, никак не ожидал! Покопайся в архиве памяти. Мы же с тобой ордена в Кабуле замачивали, а перед этим на аэродроме в Кандагаре гыркались, когда ты права качал перед моими автомобилистами. В Кандагаре я на тебя крепко обозлился, а в Кабуле мировую пили. Огорчил ты меня, огорчил, так что извинения не принимаются, давай-ка после этих топтаний по кабинетам где-нибудь посидим по-человечески, есть что вспомнить за рюмкой чая, — и он постучал по стакану с компотом.

Теперь узнал. Это был командир автомобильного батальона подполковник Милевский, выдумщик, мастер на все руки. Парамыгин говорил, что у него любой автомобиль от честного слова заведется: «Дока!»

— Вытоптал себе что или пока только обнадежен?

— Обнадежен.

— Ясно, здесь это умеют. А меня скрутили, повязали, дышать нечем. Понимаешь, мой автобат никому не нужен. Никому! Поверить не могу! Трындят одно и то же, мол, этой техники из Германии наперли, когда группу войск выводили, столько, что негде размещать. Так зачем меня из Афгана сюда эшелонами гнали? Зачем? Пихнули бы куда в Сибирь, смотришь, сгодился бы. Два месяца по Союзу катались, а теперь надо расформировывать. — Он почти не ел, болтал ложкой в тарелке с борщом, притом необычайно вкусным, говорил так громко, что за соседними столами офицеры недоуменающе посматривали в нашу сторону. Чувствовалось, накипело у человека. — Сказали бы мне прямо: надо все распродать и

руки погреть на этом. А то впаривают высокие идеалы о родине. Кому впаривают? Мне! Умники, ох и умники… — он отодвинул недоеденный борщ и стал ковырять шницель.

— Так уж все и с молотка? — Я попытался разбавить его горький монолог своей учтивостью. — Что-то должно остаться.

— Да ничего не останется, совесть и та стала разменной монетой. У меня офицеры, мастера. Куда им теперь? Разбредутся по фирмам-лейкам. Хорошо, если найдутся такие, а то одна перспектива, как сказал мой зампотех — в таксисты. Ты уж извини, я здесь почти каждый день бываю, наслушался, насмотрелся, тошнит. Как там Парамыгин, под знамена Аллаха не встал еще? Душевный мужик, душевный. Слушай, Лунянин, я тебя все же подожду.

— Давай отложим до лучших времен, хочу вечером улететь обратно.

— Думаешь, они наступят?

— А как без этого.

— Я у тещи в Минске живу, и видать, надолго, так что запиши телефон. Хорошо мы с тобой отобедали, вон какая очередина голодных выстроилась. Да, такие дела.

Разговор у генерала Грызлова оказался необычайно кратким. После доклада Гнилюка он молча посмотрел на меня, задумчиво полистал календарь, вдруг распахнул лицо в улыбке:

— Ну, если Громов за вас ручается, так тому и быть. Кобрин? А что, вполне сгодится. Алексей Севастьянович, думаю, недели хватит, чтобы прояснить ситуацию с Кобрином. Негоже командира эскадрильи при боевом опыте да при орденах на понижение. Надо что-то придумать.

— Так точно, придумаем, — и подполковник Гнилюк торопливо пометил в блокноте.

— Вот и хорошо. Сколько еще на сегодня?

Гнилюк посмотрел в свои записи:

— Двенадцать, товарищ генерал. Вот рапорты.

— Давай так, пятерых приму, а остальные на завтра, — и генерал полистал перекидной календарь. — Где этот автобат расположен? Ага, хорошо! Алексей Севастьянович, давай следующего, а подполковнику Лунянину продумай на эту недельку отпуск, чтобы братья-узбеки не обеспокоились его отсутствием.

Уже в своем кабинете, плотно закрыв дверь, Громов довольно обнял меня:

— Ну, вот и все, конец переживаниям. У меня в сейфе кое-что имеется, под конфетку. Правда, вино, но неплохое, из Германии, хотя Гнилюк говорит, от него пучит. Не откажешься ведь?

Грызлова обижать не хотелось.

Он долго возился с сейфом, все никак не мог открыть и ругал своего предшественника, который оставил ему такое испорченное наследство. Наконец замок поддался. Громов облегченно вздохнул, извлек уже начатую бутылку, пару тонкостенных, расписанных вензелями стаканов, похожих на тот, в котором мне подали компот в министерской столовой, и несколько конфет.

— Каждый раз, когда закрываю, все думаю, открою или нет. У бывшего хозяина открывался в один миг, а меня не слушается. Может, еще не привык к его хитростям?

— Так смени.

— Ха, тоже сказал. Спасибо, что хоть этот есть. О лучшем и мечтать не приходится, а по инструкции сейф полагается. Буду приноравливаться.

Когда дело дошло до конфет, он долго шелестел блестящей оберткой, то сворачивал, то разворачивал, явно нервничал. Потом произнес:

— Понимаешь… Подпись генерала Грызлова стоит дорого.

— Это как?

— Так!

Он взял бутылку, разлил остатки вина:

— Не за красное же словцо кого-то сопхнут, а тебя поставят?

— Сколько?

— Тысяча долларов.

— Да ты что?!

Громов выпил, отвернулся и начал жевать конфету.

— Это еще ничего. Я понимаю, что по жизни перед тобой в долгу, но… Мне вот пришлось свою машину продать… Деньги надо раздобыть. Сплавь узбекам свою «тачку». Тебе ведь неделю сроку для чего дали?

— Теперь понятно, — казалось, еще чуть-чуть и стакан лопнет в моих побелевших от напряжения пальцах. — Эх, Громов, Громов, мы ли это? Да видно, обстоятельства складываются не в нашу пользу.

— Значит, согласен. Вот и ладненько, — облегченно вздохнул Громов, которому предстояло пересказать Гнилюку итоги разговора, — если какие возникнут предложения, нюансы, звони. И не обижайся!

— Чего обижаться, когда родина становится уродиной.

На улице сеялось нечто мелкое, нудное и отвратительное. И город настойчиво продирался сквозь эту отвратительность, намокший, продрогший, усталый и совсем не обеспокоенный тем, что кто-то сравнил его дома с ворохами теперь уже подернутых сизой плесенью шинелей.

К трамвайной остановке около усеянного черными точками ворон городского парка не спеша весело дилинькал, заставляя шарахаться автомобили, трамвай с надписью «Зеленый Луг — ж/д вокзал», и я машинально побежал к нему: на вокзал так на вокзал!

* * *

— А мне утром божья коровка на кофту села. Ходила корове сено давать, а она откуда ни возьмись прилетела, села и поползла, — мать, несмотря на поздний час, потому как поезд прибыл в наше Крестыново около полуночи, радостно хлопотала у газовой плиты, — ну, думаю, это к гостям. А вот к каким, поди догадайся. Всех перебрала, кому осенью сидеть дома не по нутру, так и не додумалась. А в обед стала перед иконой, начала молиться и сразу о тебе вспомнила. Выходит, правду сказала мне Матерь Божия. А в Минске что слышно? Надя написала, что вы переезжать туда собираетесь? Или, может, не в Минск, может, бог весть куда, по нынешним временам? В Минск, это хорошо, это почти рядышком. Не сравнить с тем Чирчиком. Вот когда ты в Кобрине служил, так я себе и беды-горя не знала. Хоть вы ко мне, хоть я к вам.

Мать говорила и говорила, излучая радость и довольная тем, что ее длинную, тоскливую ночь я разбавил таким нежданным приездом. За долгие годы вдовьего одиночества она привыкла к тому, что ее постоянными собеседниками до глубокой полуночи были иконы да кошка, которая, мяукая, сейчас терлась у ее ног.

— Вот нахалка, ведь накормила. Вон молочко в банке налито, чего еще надо? Нет, будет ходить, мяукать… Сынок, ей чуток твоей колбаски отрежу, побалую? Я теперь такую редко покупаю.

— Конечно, мам, конечно.

— У нас в магазине пустовато стало. Все по талонам. Деньги есть, а купить нечего. А раньше всего навалом, да денег-то, с копейки на копейку. — Она вздох-

нула. — Вот Василю за дрова надо заплатить, так жду пенсии. Гадаю, принесут, не принесут.

— Заплатим, мам, заплатим, — успокоил я, прикинув, что на обратную дорогу в Ташкент должно хватить.

— От и хорошо. Вы, военные, наверно, и сейчас при деньгах. Вас никто не посмеет обидеть, иначе найдется новый Гитлер. Знаешь, сынок, там и деньги небольшие, но мне еще надо долг отдать. Брала на ремонт холодильника. Нового-то уже не докуплюсь.

— Не волнуйся, мам, все сделаю.

— Вот и хорошо. А здесь «белочек» да «зайчиков» налепили-напечатали, и деньги не деньги, и в магазине к ним еще талоны нужны. В войну такого не было. Не деньги одолжают один у одного, а бумажки. Приходила Женя Болева, дай, говорит, талонов на детские колготы, они же у тебя пропадут. Ее Миша с внуками приехал, детям ходить не в чем. Сынок, тут у меня олеи с луком пережаренные, если тебе бульбу ими припушу, не побрезгушь?

— Мам, ну что такое говоришь?

— То и говорю... — Потом она сидела напротив и молча смотрела, словно на чужестранца, переживая, понравится ли мне ужин.

Долго не мог уснуть. Эту кровать с той поры, как умер отец, мать расстилала только для гостей, а сама перебралась в маленькую комнатку, отгороженную от спальни тоненькой дощатой перегородкой: наша бывшая детская, куда выходила одна из стен печки. «Зимой мне здесь тепло, а так разве всю хату натопишь?»

Ворочался с боку на бок, покуда из-за перегородки не донеслось: «Чего не спится?» Пояснил, что от нового места. «Какое же оно для тебя новое? Не лукавишь? Может, чего не так?» — «Да все так». Тогда она со вздохами начала рассказывать сельские новости, спрашивала, помню ли я Степана Чиховца, который недавно отошел в мир иной. Что сынок его, с которым я в школе учился, на похороны приезжал, а потом распродавал отцовское добро, чтобы взять билет куда-то под Саратов. «Худенький сам, невзрачный, за столько лет впервые в родное село, да и то на отцовские похороны. К матери-то и вовсе не приезжал».

Под ее тихое неспешное повествование я уснул.

Проснулся от громкого «здравствуй, Маруська!». И испуганное материнское:

— Ну, чего раскричалась, чего? Коля приехал, спит еще.

— Вот оно что! А я запереживала, смотрю, светится среди ночи, думаю, или приболела, или еще что, зайду пораньше, наведу справки. А у тебя гость! Надолго ли?

— Как получится.

Было слышно, как на кухне задвигали стулья.

— Садись, чаю попьешь, с конфетами, лимон вот, если хочешь, отрежь. Булку вкусную сын привез и масло шоколадное, садись. Повесь хустку к печи, пусть подсохнет. Я тоже, пока корове да свиньям дала, вся промокла. Совсем небо расхудилось, сыплет и сыплет.

— Что ему остается делать, будем грязь до самой Пилиповки таскать, в прошлом году как раз на Пилиповку морозы ударили, — это уже голос соседки.

— Оно так, — соглашается мать, — я вот с кухни половики убрала, чтобы не затаптывать, а то ведь и не достираешься, тяжеленные. По молодости соткала на свою голову, а теперь мучаюсь, надо бы на чердак забросить, да пусть бы там и доживали свой век.

— А я свои и не помню, когда мыла. Вывешу на плот, обстучу да опять в хату.

Было слышно, как они пододвигали стулья поближе к столу, разливали чай, вели обычный неторопливый разговор: близкий и понятный им обеим. И в этом

разговоре было столько душевности, теплоты, сочувствия друг к другу, вдовьего понимания, что он выделялся светлым контрастом на фоне моих переживаний.

— Коля по службе или как? Сколько прошло, как они у тебя были?

— Много, больше года. Хочет на родину вернуться, а как оно сложится.

— Ох, и далекая дорога, далекая, — соседка сочувственно вздохнула. — Это же где той Ташкент, как подумать, так за светом, если не на краю. Вот колготню устроил этот Горбачев, на весь мир, все вверх дном перевернул. Это надо же было до такого додуматься?!

— Думаешь, сам? Нашлось кому надоумить! Сколько там советчиков ходило, — в стаканах позвякивают чайные ложечки, — одна Америка чего стоит…

— Оно так, много всяких, как Антон говорит, а умного ни одного. Эти в пуще так совсем одичали от власти. Антон говорит, окабанели, добили то, что Горбачев не добил.

— Не на трезвую же голову.

— Ну да, пьянка только дури добавила. Ни Бога, ни черта не побоялись.

— Я тебе, Маруська, скажу, что придет время и им руку ко лбу поднести, все зачтется, все… Василь-то дров хороших привез?

— Каких выписала, ольха с березою. Гореть будут!

— Ну и слава Богу. А мне Антон обещал, да все никак не получается.

— У тебя их на три года…

— Не помешают, пока еще выписать по дешевке можно, а то ведь скоро и за воздух платить будем.

— А куда денемся. Как подумаю, так и при Польше такого не было. Хотя и тогда несладко жилось.

На меня снова накатила дрема. Кажется, все, что было со мной, какой-то невероятный сон, то ли из далекого будущего, то ли вообще плод моей фантазии: и война в Афганистане, и Ташкент, и развал Союза… А здесь вот они — стены отцовского дома, старинная икона в красном углу с вопрошающим и в то же время светлым взглядом Иисуса Христа, старый дубовый шкаф, сделанный отцу в подарок на лесозаводе, где он работал бухгалтером, а широкие скамейки с кружевными спинками и стол уже под заказ ему смастерил у себя на дому Рыгорка, умелец на все руки. У него была небольшая столярная мастерская, и он там мог такое сотворить, что вся улица ходила смотреть. Был он инвалидом войны, и власть его не особо донимала. Над Рыгоровыми скамейками фотографии в рамках, украшенных материнскими полотенцами, посредине — отцовская, увеличенная мною еще в школьные годы, где он при орденах и медалях в каком-то из берлинских парков пьет вместе с друзьями-танкистами пиво. С обратной стороны имелась надпись: «Август 1945 года, Берлин».

И никуда я на годы не уезжал, не оставлял их. Сквозь полудрему ко мне из кухни донеслось «спасибочки», было слышно, как мать что-то заворачивала в бумагу: «Еще чаю попьешь!», и соседки «Ой, Маруська, ну зачем ты!», и легкий дверной скрип.

Голос матери: «Ну, и ты, давай выходи следом, — это уже кошке. — Хоть лапы намочишь, а то вконец обленилась». И соседкино поддакиванье: «У меня такая же. А мыши все гарбузы поели». И больше я уже ничего не слышал…

…Умываю лицо в тихой речной заводи, окаймленной высокими острыми камнями. Вода настолько чистая, казалось, дотронься до нее, и она зазвенит подобно хрусталю на дорогой люстре. Всматриваюсь в нее. У заводи нет дна, и она притягивает как магнит. Вдруг с дальнего края ко мне приближаются пущенные по ней круги. Я поднимаю голову и вижу бородатого человека в чалме, который с улыбкой показывает мне: ныряй! Около него еще с десяток таких же мужчин, и все смеются. Я чувствую, что если нырну, то уже не вынырну, а если не нырну, то

меня убьют. И снова вглядываюсь в бездну, и страх накатывает такой, что невольно просыпаюсь…

Этот сон как наваждение последние годы преследует меня. Сколько раз снился там, в Чирчике, сейчас в родительском доме. Только вместо пропасти колодцев, арыков — тихая бездонная заводь…

Слышно, как мать на кухне кому-то вполголоса выговаривала:

— Ну как же это так можно? Ты мне скажи, что себе позволяешь? День только начинается, а ты уже назюзюкалась…

Пьяный женский голос оправдывался:

— Теточка Марусечка, теточка Марусечка, не хотела, ну не хотела, так Валюха подкатила с утра на велосипеде. У нее полторачка самогонки. Давай, говорит, пока твоего дома нет…

— Как нет, когда он с утра по двору ходил? — голос у матери недоверчивый, но строгости не теряет.

— Вот, пока ходил, мы с Валюхой эту полторачку и… Это же если он меня увидит, убьет, ей-богу убьет… Я ведь вчера ему сказала, что бросаю пить. Он икону дал, говорит: «Целуй и поклянись, что бросишь!»

— И что?

— И поцеловала, и поклялась, да тут Валюха на велосипеде… Ей-богу, бросила бы, вот те крест, да у Валюхи полторачка. Убьет меня Петро, ей-богу, убьет! Что мне делать? — слышны всхлипы.

— Ты Бога не тревожь, сама виновата. А ко мне чего пришла? Петро приказал, когда пьяная придешь, гнать взашей, пусть под плотом пропадает.

— Теточка Марусечка, он же убьет. Я пару часиков прикорну, и все пройдет. Вон там, за печкою.

— Анюта, сын приехал, и что я ему скажу, что пьяницам потакаю? Сколько раз ты…

— Какая же я пьяница? Так, для настроения. Просплюсь и домой. Только бы Петро не увидел, убьет он меня, — пьяные всхлипы перешли в пьяные рыдания.

— Знаешь что, Анюта, не могу. Сын приехал, что он подумает?

— На колени встану, теточка Марусечка! — на кухне что-то шмякнулось на пол.

— От, беда-горе, — вздохнула мать и сердобольно разрешила: — Иди, ложись. Фуфайку давай под голову положу, беда-горе…

Мать задернула занавеску, отделявшую запечек от кухни, потихоньку приоткрыла дверь и вошла в большую комнату. Увидела, что я не сплю, спросила:

— Тут покушаешь или на кухне? Давай я сюда принесу, — отдернула занавески на окнах, но в комнате немножко стало светлее, и она щелкнула включателем. — Иди мойся, брейся, да не пугайся, там за печкой Анюта храпит. Кто бы мог подумать, что сопьется. Ладно, Валя Чудикова, та с малолетства самогонку видела, около самогонного аппарата и выросла, ее батько гнал эту гадость безбожно. А Анюта? Я думаю, сынок, что этот грех за нее пусть берут те, кто в Беловежи заседал. Пусть на их совести и эта погубленная душа будет. Они же с Петром денег дочери на квартиру насобирали, таким потом, что страшно подумать. Деньги-то и пропали. Петро держится, а Ганна совсем запила. Каждый божий день! Петро найдет пьяную, на руках принесет до хаты… От, беда-горе... Он ее и до столба во дворе привязывал, чтобы люди видели, ничего не помогает… Ничего.

Пока я завтракал, она сидела напротив:

— Огурцы у меня в этом году удались, видишь, какие. Это потому, что в бочечку засолила, и картошка хорошая, я ее чуть припушила салом с луком, ты такую в детстве любил.

Я кивал головой.

— Что-то у тебя, сынок, аппетита нет, дума какая гложет? Может, в семье что не так?

— Да все так, мать, все так! Надин подарок не примеряла, а ты примерь, а дети привет передают. Надо мне на почту сходить, позвонить.

— А чего на почту, у Рымашевских есть телефон. От них и позвонишь. А до почты пока дойдешь, нитки сухой не останется. — Она убирает со стола, вытирает клеенчатую скатерть. — Адась Рымашевский не с тобой ли в школу ходил?

— Да нет, он на пару лет постарше. А что?

— Когда Польша ницма грохнулась, так он туда чего только не волок, и как та граница выдерживала. Там у них еще с запольских времен родня, а теперь оттуда сюда возит. У него по здешним селам четыре ларька, если не больше, — и мать начала перебирать села, где Адась имел ларьки. Считала, запуталась, снова начала считать, снова запуталась. — Тьфу, старая, совсем одурела, оно мне надо… Все село к нему на поклон ходит.

— Ну, я на поклон не пойду.

— Ты нет, а я хожу, когда с пенсией туго. У него и дед богатый был, старостою в костеле состоял, в сороковом его в Сибирь вывезли. Бывало, как сцепится с нашими православными, только держись. Ох, и жадный был, а внук ничего. У него полсела должники. Мужики говорят, давай, Адам Петрович, выберем тебя председателем сельсовета, а ты нам все долги спишешь.

— А он?

— Смеется: «Еще время не пришло». Оно, конечно, на сельсовете не зажируешь. Наверное, метит повыше.

— А куда повыше?

— Да теперь за деньги какую хочешь должность купишь, каким-нибудь депутатом…

— Ну, мать, ты и скажешь…

— А разве не так? Васюня Цыганчук уже в больших начальниках ходит. А кем был? Помню, придет к нам, чтобы ты помог уроки сделать, замызганный, сопливый. А тетради? Как будто их под сковородку подкладывали. Думаю, вырастет, нигде места не нагреет, а теперь — Василий Ильич. Когда приезжает, председатель сельсовета навстречу сломя голову бежит, чтобы, не дай Бог, не споткнулся Васюня на ямке какой.

— Как же он так смог?

— Так и смог. Рымашевский товар из Польши, а Васюня машины подержанные из Германии. Мастерскую свою открыл.

— Это где же?

— Там, около старой трансформаторной подстанции. Люди говорят, что он свой «Знак Почета» Рымашевскому за хорошие деньги продал и с этого начал. Пригонит, подновит и на продажу. Он же бывший колхозный бригадир, в технике разбирается. Хотя, какое там разбирался, у него Иванко Матрунин да Денис Дудариков ишачат. — Мать смотрит в окно, выключает свет. — Пойду гляну, как бы Анюта с лавки не упала. — Вернувшись из кухни, продолжила: — Квартиру в городе купил. Мастерскую, говорят, на брата переоформил и живет себе припеваючи… Мы у него денег на новые подсвечники в церковь просили, так он такою беднотою перед нами выставился, что стыдно и рассказывать… И когда душа у человека иссохла?

Окончание следует.



АНДРЕЙ ТЯВЛОВСКИЙ

В никуда дороги нет

Не хватает времени

Стало трудно находить слова —
Все слова банальны и пусты.
Но все так же кругом голова
Просто оттого, что рядом ты.

Но все так же день с тобой, как миг,
А часы разлуки — как года
В тысяче забот, проблем, интриг...
Времени нехватка, как всегда.

Не хватает времени на сон.
Не хватает времени на жизнь.
Не хватает времени на все —
Господи, мгновенье задержи!..

Не сдержать. Летят за окоем,
Словно птицы, нашей жизни дни.
Но все так же мы с тобой вдвоем —
Господи, хоть это сохрани...

Молочная война

А развяжи веник — и по прутику его легко переломать можно...
(Из притчи)

Все что можно предать —
предали.
Все что можно продать —
продали.
Перестаньте грозить
бедами
И кривляться в экран
мордами.

Перестаньте сорить
мыслями,

Отряхнув пиджаки
модные:
Для кого молоко
кислое.
Для кого Беларусь
гордая.

А колеса вражды
крутятся,
Заглушая слова
вещие:
Если этот раскол
сбудется,
По России пойдет
трещина.

Сколько можно толкать
к пропасти
И о дружбе вещать
с гонором?
Что ж за вера у вас,
Господи, —
Или Русь крещена
долларом?!

От хазарского, что ль,
семени
Златоглавой Москвы
темники?
Боже праведный, дай
времени —
Чтоб не стало, как с тем
веником...

июнь 2009

Воспоминание о Сычевке

Бесконечные пыльные версты
Запустелых смоленских дорог...
Век двадцатый.
Конец девяностых.
Мне вернуться сюда не дано.

Дряхлый пазик выводит речевку,
По российским ухабам скрипя.
Я навек покидаю Сычевку,
Покидаю частицу себя.

За спиной — не чужая чужбина:
Городок на пять сотен домов.

Гуси, куры. Речушка Лосьмина.
Рачьи норы — мечта пацанов.

Староверская церковь на горке,
Леспромхоз, Электродный завод...
На душе неспокойно и горько,
И повсюду — раздрай и разброд.

Что с тобою, Смоленщина, стало?
Будто снова вернулся Мамай.
На осколки лихого обвала
Щерят окна пустые дома.

И плывут, словно лодка Харона,
Отгоревших надежд маяки:
Приржавевшие к рельсам вагоны,
Прислоненные к хатам ларьки...

Не выходят косцы на дорогу.
Да и нету косцов на селе...
Лишь автобус пылит понемногу
Меж заросших бурьяном полей.

Эх, Смоленщина, край мой сердечный!
Даже говор — и тот здесь родной:
На столе — *бураки и поречка.*
Как пароль: мы доныне — одно.

Нас делили... Делили... Делили...
Только все это — путь в никуда.
И российские горькие были —
Все равно не чужая беда.

Мы поднимемся — вместе, не порознь.
Тяжело — но мы начали путь.
...Хоть безвременья смутную пору
Нам не раз предстоит помянуть...

Перед битвой
(из поэмы «Березина»)

И расходятся тропки узкие,
И заходятся в небе вороны...
А вокруг — земля белорусская,
Чужакам вовек непокорная.

Из глухих лесов заокраинных
Поднимается сила ратная.
Сила русская, сила тайная,
До конца врагу непонятная.

Тяжким молотом не разбитая.
Стужей-холодом не убитая,
Не бессчетная, не могучая,
А навалится черной тучею —

И ни выхода, ни спасения
Для гостей лихих да непрошеных.
По предутренней хмурой темени,
Снежной крупкою припорошенной,

Выдвигаются в битву славную,
Битву трудную, битву честную
Не полки уже и не армии —
Сам дремучий край надберезинский.

И расходятся в обе стороны...
И заходятся в небе вороны...
Над рекой заря занимается,
Кровью алою наливается...





АЛЛА ЖУР

Клинопись на кленовых листьях

Лирические миниатюры

Группа крови

А вдруг мы и вправду были когда-то деревьями, цветами, травами? Иначе, откуда в нас это остро-щемящее чувство сопричастности к появлению первого клейкого листочка, розового бутона, наливающегося соком яблока, — словно это мы сами в этот миг рождаемся, цветем, плодоносим?

Откуда в нас способность так чутко улавливать перемену погоды, живо отзываться на фазы луны, радоваться солнечному теплу?

Не является ли все это доказательством нашего родства с растительным народом, память о котором до сих пор живет в нас на генном уровне?

Может, поэтому так хочется порой по-детски доверчиво прижаться к дереву, как к кому-то самому дорогому и близкому, ощутить, как в тебя вливается его живая сила. А потом шепнуть:

— Ты и я — одной группы крови. Мы с тобой — с одной планеты.

Мы с тобой — дети Земли.

Фиалковый язык

Интересно было бы вообразить, что у каждого вида растений есть свой собственный язык. Фиалковый народ имеет свой язык, и папоротниковый, а также черемуховый, кленовый, березовый, земляничный... И когда-нибудь мы научимся эти языки понимать, станем с детства их изучать, как сейчас английский или польский. И появится даже профессия такая — переводчик с ромашкового или вишневого языка.

Ух ты! Дух захватывает при мысли, сколько всего могли бы мы тогда узнать о мире. И о самих себе. Узнать такое, от чего все наше нынешнее мировоззрение полетело бы вверх тормашками.

Китайская роза

Она выдала себя! Ей пришлось это сделать. И теперь я знаю ее секрет. Хотя не совсем понимаю, как дальше с ней себя вести? Ведь, оказывается, она… обладает телепатией.

Уж как ни старалась я ухаживать за своей китайской розой, ублажать ее — ленивая красавица все капризничала, не цвела.

— Ах так?! Ладно, — думаю, — свезу тебя завтра же, голубушка, на работу!

И на следующее утро на розе вдруг вспыхнул алый бутон — один-единственный — как душераздирающий вопль «SOS», как будто отчаянная мольба…

Конечно, я растрогалась и оставила ее дома.

Однако больше хитрунья не расщедрилась ни на один цветок, хоть ты снова ее припугни!

Папоротник

«Мне вспомнилась горничная из гостиницы, которая учила меня ухаживать за папоротником: не поливайте его сверху, поставьте горшок в блюдце с водой, и, если он захочет пить — попьет…» — это из романа Хулио Кортасара «Игра в классики».

Это верно! Они сами знают, чего хотят. И кто мы такие, чтобы им навязывать свою волю: «А ну, давай цвети!»

Растить растения

Если вдуматься, странно это звучит: растить растения. То, что уже само по себе существует, чтобы расти. Но нам это нравится — ставить себе в заслугу. А они великодушно позволяют нам думать, что так оно и есть.

На цыпочки

В одной телепередаче режиссер Кшиштоф Занусси поделился своим философским мировоззрением: «Человек каждый день должен расти, только тогда его жизнь имеет смысл. Если он стоит на месте, не находит в себе силы подняться, если прекращается его рост как личности, то это против его природы».

Но откуда растения это знают? Что им нужно расти?! Вот еще один миллиметр, новая веточка, почка, листок… И так — до последнего своего мига, не теряя ни секунды на зависть, ревность, мстительность и злобу.

Им не важен карьерный рост. Они просто растут...

Хорошо бы и нам так. Расти, тянуться вверх, ну хотя бы… вставая на цыпочки.

А может, деревья растут из-за… любопытства? Да-да! Растут, вытягивая свои длинные, как у жирафа, шеи, дружелюбно заглядывая к нам в окна, чтобы увидеть, как мы там обустроились и сидим себе, чай попиваем. Так им хочется быть поближе к нам, попасть в наш мир…

Психологическая совместимость

Даже лучшие друзья и близкие родственники после нескольких дней, проведенных вместе, обнаруживают друг у друга множество черт характера, чертовски неприятных, начинают тяготиться общением.

А вот наедине с растениями… Почему с ними всегда легко? Почему они никогда не раздражают и не разочаровывают? Потому что они умеют слушать и слышать, не перебивая. Потому что они умеют молчать.

Научно доказано, что одним людям растения радуются, других боятся. В США поставили такой опыт: «экспериментатор» поджигал лист растения. И

потом, когда он входил в теплицу, приборы фиксировали, что листья сжимаются.

Но не омрачал ли триумф от успеха эксперимента сам тот факт, что подопытное растение теперь при виде него, поджигателя, обмирает от страха?

Золотой ус

— Какое интересное растение — золотой ус! — удивляется мама моего мужа. — Оставила я в кухонном шкафчике его срезанный стебель с листочками: засохнет, думаю, буду волосы им ополаскивать. Осенью приезжаю, открываю дверцу — и аж мурашки у меня по коже! Стебелек тот, как и был, зеленый, а сверху еще листочки пошли. И это он, бедный, без корней, без земли, без воды… Что ни говори: все живое хочет жить! Какая же сила у него. Ты его в доме не своди!

Не сведу! Буду учиться у него жизнелюбию!

Листок

— И маленький листок, качаясь на ветру, о чем-то думает. Я в этом не сомневаюсь, — без тени улыбки произнес Янка Сипаков, когда я поведала ему о необычных способностях своей китайской розы. И, помолчав, добавил: — Нам бы научиться жить так же просто, как этот листок… Хотя, кто его знает, так ли у него все просто, не волнуется ли и он из-за погоды, болезней, вредителей…

Спирея японская

Растения в садовом питомнике обступают меня со всех сторон, как ребятишки в детдоме. Их много-много, совсем малыши и подростки, голенастые, угловатые, еще нескладные. Здесь не принято высчитывать, кто лучший, кто первый, кто самый любимый. Все равны. Сидят в рядок, за всеми одинаковый уход, никто перед ними не замирает от умиления, не дрожит от восторга.

И вот я хожу, выбираю, кого из них усыновить, дать свою фамилию. А они так стараются понравиться и как будто молят:

— Ну, возьми меня, возьми!

Да и директор хочет пристроить их в хорошие руки:

— Хотите эту спирею японскую? Она большой не растет, будет аккуратный шарик. Вы не смотрите, что она сейчас такая несуразная. Подстрижете и увидите, как из дурнушки в веснушках она превратится в первую красавицу.

Туя таявидная

У меня есть знакомая с роскошно длинными и густыми волосами. Когда она чем-то сильно огорчена или обеспокоена, то снимает свой стресс весьма необычным способом.

Берет ножницы и — щелк-щелк! —подрезает себе волосы. От роскошной копны не сильно убавляется, а на душе у нее становится гораздо спокойнее.

Я вспомнила об этом, когда мне предложили в питомнике подстричь тую вересковидную. Я не планировала ее брать, но она тронула мое сердце своей

пушисто-шелковистой мягкостью, ну прямо кошечка, и я ласково ее погладила. А директор и говорит:

— Ее можно стричь и стричь, воплощая любую свою фантазию. Она это любит. Вот будет у вас плохое настроение, возьмете ножницы… Попробуйте прямо сейчас, сами увидите…

Я взяла секатор, несмело подрезала одну веточку, другую. Потом вошла во вкус, осмелела, увлеклась, вдохновилась, и настроение сразу как-то улучшилось.

Вот тогда и вспомнила про свою знакомую.

Ножницы сочно щелкали, головка туи славно округлялась, приобретая форму. И было особое удовольствие — в самом этом сочном звуке — щелк-щелк!

Скумпия

— А это кто такой забавный, что обхохочешься? Парик, что ли, он нахлобучил?

— Представьте себе, да! Этого озорного модника так и зовут: париковое дерево. А по-научному — скумпия из семейства сумаховых.

— Ого, звучит!

— Цветки ее мелки и невзрачны. Главное представление начинается после цветения. Цветоножки сильно разрастаются, ее белые волоски переплетаются, путаются, напоминая напудренный парик дамы XVIII века. Дама эта обожает южное солнце, растет на Кавказе, в Крыму…

— Ах, вот где я раньше ее видела! В Крыму! И вид этой седовласой дамы настолько поразил тогда мое детское воображение, что я, присев перед ней от удивления в реверансе, не удержалась от мелкого хулиганства: одолжила пару прядей себе на память.

— Думаю, она не была в обиде. А знаете, сколько у скумпии имен? Более двух десятков! «Желтинник» — из-за содержащегося в ее древесине красителя физетина, он придает ей приятную желтизну, очень ценную в инкрустации. «Венецианский сумах» — потому что ее завозили из Италии; «сафьяновое дерево» — из-за использования листьев для выделки сафьяновых кож; «красильное дерево» — листья, древесина, корни — источник органических красок; «ализарин» — по названию краски, также получаемой из скумпии…

Эх, столько достоинств, столько имен, а я от нее отказалась. Может, зря? Веселил бы мой сад кусочек детства из Крыма.

Миндаль

Уже от самого слова — миндаль — веет сказкой! А на ум приходит диковинная фраза: не миндальничайте, то есть — не деликатничайте, не нежничайте… Выходит, миндаль — воплощение нежности?

«Ни у одного дерева нет более трогательного и чистого цветения, чем у миндаля», — писал Константин Паустовский. Родовое название этой культуре — амигдалюс — в I веке н. э. дал Колумелла. В нежно-розовом деревце ему пригрезился образ юной, легко краснеющей финикийской богини Амигдалы.

Без упоминаний о миндале поблек бы колорит многих восточных сказок, например, «Тысяча и одна ночь». А до чего же «вкусны» страницы в рождественской сказке Гофмана «Щелкунчик» о Мари, гостящей в Марципановом

замке с миндальными озерами! У библейского первосвященника Аарона посох из сухого миндального дерева однажды покрылся цветами… Древние евреи считали это дерево символом торопливости: оно зацветает одним из первых.

Торопливая нежность миндаля… Где есть грустно-минорная нота «ми» и мажорная «ля».

Жаль, что воздушно-розовое облако в нашем саду — лишь розовые грезы… А вот и нет! Вот эта дива с красивым именем Луизиания не побоится наших морозов. Ее цветение наступает до распускания листьев в начале мая и длится две недели. Чудесные махровые цветки — розовые и даже малиновые, густо усыпаны по всей длине побегов и очень похожи на миниатюрные розочки.

Правда, орешков она нам не даст. Луизиания трехлопастная — декоративный вид. Зато декорацию… нет! — сам дух волшебства в саду непременно воплотит.

Вишня

Шепни «вишня» — и захочется немедленно надкусить ее, чтоб брызнул сок и ощутить на губах волнующе-дразнящий вкус, как от поцелуя. Трудно сказать, чего в ней больше: целебных витаминов, яркого вкуса? А может, таинства?

Сама церемония варения вишни — для нас, славян, это такое же священнодействие, как для японцев любование сакурой. Есть в этом что-то очень сокровенное… Лизнуть языком мамины вишневые пенки.

А вареники?..

В них заключен гормон счастья. Именно оно, счастье, отражается на твоем лице, когда ты, зажмурившись, медленно-медленно смакуешь обжигающе-горячий вареник, истекающий соком вишни!

Клещевина

Она танцует, зазывно покачивая роскошными веерами с изумительным пурпурным отливом! И во всем ее знойном облике бушует такое заразительное сумасбродство и бесшабашно-шаманское веселье, что… происходит гипноз. В ушах начинают звучать африканские бубны, и возникает первобытное желание схватить за руки всех своих домочадцев, напрочь забыв о делах, и пуститься рядом с нею в пляс. Веселясь до упаду, хохоча до слез! Ведь делу время, но и потехе час! Хотя бы час… Пока еще лето. Одно всего лето есть и у клещевины. Никогда ей не увидеть нашу зиму.... Но она беспечно танцует!

А в жаркой Африке она живет долго, растет высоко, деревом до десяти метров. Ах, африканские корни… Вот в чем разгадка ее яркой внешности, жгучего (иногда!) темперамента и неуемной тяги к солнцу. Часто ее называют «касторовым деревом», потому как всем известное касторовое масло делают из ее семян. А мне больше по душе говорить ей «пальма». Она очень на нее похожа!

— А почему «клещевина»?

— Может, потому что семена ее по форме на клещей похожи, а может, потому что она так умеет обворожить, запасть тебе в душу, что и клещами ее оттуда не вытащишь.

— Ну вот: уже обворожила! Уже запала! Хочу клещевину-у! Для того чтоб забыть о зиме! И безмятежно радоваться лету.

Гинкго

Ого! Увидеть сегодня вживую ровесников динозавров! Живыми и невредимыми! Чудом сохранившимися до наших дней со времен мезозойской эры! Увидеть один-единственный современный вид этого семейства — гинкго двулопастный, ставший реликтовым, живым ископаемым голосеменных растений. И представить себе, как все это было тогда, двести миллионов лет назад… Вот не спеша разгуливают, аж земля дрожит, травоядные ящеры-гиганты, почесывают свои бронированные спины о стволы гигантов-деревьев высотой с девятиэтажный дом, с аппетитом пощипывают его листву. И такой доисторический пейзаж животно-растительного гигантизма царил по всему земному шару. А потом планету накрыл ледник. Казалось, все живое погибло. Считали, что погибли и гингко.

Но в 1690 году это необычное дерево с листьями, похожими на японский веер, и желтовато-серебристыми плодами впервые обнаруживает в Нагасаки врач голландского посольства Энгельберт Кемпфер и дает ему название «Гинкго», слегка искаженное от японского слова «Yin-kwo», что означает «серебряный абрикос». Семена гинкго попадают в Европу. А в Японии оно становится чуть ли не национальным деревом. Говорят, около буддистских храмов в Японии и Китае растут гинкго, которым более тысячи лет! Они выше 30 метров и в обхвате — 2, 4 метра.

Англичане называют гинкго «деревом девичьих волос» за сходство его листьев с папоротником «венерины волосы». Немцы — «деревом Гете»: поэт посвятил ему стихотворение. Французы — «деревом за сорок экю»: за такую сумму в 1780 году ботаник Петиньи купил в Англии драгоценный сеянец. В США — «динозавровым деревом» и из листьев его изготавливают украшения, покрывая позолотой. А поэтичней всех когда-то гинкго называли древнекитайские врачеватели — «листком летящего мотылька».

Однажды такой мотылек прилетел из Гомельского ботанического сада ко мне на ладони.

— Это талисман. Он принесет тебе удачу…

Черника и земляника

Оказывается, и среди растений есть домоседы и непоседы. Черника растет в лесу на одном месте не то что годами — столетиями.

А земляника любит путешествовать. Два-три года посидит на одном месте, а потом — ищи-свищи ее, она уже перескочила на другую поляну. Она ищет лучшее место под солнцем, ей некогда скучать.

Может, поэтому первая похожа на грустную затворницу-пессимистку, а другая, заряжаясь новыми впечатлениями, всегда общительна и жизнерадостна.

Подорожник

Ну, а самый заядлый путешественник — это подорожник. Шагает по всему миру, как надежный башмак — весь крепко и аккуратно простеган ниточками-жилками. Такие растения называют космополитами, что в переводе с греческого — гражданин мира. И не нужны этому гражданину ни паспорт, ни виза. Путешествуй себе налегке, прицепившись клейкими семенами к ногам, лапам, колесам. А мы, повстречавшись с ним во время похода,

радуемся ему, как старому другу. Случись царапина или ранка — приложи листок, и кровь остановится.

Спасибо, дружок подорожник!

Сосна Станкевича

А ведь есть и растения -домоседы высшего толка — эндемики, то есть распространенные на очень небольшой территории. Как, например, сосна Станкевича, или судакская. Она растет только на Крымском полуострове. И даже там всего в двух местах — возле Нового Света и в районе мыса Айя, — в урочище Аязьма, Батилиман и Ласпи. Так вот я очень горда! В Ласпи я дважды отдыхала летом и своими глазами видела эту уникальную сосну! И не раз наслаждалась ее обществом, прогуливаясь в ее реликтовой рощице. Я дышала с ней одним воздухом, мы стойко переносили вместе с ней рекордную даже для тех мест — до $^{+}48$ — жару. Я карабкалась по горам, и она была рядом, я цеплялась за голые камни, и она цеплялась. Впрочем, где мне было до нее? Она крепкой закалки, еще та скалолазка! Взбирается по горным склонам возле мыса Айя на высоту 300 метров над морем и растет там почти на неприступных голых скалах. Я слышала от лесников, что здесь встречаются почтенные старожилы в возрасте более 200 лет, 8—10 метров высотой, полметра толщиной.

Выглядит сосна Станкевича потрясающе живописно: толстые, скрученные стволы с буроватой корой и причудливо изогнутыми ветвями, полушаровидная пушистая крона из длинных темно-зеленых иголок, в ней просвечиваются крупные одиночные шишки и смотрят строго вверх. Впервые эту хвойную культуру открыл в 1906 году лесовод В. И. Станкевич, в честь него сосна и была названа. До революции судакской сосны было значительно больше, но их нещадно вырубали из-за очень ценной древесины. В письме от 3 сентября 1791 года адмирал Ф. Ушаков сообщал: «Для справления флота в Севастополе… прошу вас повелеть вырубить… до осьмисот сосновых бревен».

Сегодня сосна Станкевича занесена в Красную книгу Украины и относится к I категории (исчезающих) видов растений. Она охраняется в крымском заказнике «Мыс Айя» лесниками и Госэкоинспекцией Севастополя, а в течение двух недель, в июле, еще и… моей семьей, нашими друзьями из Минска и Алексеем из города Йошкар-Алы.

Дружно несли мы свой дозор…

Не скучаешь ли ты о нас, сосна Станкевича?

Яблоки

Почему нам самыми вкусными кажутся яблоки из своего сада? Потому что мы видели, как они росли! Своими глазами видели все: от первого листочка до налившегося плода. Мы слышали каждый их вздох, вдыхали их запах. Они — наши дети.

А ночью, как в подтверждение и продолжение этой мысли, приснилось, что у меня появились две приемные дочери. Одной двенадцать лет, другой полтора года. И я растеряна. Я не знаю, что с ними делать. Не получается взять так и сразу их полюбить. И дело даже не в том, что не я их родила, — я не видела, как они росли.

Колыбельная для сада

У деревца на улице сломана ветка. Повисла, как сломанная рука. Некому ее забинтовать, некому его пожалеть. Деревья в городе, как дети-беспризорники. Ни пап у них, ни мам. Только вечно занятой казенный дядька Зеленстрой. Никто не поет им колыбельных песен перед сном…

Не то, что деревьям в домашнем саду, где над каждым трясется садовник. Что-то шепчет, гладит, утешает …

А эти растут сами по себе. Сохнут.

Садовники и садисты

Есть у сада садовники — они его боготворят, и у них вырастает райский сад.

А есть садисты. Посадив деревья, они все пускают на самотек: не кормят их, не поят, не лечат, даже плодов не собирают.

И превращают жизнь своего сада в сущий ад!

Заморозки

Мы авторитетно заявляем:

— Сады цветут — будут заморозки.

И не удивляемся, почему всегда сбывается наш прогноз. Скорее досадуем: опять урожая будет недобор. Мы эгоистично-недальновидны и не хотим осознавать: так было задумано. Самой природой. На одной только яблоне тысячи тысяч цветков, и если на каждом завяжется плод, перегруженное дерево просто не выдержит. Оно рухнет, погибнет! Значит, заморозки нужны ему во спасение? И цветение, и заморозки — звенья одной цепи, связанные между собой.

Сколько еще нам не дано уловить этих связей?

Они знают

Откуда растения знают, кому за кем расцветать? Всегда сначала одуванчик, потом клевер, сирень, шиповник, жасмин… Все расписано, как по нотам. И какой бы ни была неправильной погода, это их не смущает, не провоцирует — все происходит в строгой очередности. Нет выскочек среди них. Никто не переступает другому дорогу. Терпеливо и степенно ждут какого-то сигнала. Своего положенного часа.

Оказывается, растения сами «назначают» сроки, договариваются и никогда не нарушают раз принятый уговор: сначала цветет ольха, затем береза… Все строго соблюдают самодисциплину.

Но иногда…

Не слушается!

Последний день зимы. Осталось несколько часов до начала календарной весны. А в Крыму, как показали по телевизору, царит смешение сезонов. Как будто сказка «Двенадцать месяцев» стала пророчеством. Осенние чайные розы пышно цветут, и тут же подснежники, которые в Крыму появляются на рожде-

ство, и синие фиалки — символ прихода весны — уже расцвели. Набухли почки всех деревьев. И смородина уже целый месяц как проснулась, и миндаль.

В Ботаническом саду работница подходит к опрометчиво и безоглядно принарядившемуся, как девочка на утреннике в бантах и гольфах, деревцу в нежно-розовых цветочках и уговаривает:

— Ну, зачем ты спешишь: будут еще и холода, и возвратные заморозки…

Не слушается ее деревце.

Природа

«Природа знает лучше!» — охлаждает пыл уж слишком рьяных спасателей природы американский эколог Барри Коммонер. Он уверен: природа сама умеет за себя постоять, она способна сама себя восстанавливать, защищать. Не надо ей мешать.

Тайна

Но тайна все-таки остается. Никто так и не знает, кто создал столь совершенные программы для всего живого на Земле. Биологи, конечно, могут объяснить механизм устройства и действия программы эволюции на языке химических формул. Но и не более того…

Люди верующие считают, что программы составлял Всевышний. Есть ученые, полагающие, что существует некий Всемирный банк информации, где хранятся и все ныне действующие, и все прошлые, и даже все будущие программы. Где расположен этот банк?

Атеисты убеждены, что мир построен на вечных законах природы.

Это хорошо, что у нас есть эта Тайна и никому не удается ее разгадать…

Пусто

Для моей бабушки, когда она на кого-то серчала, самыми ругательными были слова:

— Чтоб ему пусто было!

И мне чудилось в них что-то жутко пугающее. Нечто такое, что хуже уже некуда. Мертвое, с пустыми глазницами, безликое «ничто», зияющая огромная дыра.

Пустырь, пустозелье — в них тоже зияет эта пугающая пустота.

Бурелом

— Почему в заповеднике поваленные ураганом деревья не убирают? — невинно вопрошаю я, продираясь через преградивший нам дорогу огромный вековой ствол, вырванный с корнем.

Ученый биолог смотрит на меня со священным ужасом:

— Да ведь это нарушит равновесие во всех биотопах! На этом дереве, под ним существуют целые миры, связанные между собой. Сообщества различных растений, лишайники, мхи, насекомые, птицы…

А позже я с еще большим удивлением вычитала, что девственные участки природы настолько хрупки и ранимы, что даже домашние пчелы, собирая там нектар, могут существенно нарушить их состояние, повлиять на жизнь насекомых в заповеднике.

Эффект бабочки

«Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли, в корне изменит наши судьбы… Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы». Это цитата из рассказа Рея Брэдбери «И грянул гром», где гибель бабочки, на которую нечаянно наступил герой в далеком прошлом, необратимо изменяет мир будущего. Фантастика? Не совсем! Брэдбери отразил научную теорию хаоса Лоренца Эдварта Нортона, американского математика и метеоролога, которая гласит: небольшие изменения в окружающей среде ведут к непредсказуемым последствиям. Причем слово «хаос» здесь, в отличие от своего обычного значения, указывает скорее на закономерность, строгую упорядоченность. Лоренц назвал свою теорию весьма поэтично «эффект бабочки». Нет, он не слыл фантазером и чудаком, витающим в облаках, хоть его и завораживали с детства необычные природные явления. Лоренц был одержим наукой и возводил в культ цифры и формулы. Поэтому никто и не вздумал смеяться, когда в своей научной статье «Предсказание прогнозов: может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?» Лоренц утверждал — да это так! Крылья бабочки могут создать крошечные изменения в атмосфере Земли, способные в конечном итоге изменить путь торнадо в определенном месте в определенное время.

Само открытие Лоренца возымело «эффект бабочки» и вызвало настоящее торнадо в умах ученых, социологов, экономистов, писателей, кинорежиссеров, да что там — всех смертных людей.

Было непостижимо, что один твой шаг, невзначай оброненное слово, мельчайшая ошибка, неразличимая глазу погрешность могут в итоге повлиять на важнейшие процессы в мире, изменить ход истории, раскачать целую планету. Как же шаток наш мир в своем строго упорядоченном хаосе, если даже самые ничтожные изменения, происходящие в нем, могут привести к глобальным последствиям. Как же он хрупок, если стоит только бабочке однажды взмахнуть крылом…

Но выясняется вдруг нечто неожиданное.

Вот пример. Одну половину степного луга с ярким разноцветьем трав где-то в районе Курской дуги решили сделать заповедником. А на другой его половине смело косили траву, пасли скот. Прошло несколько лет: там, где пасли скот, луг продолжал радовать глаз красотой и разнообразием растений. А заповедный участок стал зарастать бурьяном. Оказывается, постоянное воздействие копытных животных просто необходимо для поддержания баланса произрастания растительности на таких лугах, именно оно не дает буйствовать злакам, бурьяну.

Нет, без нашей помощи природе не обойтись. Только мы должны быть с ней бережно-нежны.

Пальмы

Первое, что бросается в глаза, когда ступаешь на остров Мальорка, — это растения. Они здесь — баловни судьбы, они здесь у природы любимые дети. Они здесь величественны, монументальны, роскошны. Они здесь царят, торжествуют. А еще я увидела, какой может быть китайская роза (гибикус), «вырвавшись» на волю. Дома у меня она, как я упоминала, скромно «сидит» в кадке, а здесь это заросли до неба. А как разнообразны по форме кактусы, они тоже здесь исполины! Так чувствуют себя растения, когда им хорошо. Но лелеет их на Мальорке не только Природа.

Вот на верхушке пальмы сидит человек и топориком обрубает ветви. Оказывается, в этом-то и секрет, почему выглядят такими ухоженными почтенного возраста пальмы: им делают омолаживающую стрижку. А «челка» потом опять отрастет.

По утрам растениям здесь устраивают освежающий душ, и они так прекрасны в сверкающих на солнце капельках росы.

Мальвы

У нас была эта роскошь — старинный плодовый сад, раскинувшийся перед нашим домом-новостройкой. И мы воображали себя жителями романтичного замка в дивных кущах. Мы чувствовали себя богачами: у нас — сколько хочешь солнца, сколько хочешь — неба, луговые цветы, бабочки, букашки, птицы… Свой заповедный уголок из Красной книги, в котором бурлит собственная жизнь. Распахнешь окно — и вот он, затерянный мир! Все вокруг стрекочет, щебечет, чирикает… А по ночам кто-то таинственно ухает…

И вот мы глянули в окно, а сада больше нет! Все деревья выкорчеваны! Лежат на земле прямо с плодами на ветках. Не шелестит больше листва...

Мы знали, что так будет. Новому микрорайону нужен не заброшенный сад, а современный гипермаркет с автоматикой, электроникой, сигнализацией, камерами наблюдения, удобной парковкой...

И вот он приземлился на асфальтовую площадку светящейся в огнях огромной космической тарелкой… Сбывшийся из фантастических грез новый совершенный мир кнопок, стекла, бетона и пластика. Мир-Пришелец.

И ты входишь внутрь, перед тобой разъезжаются стеклянные двери, ты покупаешь глянцевые яблоки, стерильно упакованные в целлофан, привезенные из Израиля. Ты и сам себя чувствуешь инопланетянином в скафандре…

Мир безоглядно рвется вперед, но в погоне за своим благополучием он что-то теряет— по капельке, по травинке, по деревцу… Сначала это незаметно, а после оказывается, что это он сам исчезает, близкий, привычный нам мир. Становится неузнаваемо чужим, далеким… Превращается в Мир-Мираж.

Возле нашего дома еще остался нетронутым островок зелени, кусочек бунтарского счастья. Этим летом там вдруг ярко вспыхнули мальвы. Домашние мальвы победно взвились салютом в диких зарослях травы. Когда-то на месте нашего дома была деревня. Живуча память растений. Проросли ее семена…

Затаив дыханье, смотрю я на наш желто-кирпичный дом с синей крышей, просвечивающийся через малиновые, трепещущие на ветру лепестки мальвы. Прекрасный пейзаж до того нереальный!

Я закрою глаза и запомню его.

Одуванчик

Одуванчик — желтый, живой, зацветший в ноябре — это просто чудо природы! Радость для глаз! А летом — злостный сорняк. Все так относительно. Дождался-таки, хитрец, своего звездного часа, чтобы стать для нас чудом.

Клинопись на кленовых листьях

Клен безнадежно в осень влюблен. Он весь полыхает! Он забросал ее тысячами писем. Осень их не читает! Беспечно с ними играет. Рассеянно всюду роняет, роняет…

А после священную клинопись на кленовых листьях дворники на погребальных кострах сжигают.

Кленовые рукописи не горят, они просто пылают!

О чем эти письма — никто никогда не узнает.

Клены и люди

Почему одни клены осенью словно расцветают, становятся такими красавцами: красными, медово-желтыми, золотыми? А у других — листья сразу засыхают и опадают? Это зависит от породы или просто от особенности конкретного дерева?

И почему у людей все так же, как и у кленов: одни красиво старятся, другие — вмиг осыпаются?

Гадалка

Клен кудряв, как цыганский барон. Он протягивает мне ладонь:

— Погадай!

Я глажу ее, по прожилкам читаю его судьбу:

— Ждет тебя бурная жизнь, жгучая страсть, вечные ветры и дороги, дороги…

В теме

Когда пишу о растениях, я полностью проникаюсь темой. Я влюбляюсь в них! Попадаю под их влияние. Только о них и думаю. Окружаю себя ими. Живу под их знаком. Если пишу о клюкве — начинаю варить кисели, бросаю ягодки в щи, тушу ее с мясом, добавляю ее везде где только можно или… нельзя. Если про капусту, у семьи начинаются капустные дни. Если это вишня, то лезу за ней в морозилку. Если яблоки — без передышки ими хрумкаю, хрумкаю…

Волчий персик

Можно, конечно, не верить, можно смеяться, но, ей-богу, это томат! Так неласково его сперва обозвал сам Карл Линней, непререкаемый авторитет в ботанике, классифицировав растение как ядовитое. Один английский садовод в ужасе другому на ухо шепнул: «Говорят, их где-то едят!» Это было в

1596 году. В «Руководстве по садоводству» тех лет писалось: «Плоды крайне вредны, так как сводят с ума тех, кто их поедает». Одним из первых, кто отважился выращивать (но не есть!) «смертельно ядовитое» растение в Англии, был травник Джон Жерар. И за целых сто лет в Европе мало что изменилось. Помидоров и в рот никто не брал! Растили их ради… красы.

В Германии — в горшках на подоконниках, в Англии — в оранжереях среди редких цветов, во Франции — обвивали ими беседки и устраивали в них свидания. Если дама украшала свой наряд цветками томата, она была согласна на романтические отношения. Красный плод подарить — это равносильно признанию в любви.

А что сегодня? Сегодня мы не так сентиментальны и романтичны. Мы прагматичны и кровожадны! Волчьи персики разжигают у нас зверский аппетит. При виде их у нас слюнки текут! Мы выжимаем из них томатный сок. Мы закатываем их в банки. Мы режем их на кусочки, добавляем зелень петрушки, кольца репчатого лука, крапинки черного горького перца, кристаллики соли, золотистый иероглиф из оливкового масла. И с бородинским, в родинках кориандра, хлебом. Вооружившись великанской ложкой. М...м… Язык проглотишь!

И никаких больше томных платонических любовных воздыханий в старомодных помидорных беседках.

Метаморфозы

Джо Кокер отдыхает, выращивая томаты. Привозит семена со всех своих мировых турне. Это тот самый, сочинивший чувственную, эротическую, знаменитую на весь мир композицию, благодаря которой взлетел рейтинг фильма «Девять с половиной недель». Ничего удивительного, что он ее сочинил: это все из-за влияния его любимых томатов. Ведь они, как утверждают современные медики, и сами обладают сексуальностью, повышают половое влечение.

Плод для романтично-любовных признаний в наш век превратился в плод для стимуляции сексуальных отношений. Такие вот любовно-помидорные метаморфозы.

Капуста

Ну подумаешь, обычная капуста на огороде… А ведь был в мировой истории случай в 305 году, когда ради нее великий римский император Диоклетиан отрекся от власти. Причем это был успешный правитель, называвшийся современниками отцом всех народов: при нем прекратились войны, власть стала абсолютной. А он предпочел выращивать овощи. Когда спустя несколько лет ему предложили вернуться на трон, он ответил примерно так: «Трон не стоит покоя жизни. Вы только посмотрите, какая у меня выросла капуста!»

Сначала я скептически отнеслась к поступку сбежавшего из дворца императора, потом — с пониманием, а теперь — даже с некоторой завистью.

Я тоже так хочу — бросить все, отречься от бетонного города и сбежать! Сбежать в храм Природы! Вдыхать чистый воздух, видеть лазурное небо, слушать жаворонков. И саму себя. Обрести внутри себя свободу!

Не каждый может себе это позволить. Не каждый сумеет найти в себе смелость начхать на условности, общепринятые нормы и делать что-то настоящее, то, к чему лежит душа, что для тебя главное, что имеет цену счастья.

Для кого-то это может быть выращивание капусты.

Духи с ароматом сена

В Голландии создали духи, которые пахнут сеном, молоком, травами, пряностями и даже… навозом. По словам парфюмеров, их идея заключается в том, чтобы привнести запах деревни в город. Ведь люди забыли, как она пахнет на самом деле! Духи называются так же, как и одна деревня на северо-западе Голландии, и повторяют ее аромат.

Маки

Не знаю, кого здесь винить. Наркоманов или чиновников? С детства я обожаю алые маки. Мечтаю засеять ими весь сад, чтобы они трепетали на ветру крылышками, как тысячи мотыльков. Но даже за один цветочек на клумбе, если его обнаружат, администрация дает штраф в 700 тысяч рублей. За один-единственный! Ну разве это не абсурд?

Интересно, а за то, о чем я написала, меня также могут привлечь к ответственности?

Анютины глазки

Я видела мужчину почтенного возраста, преклонившего колени перед… анютиными глазками! Они росли на клумбе у его подъезда. Он, словно галантный рыцарь, встал на одно колено, склонил перед ними голову, как будто среди них была и дама его сердца, и старательно начал рыхлить земельку, выбирать травинки.

А они, кокетки, так и строили ему глазки!

Ходят, как павы

Он чародей! У него столько чудес в саду. И при этом кандидат сельскохозяйственных наук. Такой вот чародей-ученый, Георгий Федорович Кулеш. В своем личном хозяйстве он сделал ставку на ЭМ-технологию. И не нарадуется ее результатам:

— Капуста цветная у меня по 950 граммов. Картошку фитофтора не тронула. Последние помидоры снял 15 октября. И еще сколько цвета на кустах было. «Иди, дед Жора, — говорят мне помидоры, мы сами без тебя справимся». Яблони у меня не болеют раком. Нигде на участке нет сорняков. — И произнес затем эту волшебную фразу: — Женщины мои ходят по саду, как павы, не сгибаясь.

Кактус

Как растения улыбаются? Они цветут! И чем скупее на проявление чувств растение, тем желаннее нам его цветок.

Вот почему нас обуревает сумасшедшая радость, мы хватаемся за фотоаппарат, когда зацветает кактус.

Такой суровый небритый «мужик» и вдруг — улыбка до ушей, простодушная, детская, нежная.

Правда, сентиментальности ему хватает ненадолго — в лучшем случае, на день-два. А потом он снова становится колким, сердитым, неприступным.

Ничего, мы потерпим, мы подождем…

Мы все простим за одну его улыбку!

Стапелия

Я знала, что ей будет обидно. Но что было делать? Она зацвела, моя дражайшая кактусиха стапелия. На ее пальцах-щупальцах раскрылся цветок о пяти лепестках желтовато-красного цвета в кровавых прожилках, похожий на рот или даже на глотку. Мясистые лепестки покрывал пушок, словно шерсть. Эффектно, но в глубине души и жутковато. А самое главное — убийственный запах протухшего мяса, как из пасти хищника. Впрочем, и это не все! Стали слетаться на мохнатый цветок черные жирные мухи, они противно жужжали, нюхали тошнотворный цветок и не могли нанюхаться. Похоже, моя стапелия хищница? Она ест насекомых?

Терпела я день, терпела два, а потом оборвала цветок со словами:

— Прости!

Не простила. До сих пор не цветет. Все сердится.

Но я не сильно об этом горюю.

Монстера и лимон

Приютила на время ремонта в своем кабинете соседские комнатные цветы: кого на подоконнике, кого на полке, кого на полу.

Самого высокого «заморского гостя» — лимонное деревце — пристроила на столе рядом со своей молоденькой монстерой. А та вдруг встрепенулась, вся подалась к нему навстречу и, будто невзначай, коснулась длинным воздушным корнем:

— Будем знакомы!

Похоже, что и сосед не был против…

Ишь ты, прыткая какая! Так доверчиво льнешь к незнакомцу. А если у него фузариоз?!.

Придется вас рассоседить!

Монстера

Забрала я монстеру домой. На работе она жила в спартанских условиях. И вот купила я красивый горшок, специальный грунт и пересадила, придвинув в спальне поближе к солнцу. Но она вдруг вся поникла, больно смотреть. А еще говорят, что это мощная, выносливая лиана, настоящий монстр среди растений.

Я расстроилась. Растила ее с пеленок, из крошечного семечка.

И муж огорчается:

— Как зовут ее?

— Монстера.

— Ну, монстерочка, не умирай! Живи!

И она ожила! Расчувствовавшись, выпустила новый листочек. Блестящий, ярко-зеленый. В форме сердечка. И протянула его нам. Проявила сердечность.

По утрам от избытка чувств на нем выступают прозрачные капельки-слезинки. Сердце мое прыгает от радости!

Для кого-то хищный тропический монстр, для меня — любимый, вынянченный мною детеныш.

Хищник

Почему мы точим на хищников зуб? В чем гневно их обвиняем?

«Хищник — это животное, поедающее другое животное, которое вы хотели бы съесть сами», — справедливо заметил У. О. Нагель. Вот почему!

Сорняки для нас — те же хищники, мы их не любим, потому что они конкуренты для полезных растений, которые мы не прочь съесть сами.

Хичкок

Растение в горшке с длинными висячими листьями, как уши у охотничьей собаки. Я его поливаю, и оно на глазах выпускает стрелку, на ней появляется бутон, он раскрывается, раскрывается, и вот это уже огромная распахнутая чаша. И все это происходит в движении — рост стрелки, раскрытие лепестков, как будто я фильм-анимацию смотрю. А это… мой сон. Потом я вдруг понимаю, это цветок-хищник, росянка, и мне надо его опасаться. Но интересно же, как она будет себя вести, и я подношу длинный карандаш к сердцевине. Цветок мгновенно захлопывается, зажав внутри карандаш. Но кончик-то я не выпустила. Злорадно, с силой выдергиваю карандаш, и растерянная росянка снова раскрывает цветок-ловушку для добычи. Внутри у нее густая белая тягуче-клейкая жидкость, как будто она пустила слюни, да осталась ни с чем.

Такой сон-фильм в стиле Хичкока, я скоро стану режиссером снов ужаса.

Дурман

Некоторые виды дурманов опыляются ночными бабочками, которые летят на его пьянящий запах, пренебрегая всеми другими растениями. В процессе эволюции удлинение трубки венчика у многих дурманов происходило с одновременным увеличением длины хоботка некоторых бабочек бражников. Так возникли виды дурмана, которые могут опыляться лишь определенными видами бражников, попадая в полную от них зависимость.

Не спит по ночам дурман. Источая запах любви, ждет спешащего к нему на зов из темного леса бражника. Ждет его, как своего единственного.

Ждет, как суженого.

Картофель

Для жителей Анд картофель — божество! Это их папа — на языке инков! Это их мама Ятха, то есть матерь роста! Даже время исчислялось у них по тому, сколько его требовалось, чтобы сварить горшок картофеля. А в некоторых высокогорных районах Анд и по сей день измеряют землю в «топо»,

величина его равняется площади земли, необходимой, чтобы прокормить картофелем одну семью. В перуанских общинах есть особая должность — хранитель картофеля. Как зеницу ока берегут сорта, доставшиеся от предков, чтобы передать своим детям. Они не признают современные сорта, которым нужны химические удобрения и пестициды, отравляющие их священную землю. «Чужие сорта плохо растут на нашей земле. А те, которые всегда росли здесь, принадлежат нашей земле — Pacha Mama. Она сама знает, как их растить», — говорит Лиино Мамани, хранитель картофеля одной из сельскохозяйственных общин.

А сортов этих, кстати, по данным Международного центра по изучению картофеля, в районе Анд выращивается около 4300. Вот оно, истинное золото инков.

Добрые и злые

Добрыми и злыми бывают не только волшебники в сказках. Добрыми и злыми бывают и растения. И колдовство их самое что ни на есть реальное, не сказочное. Они могут казнить и миловать, дарить эйфорию полета, погружать в бездну ада… Они намного сильнее, могущественнее нас. Они и Великие, и Ужасные.

И это известно давным-давно.

Жгучий перец

Когда ацтекские жрецы предлагали своей жертве выбрать смерть: либо от обсидианового ножа, либо от выпитого отвара из перца чили — многие выбирали нож. В качестве химического оружия перец применяли еще инки против испанских колонизаторов. А сегодня концентрированный экстракт чили используют в слезоточивых газовых баллонах. Так-то!

Первым замерил степень остроты перцев чили Вильбур Сковилль. В 1912 году он раздавал дегустаторам сорта чили и замерял, сколько им требовалось подслащенной воды, чтобы потушить внутренний «пожар». Сегодня жгучесть чили оценивают по уровню содержания капсаицина. А единица измерения остроты перца носит имя Сковилля.

Самый термоядерный перец в мире включен в Книгу рекордов Гиннесса — это абанеро сорта Red Savina. Он оценивается в 577 000 единиц Сковилля. Для сравнения, капсаицина в слезоточивых газовых баллончиках содержится один миллион единиц Сковилля.

Ой-ля-ля!.. Не требуется ли специальное разрешение на выращивание и хранение такого овощного «огнестрельного» оружия на собственных грядках и дома на кухне?

Мандрагора

От одного только слова бросает в дрожь: мандрагора! Сам Мефистофель о ней говорил в романе В. Гете «Фауст»! И Бунин написал о ней стихотворение, и Шекспир — в «Ромео и Джульетте» ей строки посвятил. Она — воплощение темных сил, мистических историй, таинственных легенд. Что правда в них, что — нет?..

Говорят, она кричит, когда вытаскивают из земли ее скорчившийся, похожий на человеческую фигуру корень. Говорят о ее чудодейственной способности помогать зачатию. Говорят, ее корень указывает на местонахождение кладов, но он может быть выкопан только черным псом. Говорят, из ее корня вырезали адамову голову и носили как амулет счастья.

Исследователь древности Монье, изучая предания о ведьмах, обнаружил, что особую роль в них играют растения семейства пасленовых — «дающие ночную тень» («nightshade» — английское название пасленов) — это белена, дурман, белладонна. И мандрагора, ее корень, в их числе.

А эскулапы признали, что мандрагора содержит в себе атропин и другие психотропные алкалоиды, и потому обладает наркотическим и столь сильным анестезирующим свойством, что человек под ее воздействием кажется мертвым. Она — ядовитая отравительница, но она же и лекарка. Ведь среди ботанических видов мандрагоры — осенней, весенней, туркменской, стеблевой — есть и еще один, наиболее распространенный — мандрагора лекарственная.

Но будоражат больше всего в ней мистические ее свойства, «дающие ночную тень». Станислав Пршебышевский писал в 1897 году: «Основной эффект от ведьмовских мазей в средневековье получали, добавляя в них пасленовые растения, кто его на себе испытал, утверждает, что он «летал» по спирали, будто его подхватил смерч».

Ах, вот в чем тайна рецепта мази Азазелло, которой натиралась Маргарита и летала потом, летала, летала… И в эйфории хохотала…

Где мне найти тот корень мандрагоры, чтоб взвиться в воздух на метле?

Аж свист в ушах! Аж ветер в голове! Как смерч на ней носиться! С другими ведьмами-сестрицами торопясь на шабаш.

День триффидов

Никому не дано знать, к чему ведет великое открытие. И вот их открыли — триффидов! Совершенно новый вид растений, который давал превосходного качества масло и кормовой силос. Их стали расселять по всему миру. Это был процветающий прибыльный бизнес. Кто думал, что за все это придется поплатиться?

Но люди не вправе винить природу. Они сами создали этих чудовищ. Триффиды были ужасающей формой жизни. Они умели передвигаться, вытягивая ноги-корни из почвы. Они переговаривались между собой, выстукивая черенками о стебель барабанную дробь. Они быстро разрастались. Но хуже всего то, что они были плотоядны. На верхушке их двухметрового стебля в воронке цветка таился туго скрученный жгут с ядовитым жалом на конце. Жгут бил с невероятной точностью в лицо и поражая смертельным ожогом.

Биологически это были растения. Каждый из них по отдельности не знал своей цели, но сообща они действовали осмысленно. Их цель была — отнять Землю у людей. И им это почти удалось…

Это роман американского фантаста Джона Уиндема «День триффидов». Предостережение о том, что может случиться. Конец света, предсказанный пятьдесят лет назад. Но сегодня он стал пугающе реален и кажется пророчеством. Но откуда Джон Уиндем в 1951 году мог знать, чем станет для нас борщевик Сосновского?!

Борщевик

— И пусть уберут эти вазы, которые повсюду. Они наделают страшных бед, — покачал головой в поезде старик-попутчик, — нужно везде об этом писать, идти в администрацию, пока не поздно. А то семена его катастрофически распространяются.

— Какие вазы?

— Да вот эти белые шапки цветов.

Я все чаще вспоминаю «День триффидов» и ужасаюсь сходству ситуации. Недалеко от нашего дома на пустыре высится оно, это чудище-юдище. Меня гипнотически тянет к нему, как кролика к удаву. Это невиданный исполин! Выше куста шиповника, до кроны вишневого дерева. А ведь это не дерево и даже не кустарник. Трава! Но не обыкновенная! Гигантская! Травой Геракла прозвали его из-за того, что все у него гигантское: стебель до четырех метров, и в два метра длиной мясистые листья, как растопыренные руки, будто он хочет тебя поймать, а поймает — не поздоровится, и зонты с белыми соцветиями. Борщевик Сосновского занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире сорняк. Ежесуточный прирост растения составляет 7 см, а общий его прирост — до 20 процентов каждый год. Один экземпляр рождает около 20 000 семян. Страшных семян зла! Максимальное же их количество на одной особи зарегистрировали чешские ученые — 107 984 штуки.

Цветет борщевик один раз в жизни, на третий-пятый год, потом умирает. Но подождите оплакивать его с налетом романтичности кончину. Если что-то препятствует цветению, например, — скашивание, то растение будет упорно давать побеги до двенадцати лет, пытаясь зацвести.

Он, как непобедимый дракон о двенадцати, а то и больше, головах. Срубишь одну — вырастет три. Срубишь ствол растения — не убьешь его, если корень в земле остался. Он даст новые побеги. Если его сжечь, то на месте кострища несколько лет ничего не растет, а борщевик уже через три-четыре недели восстает из пепла.

Есть в роду борщевика среди его 70 видов и более безобидные, например, сибирский, из него варят аппетитные борщи, недаром же и борщевик, но этот…

И откуда он на нашу голову? А сами завезли! Как троянского коня! Приручили дикую кавказскую траву, позарившись на ее мощный прирост и витамины, и назвав именем исследователя флоры Кавказа Д. И. Сосновского, в 50-х годах начали культивировать в СССР в качестве кормовой культуры, кстати, по распоряжению Сталина. За что и прозвали его «Месть Сталина» позже, когда узнали о том, что борщевик Сосновского не пригоден для корма коров — молоко получается горьким. Как и о том, что растение быстро дичает и, нарушая экологический баланс, агрессивно захватывает другие территории.

Еще в 70-е годы высказывались опасения, что борщевик Сосновского будет трудно уничтожить — он превратится в злостный сорняк, поскольку способен к размножению самосевом, стойко переносит морозы и болезни, быстро растет. И эти опасения оправдались. Все меры борьбы с ним носят временный успех.

Но главная беда в том, что борщевик Сосновского реально угрожает жизни и здоровью людей. В соке и семенах его содержатся фурокумарины. Они, попадая на кожу, лишают ее устойчивости к ультрафиолету и под воздействием солнца вызывают серьезные ожоги: от первой до третьей степени. Место, куда попал сок борщевика, может остаться чувствительным к солнцу много лет.

А ведь он, коварный, декоративен, и пчелы от него просто без ума, и соблазнительно делать из его полых стеблей музыкальные шумелки, наподобие инструмента диджериду, и всевозможные оригинальные поделки. Но не дай бог, брызнет его сок! Оглянитесь! Видите? Борщевик Сосновского наступает! Площадь его колоний ежегодно увеличивается на 10 процентов. Больше всего его в Витебской и Минской областях. В Витебском районе есть сплошные заросли борщевика площадью до 500 гектаров! Он — в городских парках, возле автомагистралей и железных дорог. Он душит травянистые растения. Он уже проник под полог леса — в ольшаники, ельники, сосняки, вытесняя чернику, бруснику. Он угрожает всему биологическому разнообразию.

Он подбирается к нам все ближе и ближе, он сжимает нас плотным кольцом.

Вам никого он не напоминает? Вам не страшно?

Урфин Джюс

А не стереть ли нам его в порошок, этот борщевик Сосновского? Как Урфин Джюс в сказке Александра Волкова. Однажды утром он встал, глядь — зеленые ростки неизвестного растения. Он их выполол. На следующее утро — уже стена с сочными мясистыми листьями, мощными стеблями. Он весь день вырубал их топором. Но куда сок попадал — везде ростки проросли. И в щелях забора, и в швах одежды, и на подошве башмаков. И что делать? Покинуть свой дом? Но мудрый филин ему подсказал: высуши сорняк и сотри в порошок. А порошок тот оказался волшебным. Способным оживлять. Правда, Урфин Джюс обернул его силу во зло, с его помощью решил завоевать Изумрудный город и сказочную страну.

Да и можно ли зло обернуть в добро?..

На даче

Я заметила, что когда торчу на грядках с овощами, делаю это с усилием, поглядываю на часы, для меня это утомительно, трудно. А когда занимаюсь цветами, пусть это самые простенькие и неказистые маттиолы, бархатцы, алиссиум, и мужу они могут показаться травой, и он их скосит, как случилось вчера, я начисто забываю о времени, мне ничего не трудно: ни копать, ни полоть, ни поливать. Все в радость. Мне хорошо возле них. Останавливаюсь и стою как вкопанная. Мне очень интересно видеть, как росточек превращается в НЕЧТО. И я, именно я к этому причастна! Жду выходных, спешу увидеть, как изменились мои растения.

Грибы в целлофане

Знакомый рассказывал об иностранцах непостижимые для нас, белорусов, вещи. В саду у немки растет груша, дает хорошие плоды, но немка их не ест! Она их — в ведро и вон! А затем идет покупать груши в супермаркет. Немцы выращивают плодовые растения в своих небольших садах ради красоты. Они едят только покупные, запакованные в целлофан. Не собирают в лесу грибы. Зачем их чистить, мыть, резать, если есть уже готовое, очищенное и даже приготовленное? Они не умеют готовить, даже не знают, как это?

Мы ближе к природе, к первобытному человеку, и я этому рада. Мы настоящие, мы живые. Мы точно выживем!

Мы в большей степени дети природы, и она, значит, нас больше любит.

Не понимаю, как можно грибы — боровички, подосиновики, лисички… покупать?!

Это же неописуемое удовольствие — их собирать. Бродить по лесу и вдруг с замиранием сердца наткнуться на него, красавчика, ахнуть, присесть и замереть, любуясь. А потом аккуратно ножичком подковырнуть — и в корзинку…

По грибы обязательно нужно ездить, лес делает нас лучше, чище, душевнее. Разве понять это тем, кто покупает шампиньоны в супермаркете? Купил и съел.

Рано утром ехать со счастливым лицом, ойкать в лесу от каждого гриба, аукать, теряться, находиться, собираться в дружную кучку, как те опята, которые мы и приехали собирать. Восхвалять лес, открывать знакомых людей заново, обновлять мысли и чувства. Благодарить судьбу за этот день.

Лошицкий парк

И вправду, что может быть прекраснее опадающих лепестков вишни? А еще я убедилась: не люди должны подстраиваться под погоду, а она под них. 1 мая просто создан для пикников. И… для празднования моего Дня рождения. Все небо затянуто тучами и после обеда обещают грозу. Мы рискнули и пошли в Лошицкий парк.

Получилось, как на японском празднике цветения сакуры. На высоком пригорке ставим столик среди цветущих деревьев. Картина нереально красива. Легкое дуновение ветра — и лепестки, словно снежная метель, заметают скатерть, путаются в волосах, на ресницах, белеют в бокалах красного вина, на шашлыке, на губах… Все перемешалось с этим ароматно-душистым снегом. Снегом, который не тает, но тает сердце, глядя на него.

А грозы так и не случилось. Наоборот — солнце сияло вовсю, и даже потеплело…

Долго мы вспоминаем этот чудный день. Закроешь глаза — и снова эта душистая вишневая метель.

А в последний раз в Лошицком парке кружит уже другая метель — из желтых листьев. Проводы последнего воскресенья октября с черными горошинами бузины, и мы слегка бузим после нее.

Вокруг пустынно, только мы одни в огромном парке: нашли солнечно-желтую поляну, усыпанную кленовыми листьями, а дальше оголившийся плодовый сад, и больше нигде никого. Прозрачны деревья, прозрачен воздух, прозрачны наши мысли: как хорошо! Что может быть лучше этих минут?..

А потом стало темно, похолодало. И мы ушли.

Березинский заповедник

Не думала, что можно влюбиться в… болото! Вначале я шла, глядя себе под ноги, то и дело проваливаясь в воду по колено, оглашая воздух досадливыми «Ах!» да «Ох!», а болото насмешливо отзывалось: «Хо-хо!» А когда подняла голову — ахнула. Нет безлико-унылого болота! Его расколдовали! Сдернули невзрачную лягушечью шкуру! Белоснежные пушинки колышутся

в высокой зеленой траве, точно султаны. Пестреют нарядные кочки, сплошь в цветах-«ресничках» спыхивают рубины прошлогодней клюквы. Казалось, сейчас с кочки выпрыгнет царевна-лягушка, а в причудливых корчах-великанах явственно шевельнулся силуэт болотной кикиморы.

Сюда, в Березинский биосферный заповедник, мы приехали строить искусственные гнезда для орлов.

Безо всяких шуток! Орнитологи, зная биологические потребности птиц, сооружают для них гнездовья в определенном месте, учитывая, чтобы это были кормовые территории, с низким уровнем беспокойства, с «правильно» растущим деревом: на открытом пространстве, а то птица гнездо не увидит, и желательно с той стороны, где ветер гнездо не сдует.

Сначала мы строим дом для скопы. Скопы питаются рыбой, поэтому поблизости обязательно должен быть водоем. Второе гнездо — для малого подорлика. Ему подойдет старый увлажненный лес, открытое пространство, где он сможет охотиться. Мы выбрали для него отличное место на самом краю верхового болота, хотя ему в идеале подошел бы луг, но перелет до него в пять-семь километров ему не будет проблемой.

Нам, людям, удалось что-то хорошее сделать для этих величественных птиц. Сделать им маленький подарок.

А может, себе?

Лесное существо

Только один день в заповеднике, и уже непривычно вернуться к людям, в круговорот города. Чувствуешь себя не здешним, а тамошним, лесным существом. Лес еще не отпустил, ты в его плену. Он в твоих ушах, в глазах… А если прошло бы три дня, неделя, год… Станешь вообще не от мира сего.

Начинаешь задумываться: в каком мире тебе лучше? Где деревья шумят или машины?

Папараць-кветка

Как рождается этот цветок? В глухом лесу из куста папоротника вырастает стебель. На нем набухает почка, в полночь раскрываясь, громко лопается. Цветок мерцает, лепестки шевелятся. Но кто-то с хохотом его срывает. Нечистая сила! Кто найдет цветок, завладеет всеми сокровищами, скрытыми под землей, поймет язык деревьев, зверей и птиц, обретет счастье.

Это легенда. Но и правда. Папоротник цветет! Спороношение папоротников и есть цветение. Конечно, по своей «красоте» оно сильно отличается от того сказочно-чудесного.

Но ведь и папоротник, и березы, дубы, клены, гинкго, китайская роза, миндаль, монстера, мандрагора, стапелия, и даже простой подорожник… — все они и есть то чудо, которого можно коснуться.

Пусть никто никогда у нас этого не отнимет!



ОЛЬГА НОРИНА

Постигая цену дню

* * *

Как бывает весело на свете!
В декабре да на закате дня
(Дул хрущевской «оттепели» ветер)
Бог послал родителям меня.

Ласковым прохладным утром росным
Правил август, яблоки храня
И веля срываться с неба звездам…
Папа с мамой нянчили меня.

В голове весенний шалый ветер,
Осень — и богата, и умна —
Золотым пожалует багетом,
Даст зима белил для полотна.

Только папа задержался где-то,
Отстает, прихрамывая, мать…
Паутинки клочья — вызов лету
Это осень бросила опять.

Крыши, стяги, купола, фасады…
И уже запутываюсь в том,
То ли я — хлыстом своих лошадок,
То ли жизнь меня — своим хлыстом.

Встретимся — не боги, не герои,
И не обязательно в раю,
Папе руку правую раскрою,
Маме — руку левую даю.

Папа, ма! Особая примета,
Вы меня узнаете по ней:
Если мне и выпадало лето,
То всего на пару-тройку дней.

Памяти
Сережи Трофимова

А детства золотые крошки
С тобою так легко вернуть…
Мы умирали понарошку,
Играя вечером в войну.

Военных дети безрассудны,
Что им препятствий полоса.
Ты уцелел, Сережка, чудом,
Сорвавшись в части с колеса.

Весной и молодостью пьяны,
Дружны мы были, как родня,
И не досталось нам Афгана,
И обминула нас Чечня.

И годы нас бы не согнули —
Хоть было всякого с лихвой,
А оказалось, смерти пулю
Все время ты носил с собой.

Метель пригладила дорожку,
Которой ты ушел с земли.
Прощай — и нас прости, Сережка,
Что мы тебя не сберегли.

Ко дню писателя

Судьбы крутая колея —
моей и вашей — стала кругом.
Писатель — вы, редактор — я,
а значит, мы нужны друг другу.
Нас опьяняет чистый лист,
кружимся, словно в танце пара.
Писатель — вы, я — журналист,
куда писатель без пиара?!
А если разорвется круг
дел общих — как всегда некстати,
я вас не выпущу из рук —
я ваш читатель.

* * *

В чужих не каялась грехах,
В чужие не встревала споры.
Я не была на Соловках
И я не штурмовала горы.

Иная выпала стезя,
Но ни уюта, ни покоя:
Мне одного любить нельзя,
Второго, видимо, не стоит.

Опять врасплох лавина чувств.
Давно я знаю — жизнь сурова,
Но делать больно не хочу
Ни одному и ни второму.

Под звуки музыки скользя,
Пыль вытру, вымою посуду.
Не сделать выбор мне нельзя,
А делать выбор я не буду.

Прости, Господь, что я грехи
Несу, как офицер медали.
Пусть мне зачтутся мужики,
Что от меня не пострадали.

Ивану Анатольевичу

На этой земле от рожденья до смерти
Так мало, так редко нас гладят по шерсти.
А темп нашей жизни нелепо неистов.
Нас скрутит — и мы попадем к массажисту.
С надеждой на чудо, что руки чужие
Избавят от боли и снимут зажимы.
Пока он трудиться над мышцами будет,
Расскажем ему траекторию судеб…
Ведь он нас — по шерсти. И мы на свободе,
И легкой, летящей походкой уходим.
А он остается, спаситель, который
Несет эту кипу печальных историй.
Рабочему дню массажиста конец.
Куда эту связку разбитых сердец?
За всех, недолюбленных нас на Земле,
Зажгите свечу на массажном столе.

* * *

Талант — проклятия печать.
Взять поэтический хотя бы.
К примеру, жажда повенчать
Не что-нибудь, а розу с жабой.

(Ох, не попался бы на вид,
Когда в своем упорстве редком
Заскачет по полю гибрид
Или заквакает на ветке.)

О поэтический талант!
Твой путь неясен и поныне.
Ты, несомненно, Богом дан,
Но вкупе с дьявольской гордыней.

Поэт способен в суть вещей
Проникнуть. В некоторой мере
Провидец — он других мудрей,
Но, надо же, впадает в ересь.

Любовью выбитый из сил,
Смешав проклятье и молитву,
Он тихой нежности просил
У обоюдоострой бритвы…

* * *

Как жить, когда судьба — отрава
И годы прут на абордаж,
Актерам, пережившим славу,
Спортсменам, вышедшим в тираж.
Красотка бывшая вздыхает
О блекнущей своей красе:
«О Боже, я была такая…
Теперь такая же, как все».
Мы тянемся к высокой ноте,
Глаз отвести от звезд — нет сил,
Но помним их — когда на взлете,
И тех, кто рано уходил.

Сентябрь

Как долго врозь носило нас по свету,
пока мы постигали цену дню.
Еще цеплялось судорожно лето
за колкую упрямую стерню.

Озвучивая солнечные пятна,
перебирали ветры провода…
И что-то обещала нам невнятно
оставшаяся с августа звезда.





ВАЛЕРИЙ ГАПЕЕВ

Автобус

Почти быль

Женщину старухой нельзя было назвать, однако от внимательного взгляда не ускользало, что ей за семьдесят — увядшее морщинистое лицо, седые, совсем белые волосы. Одета она была просто и аккуратно. Так выглядят сельские учительницы-пенсионерки: интеллигентность, которую не стерли годы непростой деревенской жизни, когда надо и ученические тетради проверить, и корову подоить, и ужин для мужа-тракториста приготовить. Так думал Антось об этой худенькой женщине, подходя к автобусу.

Женщина придерживала одной рукой инвалидную коляску, в которой сидел мальчик лет десяти. «Сейчас попросит помощи», — подумал Антось и решил, что ждать этой просьбы не будет — сам предложит.

— Добрый день. Помочь? — остановился он рядом с женщиной.

— И вам добрый, — смутившись, ответила женщина. — Если вас не затруднит, помогите. Сереженька не тяжелый, у нас 12-е и 13-е места… Давайте я сумку вашу подержу.

— Ну, иди ко мне, Сергей, — Антось передал свою небольшую сумку, где лежали диски с рукописями да бутылка минералки, женщине, протянул руки.

Мальчик, во весь рот улыбаясь, подался навстречу.

Салон был почти пуст: парень и девушка сидели в самом конце, дородная женщина со своим спутником — в самом начале. Полная, неуклюжая, она занимала почти два кресла, и мужчина, сидевший с ней рядом, был буквально прижат ее телом к окну.

Антось посадил мальчика в кресло.

— Здесь будешь или у окна?

— У окна… я сам, — весело отозвался мальчик и, не ожидая помощи, перетащил свое тело на другое кресло, потом перебросил дальше свои неподвижные ноги.

Антось вышел из салона, забрал у женщины свою сумку. Закурил.

— Это внучек мой, — словно каясь в каком-то грехе, тихо сказала женщина. — Дочки моей. Родовая травма. Кто там виноват и в чем — Бог им судья. Умным растет, так хорошо рисовать научился… А теперь вот в Минске выставка его картин, в Духовном центре…

Антось промолчал в ответ — нечего было сказать. Женщина тоже замолчала.

Пассажиры постепенно заполняли автобус. Пришел и водитель.

В это время к автобусу стремительно подкатило авто, открылась передняя дверца и невысокий мужчина, с большим животом, одетый в строгий деловой костюм, с галстуком, вылез из машины.

— Подождите! — кивнул он к водителю — просьба больше походила на приказ — и таким же непререкаемым тоном бросил в салон автомобиля: — Заберешь меня в восемь вечера, и чтобы без опозданий.

— Ну что вы, Игнат Вадимович, я только тещу отвезу — и сразу в Минск.

— Смотри у меня…

Водитель автобуса глазами пересчитал пассажиров, глянул в свою бумажку — все совпадало. Автобус тронулся с места.

Антось отбросил спинку кресла назад — там не было пассажира, только женщина сидела по соседству.

— Вам не будет мешать? — спросил Антось.

— Что? — быстро переспросила женщина, в такой степени занятая своими мыслями, что не только по глазам — по лицу было видно, что она чем-то очень обеспокоена: поджатые губы, сморщенный лоб. — А, нет, я здесь буду сидеть, — ответила вдруг со злостью, будто Антось пытался приволокнуться за ней, задавая простой вопрос.

Пожалуй, женщина и была привлекательной прежде, но не теперь — лицо ее исказила застарелая тоска, глаза болезненно блестели. Некрасивое лицо, блеклое. И почему-то даже враждебное.

Антось устроился получше, закрыл глаза. О, как он ждал этой минуты после бессонной ночи! Казалось, вот только закроет глаза — и уснет, провалится в темное, такое желанное забытье. Но не получилось: перед глазами возникла клавиатура компьютера.

Автобус покачивался, останавливался на сфетофорах, дергался. Сон не шел к Антосю, плохо становилось от пляшущих в глазах букв.

«Переработался», — мысленно отметил Антось, поднял спинку, стал смотреть в окно. Автобус, оставив позади городок, помчался по трассе.

Шесть часов, всего шесть часов — и дело будет сделано. Да не одно, а целых два! Два — серьезных и таких нужных… Вот они, здесь — в сумке на двух дисках: его повесть «Разрушение невозведенных храмов» и детектив «Последняя ставка Серого». Детектив — это занятие литературного раба. А повесть — это творчество, его самое значительное произведение на сегодняшний день.

Антось обдумывал, вынашивал свою повесть несколько лет. Она рождалась мучительно, в сомнениях и отчаянии. И записывал ее Антось только тогда, когда словно со стороны кто-то толкал его и требовал: садись, пиши. Были сомнения — одолеет ли, охватывало отчаяние — а нужна ли она комунибудь, кроме автора и редакции? Что он один со своей, пусть себе и высокохудожественной повестью, может сделать, что может переиначить, кого заставить задуматься? Но нельзя не писать, если можешь писать. Это для Антося было правилом, можно сказать, законом. Нельзя изменить мир, разрушая. Надо создавать. Это тоже закон. Высший закон…

И повесть удалась. И сам он чувствовал это, когда перечитывал написанное, и в редакции журнала, куда отдавал отрывок для ознакомления, сказали сразу: «Закончишь — привози».

Только редактор знал о повести. Алена, жена, знала о другом — о детективе, который ее муж пишет за деньги какому-то неизвестному издателю. Этот детектив выйдет совсем под другим именем. Антось получит то, на что рассчитывал: полтора доллара за страницу текста. Он написал 300 страниц — получит 450 долларов. Это были реальные деньги. Их так не хватает… Сколько могут заработать вместе учитель литературы и учительница начальных классов в райцентровской школе, не имея и пяти лет стажа?..

За окном проплывали перелески, поля, плавно покачивался автобус. Дремота постепенно все же овладела телом и разумом, и так приятно было в нее погружаться, отдаваться ее воле. Так хорошо ехать, так спокойно на душе, когда дело сделано, когда последняя ночь над рукописью стала временем удивительного

душевного подъема, когда звучала музыка в душе и она, музыка, подсказывала, что и где исправить в тексте, время от времени стихая или умолкая вовсе.

— Здравствуйте! Александр? Это Валентина. Да, я буду через пять часов. Конечно, флешку с ключами я везу с собой. А скажите, курс остался прежним, да? Хорошо… Да-да, мне именно наличность нужна. Как мы и договаривались. Я понимаю, что 20 тысяч для вас — сумма немалая… Отлично, как только буду в Минске, я вам еще раз позвоню…

Голос женщины за спиной был возбужденным, резким, неприятным. «Черт, из-за этих коммерсантов не поспишь», — недовольно подумал Антось. Поди ж ты: он зарабатывал эти 450 долларов, сочиняя по ночам, недосыпая так, что круги под глазами не сходили неделями, а этой и 20 тысяч долларов — только «сумма немалая»… Сонливость пропала, будто и не было. «Однако ж, ты смотри, как маскируются: такими деньгами ворочать — и на автобусе ездить, да и одета совсем скромно… А впрочем, ну их к черту…» — незлобиво подумал Антось.

Первая остановка.

— Пять минут, не разбегайтесь, — предупредил всех водитель, направляясь к зданию автокассы — небольшой бетонной коробке желто-серого цвета.

Тот самый деловой пузан отошел в сторону, начал звонить кому-то, громко говорил, срываясь на крик. Набирал номера, один за другим, не здороваясь, отрывисто задавал вопросы. И только последний телефонный звонок преобразил толстяка — его словно подменили. Можно подумать, набранный номер был особым кодом перевоплощения. Мужчина заговорил не просто вежливо — льстиво, тихо:

— Николай Степанович? Приветствую вас. Да-да, как договорились, все на месте, с собой, с собой… Нет, ну что вы, какое авто — еду на автобусе, я ж понимаю… Нет-нет, все аккуратно…

Антось мысленно чертыхнулся — ишь ты, и здесь какие-то коммерческие секреты. И неужели этому вот толстяку нужна будет его повесть о духовном возрождении белорусов? Или той женщине, которой 20 тысяч наличными требуются?

…За окном вдруг потемнело — на небо наползала туча. Антось посмотрел вперед — зрелище было впечатляющее: дорога уходила в гору и там сливалась с темно-фиолетовым, разъяренным небом.

Не успели достичь вершины горы, как дождь не просто полил, а сплошной волной накрыл автобус. Водитель сбавил скорость, а пассажиры вжимались в кресла при виде каждой молнии и при каждом ударе грома. Только подъехали к высоковольтной линии, нависшей над шоссе, шарахнуло так, что водитель испуганно нажал на тормоза, автобус завихлял.

И сразу после этого оглушительного удара наступила тишина — дождь прекратился. Небо мгновенно прояснилось. Туча осталась где-то позади, будто была резко ограничена пространством.

— Заикой стать можно, — прозвучал голос девушки. — Да не держи меня так, синяки останутся, — высвободилась она из объятий парня.

Вздохнули с облегчением и остальные пассажиры. Мальчик-инвалид стал снова смотреть в окно. Дородная женщина вытащила из-под ног сумку и принялась разворачивать разные кульки, совала в руки своего соседа хлеб, огурец, помидор и половину куриного бедрышка. Такой же набор оказался и у нее в руках.

— Ешь, не кривляйся! — велела она мужчине, как ребенку, а его лицо не выражало никаких чувств — только покорность в тусклых глазах и привычка со всем соглашаться. Он особо и не прекословил, но, возможно, такое выражение лица подсказывало женщине, что ее муж (ну, ясное дело — муж) не хотел есть.

По-настоящему мучительно исказилось лишь лицо парня, сидевшего напротив Антося, через проход. Последний раскат грома разбудил его, он с надеждой потянулся было к бутылке с пивом, засунутой в сетчатый карман переднего сиденья, достал ее, ощутил порожнюю легкость и со злостью швырнул рядом с собой на сиденье.

Огляделся по сторонам, встретился взглядом с Антосем.

— Когда остановимся? Горит все…

— Минут через тридцать, — подсказал Антось и добавил, чтобы утешить парня: — Там станция большая, буфет есть.

— У-у-у, — простонал парень и, закрыв глаза, откинул голову.

Прошло минут двадцать.

— Что-то никак до Рудаков не доедем, — слегка волнуясь, сама себе сказала бабушка, сидевшая рядом с мальчиком-инвалидом.

Тот неотрывно смотрел в окно и вдруг громко сказал:

— Сейчас нас обгонит белый мерседес, а навстречу будет двигаться синий МАЗ с синим прицепом!

Многие пассажиры от нечего делать повернули головы сначала к мальчику, потом — к окнам.

Мимо автобуса беззвучно проплыл белый мерседес, потом с шумом промелькнул синий МАЗ с большим прицепом.

— Э-е-е, — повернулся к пассажирам худощавый с реденькими волосиками молодой человек, на коленях которого лежал включенный ноутбук. — Мимо этого поворота мы проезжали! Черт… Сейчас справа будет березка со сломанной верхушкой!

Березка мелькнула за окнами.

— Мы же проезжали здесь!

— Что такое? — раздался уверенный голос, которому хотелось подчиниться и ответить на вопрос, хоть ты ничего и не обязан отвечать. — Что за… выкрутасы у нас на трассе?

Это тот самый деловитый толстяк привстал в своем кресле. Он обращался к водителю, но определенно готов был искать виновного и среди пассажиров.

Ему никто не успел ответить, потому что сразу же послышался испуганный крик дебелой тетки, которая недавно старательно обгладывала куриные кости:

— А-а-а!

Она визжала как-то очень тонко, противно было слышать этот писк и видеть, кому он принадлежит. Ответом ей была вопросительная, пронизанная очевидным страхом, тишина в салоне. Не растерялся только самоуверенный пузан:

— Чего вы кричите? Что за причина?

— Курица… Вот… — женщина подняла высоко вверх пакет с половиной жареной курицы.

— И что в ней страшного? — уже грозно переспросил мужчина.

— Так мы ж ее съели! А она — вот… Как и была…

— Что вы городите? Если съели, то откуда ей быть? Может, вы по пять кур берете с собой…

— Я одну брала, — пробормотала женщина. — И мы ее съели пятнадцать минут назад.

Воцарилась растерянная тишина — очевидно, тот, кому была не безразлична эта тетка с ее половиной курицы, старался уяснить, о чем говорит толстуха.

— Водитель! — пузан недолго думая нашел того, кто должен отвечать за все в автобусе, и подался вперед. — По расписанию мы должны уже уезжать из Рудаков. Чего мы ездим взад-вперед!

— А я откуда знаю? — раздраженно ответил водитель. — Вы только сейчас заметили, а я уже трижды один участок проезжаю. Никуда ведь не сворачиваю…

Повисло молчание. Недоуменное, с легким налетом страха.

— Есть! — неожиданно раздался победный крик худощавого с ноутбуком.

— Что есть? — стремительно повернулся деловой мужчина к нему.

— Только что время на мониторе перескочило на десять минут назад. Я смотрю — мы едем там, где были как раз десять минут назад.

— Это как? — слегка оторопел мужчина. — Как это — время прыгает? Что за глупость? Чего ему перескакивать?

— Я думаю, последний удар грома пришелся на линию передач, возникло мощное электромагнитное поле, и мы попали в воронку пространства-времени, которая как раз образовалась. И вертимся в ней…

— Что за сказки… — тоном прокурора начал пузатый, но умолк с открытым ртом. Наверно, потому, что иного объяснения никто и придумать не мог. Некоторое время в салоне все молчали, переваривая услышанное.

— Если бы мы в воронке были, то начали бы разговор с самого начала, — нарушил молчание Антось, которому такое объяснение показалось неправдоподобным. — Чушь какая-то…

— Не обязательно, — возразил ноутбушник. — Поле воздействует на физическую мертвую материю. Вот, время перескочило, курица «воскресла»…

— И бензин уже сколько времени на месте, — поддержал водитель. — И спидометр не двигается…

— Так. Спокойно, надо разобраться! — распорядился деловой человек, хоть никто и не собирался нарушать покой в салоне, и распоряжение это он отдал, вероятно, от собственной растерянности, чтобы успокоиться.

— Это суд Божий! Час наш пробил! — раздался громкий, уверенный голос откуда-то из середины салона, а потом поднялась женщина в пестром платке. — Суд будет, над всеми суд…

— Сядьте, не пугайте людей!

Этот категорический приказ, произнесенный спокойным, властным голосом, отдала женщина лет пятидесяти, одетая в строгий костюм. Она поднялась с места, вышла в проход, и Антось почувствовал некоторое облегчение — фигура женщины, ее лицо излучали уверенность и покой.

— От того, что мы будем кричать и пугать друг друга, лучше никому не станет, — строго произнесла женщина. — Говорю вам это как врач. Молодой человек, что вы говорили о закольцованном поле?

— Я уже говорил… Думаю, пространство-время вокруг нас свернулось в кольцо. Мы возвращаемся каким-то образом назад. И мобильники не работают, мой так точно…

— И что будет дальше?

— Не знаю… Что-то должно произойти… Как-то кончиться…

Волнение в салоне немного улеглось. Пока никакой угрозы не было. Но каждая дорога рано или поздно кончается — в этом был уверен каждый пассажир. За одним действием или явлением следуют другие, у последствий бывают причины, а последствия становятся источником новых причин. И в том, что цепочка времени прервалась, никто пока не видел особой угрозы.

Но прошло полчаса, и однообразие картин за окнами стало угнетать.

— А мы не опоздаем в Минск? Мы приедем вовремя? — обратилась к Антосю нервозная женщина сзади. В ее голосе звучал нескрываемый страх.

«Ишь, волнуется из-за денег», — подумал он, а вслух ответил:

— Надеюсь, приедем. Мне сегодня тоже опаздывать нельзя. И обязательно надо приехать…

И вдруг шальная мысль пронзила мозг: а если им предстоит вот так ехать и ехать, долго, бесконечно — и никогда не приехать? Антось внимательно смотрел на пассажиров и видел, что такие же сомнения постепенно овладевали всеми остальными, потому что лица мрачнели, явственно проступало беспокойство.

Надо было попытаться что-то сделать… все равно что…

— Все ничего, однако стоит подумать и о нашей физиологии, — заговорил деловой мужчина, и чувствовалось, что этого голоса ждут все, ждут просто любого уверенного голоса и какого-то действия — салон сразу оживился.

— Вы про «девочки налево, мальчики — направо»? — осторожно пошутил кто-то.

— И об этом тоже, — серьезно заметил мужчина. — Я предлагаю прямо сейчас остановиться. Открыть дверь, выйти…

Несмотря на то, что в этих словах не было ничего необычного, многие пассажиры едва ли не одновременно повернулись к окнам. Там было то же небо, и солнце то же… А вот все остальное? Твердая ли земля? Можно ли дышать воздухом? И хоть сомнения казались смехотворными, однако же они были. Почему бы воздуху не сделаться стеклянным и застывшим, если само время свернулось кольцом?

— Но останавливаться постепенно! Очень осторожно, — предупредил мужчина с ноутбуком. — Мы не знаем, какая там физика поля…

— А что может случиться? — тревожно спросил кто-то.

— Не знаю, — честно признался молодой человек. — Мы попали в колесо времени и движемся… Может, мы здесь только потому, что двигаемся…

— Ну, тогда я буду притормаживать потихоньку, — принял решение водитель.

Автобус замедлял ход плавно, почти незаметно. Все медленнее и медленнее двигались мимо автобуса придорожные кусты.

— Светится! Стенка прозрачная! — раздался удивленный крик мальчика-инвалида.

Восклицания, которые мгновенно заполнили салон после этого крика, полнились разом и ужасом, и удивлением, и восторгом.

И было от чего: сквозь стенки автобуса, его пол стала видна серая лента бегущей дороги.

— Газуй! Скорость давай! — закричал мужчина в костюме водителю, а тот уже и сам жал на газ, и мотор взвыл, рванул вперед автобус.

— Господи, что ж это будет, Господи, спаси, останови это, — бормотала позади Антося нервная женщина.

Несколько минут прошло в полной растерянности от известия, что автобусу нельзя останавливаться. Антось почувствовал, как сознание съежилось от страха — делалось дурно при мысли, что автобусу никогда не остановиться. Он стал смотреть в окно, будто там можно было увидеть подсказку.

— Что-то мы быстрей ехать стали, — заметил Антось вслух, поскольку за окном кусты и деревья мелькали очень уж быстро. — Испугали водителя…

— Испугаешься тут, — откликнулся водитель со своего места, — когда под собой дорогу увидишь… Кстати, я дорогу видел сквозь самого себя… Кто-нибудь еще это заметил?

— Я тоже прозрачным начал было делаться, — подал голос мальчик-инвалид. — У меня нога заболела, гляжу — а сквозь нее видится кресло, а сквозь кресло — дорога...

— Как нога заболела, внучек? — испуганно вскрикнула его бабушка. — У тебя ж ножки парализованы, не могут они болеть…

— Болела, — настойчиво ответил мальчик. — И теперь болит…

Бабушка молча прикрыла рот рукой и смотрела на ноги внука, не сводя глаз.

— А в самом деле, почему мы быстрей едем?

— Да нет же, — нервно отозвался водитель. — Те же девяносто на спидометре…

Заговорил молодой человек с ноутбуком, волнуясь, будто сам был виноват в том, что происходило:

— Время перехода меняется… ну, раньше через каждые десять минут мы возвращались в исходную точку. А теперь… через семь… И только что — уже через шесть…

— И при чем тут движение автобуса? — заинтересовался кто-то, не понимая.

— Ну, мы же проезжаем определенное расстояние от той точки… до края кольца. За определенное время. Теперь время сократилось, а расстояние то же…

— Так мы вскоре пролетать дорогу будем, — делано хохотнул водитель, но сразу же сделался серьезным: — Если время возвращения сокращается неумолимо, что будет, когда оно достигнет нуля?

— Не знаю, — пожал плечами молодой человек. — Для нас время остановится. Но мы двигаемся… Значит, для наблюдателя со стороны приобретем световую скорость…

— Что-то ты очень уж по-ученому… С нами что будет?

— Так… Откуда же мне знать? Теоретически физическое тело не может иметь такую скорость… Только поле…

— Станем полем? Что это значит? Что с нами станет? — истеричная напористость делового мужчины в строгом костюме была неожиданной для молодого человека, он испуганно вжался в кресло.

— Не знаю…

— Мы что, не вернемся? — отчаянно вскрикнула нервная женщина позади Антося, и сам он почувствовал противный холодок страха, заполняющий живот.

— Чему вас только учат!..

— Не кричите на него, — вдруг встала с места женщина в костюме, назвавшаяся врачом. Снова она стояла посреди салона. — Мы уже приехали…

— Куда приехали? Что значит — уже приехали? — нервничал мужчина, который, это было очевидно, чувствовал себя в западне и не видел выхода.

— Вы разве не поняли? — женщина повернулась к нему, потом окинула взглядом людей в салоне. — Никто не понял или не хочет понимать?

— А что здесь понимать? Время искривлено, поле какое-то… Где тут разберешься, — буркнул кто-то.

— А то мы должны понять… — врач выдержала паузу, ожидая полной тишины, хотя и так все замерли.

— Что понять? — умоляюще воскликнула женщина за спиной Антося, тоже поднимаясь со своего места. — Мне сегодня надо попасть в Минск! Надо, ясно? И я ничего больше не хочу понимать. Что я должна еще знать? — сорвалась она на крик.

— То, что мы — там! — женщина показала рукой назад. — Мы там, остались на дороге, — сказала она спокойно, но неумолимо, так, как может говорить только врач. — Тот удар молнии убил нас всех. Мы — мертвые! И мы не можем туда вернуться, не можем остановиться. Нас уже нет.

— Что-что? — затряс головой деловой мужчина.

— То! Вот вам ад и рай — вот такие они. Мы — в мире мертвых. И нам всем без конца ехать. И везти бесконечно свои мечты, мысли, свою боль, свои

разочарования, свои надежды. Мы не постареем, не умрем уже, дважды не умирают. Мы здесь — вечные. И вечными будут те чувства, с которыми мы сели в автобус.

— Чушь! — выкрикнул мужчина. — Мы — есть, какие же мы мертвые?

— Существуем не мы, а наше сознание. Оно помнит образы и создает их, — спокойно ответила женщина. — Уже сколько времени едем — кто-нибудь захотел пить? Кому-нибудь стало плохо? Наша физическая оболочка — выдумка мозга…

— Какая такая выдумка?!

— Самая обыкновенная, — устало отмахнулась женщина. — Пощупайте у себя пульс, приложите руку к сердцу… там ничего не бьется…

После этих слов наступила, пожалуй, самая страшная минута. Каждый мог проверить на себе…

— Короче, склифосовские, там станция скоро? — вдруг с раздражением спросил парень, у которого окончилось пиво. — Меня жажда мучит, а вы здесь о поле о каком-то… Водитель, остановись, блин, мне до ветру надо…

Кто-то нервно хихикнул. И это было единственным ответом парню.

— Баб, а я на ноги встать могу!

Этот радостный крик мальчика-инвалида встряхнул салон. На него оглянулись — мальчик и правда стоял между кресел, слегка пригнувшись. Его бабушка рядом беззвучно плакала, гладила обеими руками его ноги.

И те, кто не верил, — поверили. Поняли. Осознали. Хоть, ужаснувшись словам врача, так и не приложили ладони к своей груди, чтобы проверить, бьется ли сердце.

— Так нельзя… невозможно… Нет, я не могу умереть! Я не могу! Не могу!

Истеричная женщина с некрасивым худым лицом била сумочкой себя по коленям и кричала.

— Мы все не можем умереть! — заметил Антось. — И я не могу. Не могу, потому что не сделал, не доделал, не смог, не успел, — отчаяние прорвалось в его голосе. — И жена осталась…

Женщина впилась в его лицо взглядом, глаза ее, глубоко запавшие, в темном полукружии теней, налились слезами.

— У меня… У меня умирает доченька. Немецкая клиника согласилась прооперировать. Два месяца мы собирали деньги. Двадцать пять тысяч долларов лежат в моем электронном кошельке. Я еду, чтобы вывести их. И не смогла, я не смогла…

— Так… кто-нибудь выведет, — попытался успокоить женщину Антось.

— Не сможет! Никто не сможет! — женщина опять била сумочкой себя по коленям. — Никто, кроме меня, не знает пароля. Ключи от кошельков вот, в сумочке, на флешке… Боже, за что ж ты так караешь мою донечку! Она ж не виновата ни в чем!..

— А… муж? — осторожно спросила женщина-врач.

— Сбежал… Сбежал наш папочка, как только диагноз поставили… Я не могу, мужчины, ну придумайте же что-нибудь! Мне нельзя забирать с собой эти деньги! Я же убиваю дочку. Ей же только семь лет, Боже! Ты слышишь или нет? Где тот твой свет, где ворота и Петр?

— Успокойтесь, — мягко, но настойчиво сказала женщина-врач.

— Не успокаивайте меня! — истерично закричала женщина, в отчаянии вскочила и оказалась возле мужчины с ноутбуком.

— Ну выйдите, выйдите в Сеть, напишем письмо, я назову пароли, передам ключи!

Мужчина вздрогнул, сжался, будто ждал удара, и ответил:

— Я могу выйти в Сеть… Но… мне ничего не удается передать. Я пишу… а данные не передаются… Как будто нас нет…

— Нас и нет. Нас нет для мира живых, — категорично повторила свой вывод женщина-врач. — А мир мертвых не может сноситься с миром живых.

— Ы-ы-ы, — вдруг завыла толстая женщина, с ненавистью повернувшись к своему соседу, которого недавно кормила курицей. — Из-за тебя! Недотепа! Вонючка! Ты даже машину не сподобился купить! Не смог научиться водить! Из-за тебя! Жизнь свою загубила, а что я видела? Хорек смердючий! Двадцать пять лет тебе отдала, а что видела? У-у-у, трутень-кровосос!

— Из-за меня? — вдруг весело воскликнул мужчина. — Ты когда-нибудь считала меня человеком, не говоря уж о мужчине? Ты со своей мамой превратила меня в слугу — и ты хотела от меня чего-то, достойного человека?

— Вот и прожил возле моей юбки! Хоть это меня утешает!

— Ты никогда не отличалась умом, — с усмешкой продолжал мужчина. — Думаешь, если ты не видела во мне человека и мужчину, то и никто не видел?

— Что-о-о? — в растерянности округлила глаза толстуха.

— То. Все эти годы у меня была женщина. Не просто женщина — семья! Она родила мне сына, и он уже вырос. И фамилию он взял мою. И мы были счастливы.

Толстуха хватала ртом воздух, пытаясь что-то сказать. Но мужчина не стал ждать, пока она сможет выдавить из себя хоть слово, встал и потребовал:

— Пропусти! Хоть и умерли мы вместе, но после смерти я с тобой не хочу оставаться!

И она медленно, словно во сне, поднялась, уступила. Он вышел и пересел на свободное место в последнем ряду.

— Эх, люди… И мертвым нет покоя, — тихо промолвила врач.

— А вы не чересчур ли спокойны? — с вызовом спросил Антось.

— Все нормально, — тихо ответила женщина. — Я благодарю Бога, что два дня назад мама умерла у меня на руках и я ее похоронила. Дочь замужем, сын заканчивает университет. Муж — человек самостоятельный… Жаль, конечно, что они будут горевать… А так… я делала свои дела так, словно была готова умереть в любой день, — горько усмехнулась женщина.

— Ага, слава Богу… — скептически хмыкнул Антось. — Теперь достоверно известно о милых сказках…

— У тебя не бьется сердце, — тихо проговорила девушка, которая сидела рядом с парнем, положив ему голову на грудь.

Парень ласково гладил ее по плечам, смотрел за окно, где бешено крутилась серо-зеленая рябь.

— Ну и прекрасно, оно не заболит, мне не станет плохо, я не умру от сердечного приступа, — улыбнулся парень. — У тебя тоже не бьется — а ты меня любишь, как и любила, правда?

— Правда, — подняла голову девушка, усмехнулась. — Значит, любовь не в сердце, а в душе? Вот ведь как — мы теперь не люди, а души, да? Мы теперь можем целоваться — и будем целоваться вечно…

— Ага, — обрадовался парень. — Начнем?

Антось не выдержал — отчаяние душило его. Это невозможно! Ему надо выжить, ему надо вернуться туда, хоть на минутку, хоть на миг! Он должен сказать Алене, что у него в компьютере в особой зашифрованной папке под названием «Разное» лежит его повесть — повесть его жизни. Он должен назвать ей пароль! Он должен передать детектив заказчику, получить деньги

и отдать их жене, он должен попросить прощения за то, что не сумел сделать ее счастливой…

Антось вскочил и бросился к мужчине с ноутбуком. У него почти не было надежды, путались мысли, но казалось: подойди он ближе к технике — и что-то появится, какой-то выход найдется. Вопреки ожиданиям, Антось все шел и шел, а потом, присев рядом с мужчиной, заметил, что его кресло на целый метр удалено от кресла программиста.

— Не понимаю… — начал было Антось, показывая глазами на кресло. — Что произошло?

— Ничего особенного, я думаю, — охотно ответил худощавый. — Мы уже развили достаточно большую скорость относительно неподвижного наблюдателя. Так что мы приобретаем для него форму точки. А для нас внутри эта точка означает бесконечность. Наш автобус с каждой минутой будет становиться все больше и больше. И превратится, наконец, во вселенную. Бесконечную.

Антось сглотнул ком в горле.

— Слушай… Может, есть возможность что-то сделать? У меня… рукопись… Не могу я ее с собой забрать. Она там нужна…

— Не могу, — отрицательно покачал головой парень. — Я правду сказал — отсюда мы ничего не передадим. Сейчас время сжалось уже до трех минут…

За окнами салона почти ничего нельзя было разглядеть — сплошная серо-зеленая мгла.

Послышались шаги сзади. Антось обернулся — к ним шла женщина с некрасивым худым лицом. Она шла долго — салон стал похож на полупустой кинозал с четырьмя рядами кресел.

— Я не могу здесь остаться! — сказала женщина, и Антось понял, что если ей сказать что-то банальное, начнется истерика.

— Я тоже не могу, — ответил он искренне. — Никак не могу. Как и вы…

Женщина будто ждала такого ответа именно от Антося, сделала несколько шагов вперед (хоть раньше это было совсем рядом), встала возле водителя.

— Остановитесь и откройте дверь. Я выйду!

Салон замер. Женщина-врач тоже прошла вперед, встала рядом с ними.

— Какой смысл? Вы что, не поняли, что остановка — это наше полное исчезновение? Вы не видели разве, как мы растворяемся?

— Так чего мне бояться? Чего? — закричала женшина с худым лицом. — Ведь я — мертвая! Как можно бояться еще одной смерти?! Остановите! Водитель! Мне все равно. Если есть возможность сделать хоть шаг куда-нибудь — я обязана его сделать. Я не могу умирать просто так!

— Он не будет останавливаться! — категорически запротестовала врач. — У нас у всех — одна судьба. И примите свою как положено — как свой крест, и несите его.

— Если смерть вот такая, то моей доченьке, как мне, как нам всем, не ехать в автобусе, ей целую вечность, бесконечно, страдать от боли, лежа под капельницей! За что же ей такая смерть? Бог наш — милосердный или палач бессердечный? Чего вы его рисовали человеколюбивым?.. Пустите меня! Водитель! Откройте дверь! Я выскочу на ходу, если вы так боитесь! Я буду бить окна! Остановитесь!

— Разобьетесь! — донеслось из салона, и женщина нервно засмеялась над такими словами:

— Мертвый боится разбиться! Водитель! Останавливайтесь!

— Дура, чем ты можешь помочь живому, если сама мертвая! Что это даст?

— Водитель! Не останавливайтесь! Неизвестно, что может случиться!

— Она свихнулась, а нам потом отдувайся из-за нее!

— Водитель! Притормозите, перед тем как начнет светиться обшивка автобуса! — только по ему одному известной причине решительно распорядился Антось неожиданно для самого себя… — Потом опять поедете. Откройте дверь. Мы прыгнем вдвоем…

Водитель ничего не ответил, только посмотрел издали — со своего места — на Антося и женщину, переключил рычаг. Зеленая муть за окном постепенно превращалась в неровные пятна.

Антось внимательно следил за полом. Когда сквозь него стало угадываться шоссе, он сказал:

— Открывайте дверь…

— Меня подождите! — послышалось откуда-то сзади. Антось оглянулся — в глубине салона, уже совсем далеко от них, с места встал мальчик-инвалид.

— Куда же ты, внучек? — с болью спросила бабушка.

— Баб, так здесь же я могу на своих ногах! — весело и убедительно заговорил мальчик. — Ну, так отпусти меня побегать — я же никогда не бегал…

— Беги, внучек, — бабушка встала, пропустила мальчика и перекрестила его. — Беги, мой родной, — и упала в кресло, а слезы катились из ее глаз, хоть старуха улыбалась.

Мальчик добежал до Антося и женщины, которые уже стояли у открытой двери. Наверно, время еще больше сжалось, потому что ничего нельзя было разглядеть, только ощущалась огромная скорость автобуса. Сразу за порогом словно возникала стена — закаменелая, о которую непременно разобьешься.

Ужас охватил Антося.

— Стойте, идиоты! — откуда-то издалека закричал деловой мужчина. — Еще несколько минут терпения — и мы точно будем знать правду! Там же — неминуемая гибель! Вы просто исчезнете, как исчезал автобус! Время вернется на ноль — и мы вернемся назад! Я вам точно говорю! Как вы этого не понимаете? Остановитесь!

Антось заколебался. Те же сомнения он увидел на лице женщины. Но потом его взгляд остановился на мальчике — и Антось решительно взял его за руку, вторую протянул женщине:

— Давайте прыгнем вместе. Не бойтесь, боли никакой быть не должно. Дважды не умирают… Ну, на счет три: один, два, три!..

Из сообщений СМИ:

«**Молния попала в автобус. Трагедия произошла на трассе в 11.25. Мощный разряд ударил в пассажирский автобус. Свидетели видели, как транспорт охватило голубое пламя, потом автобус на большой скорости опрокинулся в кювет и трижды перевернулся. Из 18 пассажиров и водителя в живых осталось только трое: мужчина, женщина и мальчик десяти лет, которых по необъяснимой причине выбросило из салона. Они были найдены неподалеку от места происшествия. Теперь потерпевшие находятся в реанимации. По словам врачей, у них тяжелое, но стабильное состояние**».

Перевод с белорусского Ирины КОЧЕТКОВОЙ.



ЛЕОНИД МАТЮХИН

Сердце — всему голова

* * *

За шестьдесят — и не линяю,
Столпом на месте не стою:
Одной ногою — догоняю,
Другой — скольжу и отстаю.
Старею, правда, но не очень:
Певец пространств, туманов, эх,
На мир гляжу, как Аристотель:
То сверху — вниз, то снизу — вверх.

Старость

А намедни я — мужчина:
С Цезарем самим сразился!
Р-раз — и лопнула пружина, —
На кусочки развалился!

Вне игры.
Торчу реликтом.
Похвалиться даже нечем —
На скамейке запасных ты,
Как привинченный навечно.

Резкость сгладила лояльность.
Бег на месте (нынче в моде!).
Как пальто не по погоде —
Ты, моя принципиальность.

* * *

Еще не выплаканы слезы,
Еще у юности на вахте
И пахло снегом, и морозом,
И огурцами вкусно пахло.

Пусть где-то так, а не иначе,
Пусть где-то косо, где-то криво,

Но я влюблен —
                    и это значит:
Весь мир
          у ног моих —
                         счастливый!

* * *

Время велело — быть.
Века прожектор — свет.
Был мне указ ходить
Вольно, не ползать — нет.

Горы! Везут как дрова.
Зек. Охранник. «Мент».
Стройка… Всему голова —
Цемент.

Лом. Перфоратор. Груб
Стали А-5 рубец.
Песенка свай, труб.
Лютой жары свинец.

Камень. Скалы скелет.
Клин вышибает клин.

Здравствуй, ущелий бред!
Здравствуй, рычащий Нарын!

* * *

И я залег подлодкою на дно.
Да — ущемлен. Но вовсе не раздавлен!
Еще весна откроет настежь ставни
И выпьется с кислинкою вино;
Еще хорей не дремлет. Не забыт
Тот день, когда за дерзкое карали;
Еще мой лев характера не спит —
Сопит, рычит и лапой угрожает;
Плевать — что в настроении дыра,
Что не всегда вершины покоряю!
. . . .
Подметные лишь письма ноября
Я — видит Бог — со дна не прочитаю.

Ноктюрн

Давай-ка поищем следы примиренья,
Потом друг у друга попросим прощенья

И вспомним с улыбкой, что нас окрылило:
Что звонко, что нежно, что любо, что мило.

Давай что в нас хрупко и тонко — не тронем
И в звуках ноктюрна желанно утонем,

Озвучим глаза наши, губы и руки,
Озвучим сердца… даже шорохи, стуки;

Озвучим пространства, потом — светотени,
Потом — шорох дождика, ветра, сирени…

А то, что в нас было, как в каменоломнях,
Давай заштрихуем, забудем, не вспомним.

* * *

Ах, проза вечера!
                    Казалось,
Вся высь, как маятник, качалась,
И по тропе легко шагалось,
И так старались соловьи!

И даль — вся в пурпуре — горела,
И близь — в березах вся — кипела,
И женщина за речкой пела
О неизбывном — о любви.

* * *

Первый снег с небес упал:
Это я его позвал!

Бело-розовый, смешной —
Неожиданный такой!

Пахнет сонью, синью, снами
И родными небесами…

Глянул — в рощице моей
Царство белых соболей!

Городок — и тут он нужен
Ямам, пням, асфальту, лужам,

Подворотням хмурым, крышам…
Первый снег — я небо слышу!



ДЕНИСЛАВ НИЧИПОРОВИЧ

Белорусочка

Рассказ

В том году зима была на удивление морозной и снежной. Крупные звери: туры, зубры, лоси подались на прокорм в другие места, и племя лесовиков просто-таки отощало на мелких зверьках и птицах.

Мужчины племени на рассветах и закатах падали на колени перед высоким дубовым идолом с плоским почерневшим лицом и просили смилостивиться, прогнать это белое холодное нашествие. Однако суровое лицо божка ни разу не дрогнуло и оставалось отчужденно-строгим. Но как-то раз, перед наступлением темноты, сквозь густую хвою елей и сосен пробился ярко-красный луч солнца, осветил на мгновенье деревянный лик идола, и люди заметили на нем еле заметную дружелюбную улыбку.

Ночью им стало жарко и душно в глубоких землянках, они сбросили с себя звериные шкуры и, почувствовав облегчение, спали до утра. Когда же в лесу рассвело, поняли, что их божество не зря вчера вечером улыбнулось — оно смилостивилось над ними. Изгнание снега происходило так быстро, что через несколько дней от него уже ничего не осталось.

Вместе с природой ожили и люди. Мужчины заостренными палками били рыбу в лесных озерках, охотились на крупных зверей, которые вернулись в свои угодья, брали мед в роящихся бортях и по давнему обычаю добычу делили на всех. За этим внимательно следил Тур, вождь их общины: жестокий одноглазый силач, скорый на расправу. Лесовики считали его самым смелым, мудрым, для воинов он был начальником, а для многих юношей и девушек — отцом.

Когда лес зашумел молодой листвой, когда зазеленела трава и распустились цветы, Тур позвал к деревянному столбу-идолу семь самых храбрых юношей, внимательно окинул их цепким холодным глазом. Взгляд его остановился на широком в плечах, с тонким станом юноше с длинными, рассыпанными по спине волнистыми русыми волосами по имени Лось.

Имена давались в то время не просто так, в них отражались свойственные воину качества того или иного зверя. Вожак Тур получил прозвище за силу, жестокость и бесстрашие. Лось — за поступок на охоте: когда мужчины выследили молодого лося и окружили его, чтобы убить копьями с острыми наконечниками, он, изловчившись, схватил зверя за рога и удерживал его.

Тур, поигрывая увесистой, отполированной руками палкой, ходил перед ними, обдумывая, послать ли Лося в дальнюю дорогу, чтобы отыскать там, на западе, где прячется вечером солнце, богатое селение с красивыми женщинами, где погиб его отец. Тур хотел отомстить за его смерть. Смущало же его предстоящее нападение на небольшое, но стойкое племя хлеборобов, где боевые качества Лося также пригодились бы. Но горячая отцовская кровь

победила, он послал Лося на разведку и наказал возвратиться, когда их божество снова прогонит снега и станет так же тепло, как сейчас…

С детства исхоженные места Лось прошел легко — в охотничьи угодья его племени никто не отважился бы зайти, но когда миновал их, стал внимательным и осторожным. На него могли напасть звери, могло захватить в плен вражеское племя, он мог попасть в волчью яму. Ел он разную лесную мелочь, которую удавалось поймать, пил воду из родников и росу с трав, ночью спал на деревьях под ужасный рев диких зверей.

По пути то и дело встречались буреломы, завалы, иногда лес прерывался лугами с высокими травами и цветами, переходить которые было особенно опасно — в кустах и траве мог прятаться кто угодно. Так же опасно было переплывать речки и озера — неизвестно что ждет уставшего пловца на другом берегу. Но он упрямо, держась заданного Туром направления, продвигался вперед. Отправился он весною и в середине лета все еще шел под грозами и ливнями. Но что ему, закаленному, стойкому воину! Вперед, только вперед!

Однажды погожим летним днем лес расступился и в низине перед глазами Лося предстало удивительное, окруженное высоченным забором из заостренных бревен селение со строениями на поверхности земли и людьми, одетыми не так, как он — в одной шкуре вокруг бедер, — а в чем-то светлом, длинном, покрывающем тело сверху донизу.

Но самым удивительным было то, что на лугу, где речка делала перед селением поворот, пасла коровы напевая, красивая девушка в белой льняной одежде. Лось так и уставился на нее — в его душе впервые встрепенулось какое-то нежное чувство. До певуньи было далековато, но его чуткое ухо ясно слышало ее задушевно-мелодический и одновременно задумчиво-печальный голос с волнующими переливами, который вызвал в нем неведомое ранее переживание.

Неожиданно светлые юношеские грезы прервал треск: кто-то тяжелый и сильный пробирался сквозь лесную чащу. Лось затаился, крепко сжал в руке кусок заостренного лосиного рога. Парень, наконец, заметил виновника тревоги: недалеко от него, на краю леса, стоял на задних лапах большой бурый медведь и, наставив уши, смотрел, куда привел его острый нюх. Наконец, увидев коров, он распалился, грозно рыкнул и развалисто пустился к жертвам.

Девушка, заметив его, закричала.

Юноша рванулся наперерез медведю, издав боевой, грозно-заливистый крик: «Гла-а-а!..»

Медведь, увидев человека, бросился на него, но тот ловко отпрыгнул в сторону. Сбитый с толку зверь выпрямился во весь рост, поднял передние когтистые лапы и пошел на него. Парень подпрыгнул к хищнику и изо всех сил ударил его острым лосиным рогом в сердце. Медведь успел схватить смельчака в объятья, разъяренно давил и рвал его тело, но быстро ослаб — рана оказалась смертельной.

После схватки с медведем юноша долго болел — зверь хорошо-таки его помял, — но наконец к нему понемногу начали возвращаться силы, и вместе с тем оживал в душе ласковый певучий голос…

Однажды солнечным утром пение особенно растрогало его, глаза парня открылись, и он увидел перед собою пастушку.

Радость была взаимной: у девушки оттого, что ее спаситель жив, у него — оттого, что она рядом.

Какое-то время они долго изучающе смотрели друг на друга. Ему нравились ее светлые, с золотинкой волосы, ее руки, лицо с приподнятым носиком,

ее искристые васильково-голубые глаза; она же не могла наглядеться на его мужественное худое лицо, на его улыбчивые губы.

Селяне, как только прибежали на отчаянный крик девушки и увидели окровавленного юношу, сразу поняли, что он из того дикого племени, которое однажды напало на них, многих осиротило, в том числе и ее, и боясь беды, хотели тут же убить его, но девушка заступилась.

В селении были и горячие головы, и рассудительные. И те, и другие жалели сироту и были благодарны ей за то, что она пасла их животных, за честность и за песни — всем было приятно, когда с пастбища доносился ее чудесный голос: он был для них своеобразным знаком, что у них все в порядке. Поэтому они смирились и с присутствием чужака.

Ему же было непросто привыкать к новой жизни, к новой речи, но здесь была она — красавица-певунья.

Они часто бродили вдвоем по лесу, веселились, собирали ягоды и передавали их друг другу из уст в уста. Как-то она сплела васильковый венок, надела его на голову, подставила лицо солнцу, легла в траву, раскинув руки, и закрыла глаза…

Когда листья на деревьях порыжели, пожелтели и покраснели, Лось возвратился в свое племя и сказал Туру, что селение-то он нашел, но от него осталась только выжженная земля и черные головешки пепелища. Вскоре на землю опять легло белое печальное покрывало. Лесовики, полуголодные, спрятались в свои землянки, а когда совсем отощали, снова стали молить идола согнать снега.

На этот раз божество подарило им затяжную оттепель. Молодые воины племени решили пойти, в расчете на задуху, на большое лесное озеро и наловить рыбы. Задуха действительно была, и рыба сама, раскрыв рот, поднималась к поверхности озера. Ребята подползали по шаткому льду к душникам, хватали руками рыбу и бросали ее на берег.

Вдруг Лось провалился в воду и исчез в ее черной глубине. Растерянные друзья, испуганно всматриваясь в страшную полынью, кричали, звали, но напрасно. Потрясенные, пошли они в стойбище сообщить соплеменникам печальное известие…

В это время Лось, проплыв подо льдом, в прибрежных кустах незаметно вышел из воды и долго бежал по слякоти в сторону селения певуньи…

Там его ждала неожиданность — певунья родила ему хорошенькую дочку. Посмотрев на нее, Лось заметил:

— Белая!

— Русая! — поправила мать.

— Бе-елая!

Мать нашлась:

— Бело-русочка!

Оба радостно засмеялись…

Перевод с белорусского Елены ХАЦКЕЛЬ.



ЕВГЕНИЙ КОРШУКОВ

Прописка памяти в душе

Семейная реликвия

Его храним мы много лет,
К нему не потеряем интереса:
Простой кусочек рваного железа
Принес отец с войны, как амулет.

Тот час сражений так уже далек!
Отцовская судьба —
Не божья ли награда?
Осколок от немецкого снаряда
Едва не угодил ему в висок…

Сны

Может быть, и удивят кого-то
Эти непридуманные сны:
До сих пор ты снишься мне, пехота
Самых первых, страшных дней войны.
По шоссе, что с деревенькой рядом,
Шли и шли усталые бойцы.
Провожал я их печальным взглядом,
Словно все они — мои отцы.
Сердце мое горестно сжималось…
Не случайно память ворошу…
К тем израненным солдатам жалость
И сегодня я в душе ношу.

Май 45-го

Военный май… Все ближе к лету.
Уже цветет колхозный сад.
А мы — бежим: и стар, и млад,
Бежим на митинг к сельсовету.

Там речь торжественно звучала…
Но помнятся три слова мне:

— Товарищи! Конец войне…
Был день всех мирных дней начало.

Вера

Всю жизнь свою от «А» до «Я» измерил:
Не избежал я горестных потерь…
Я так в страну свою большую верил,
Да нет ее, большой страны, теперь.

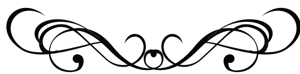
В беде был стоек, не стенал, не охал.
За правду и сегодня поборюсь.
Сурова и жестока к нам эпоха,
Но я, как прежде, верю в Беларусь!

Край отчий

Край отчий, бесконечно близкий,
Дарил жизнь не однажды мне…
Вдоль всей границы — обелиски,
Напоминанье о войне.

А рядом, в поле, жито… Жито!
Не молкнет пенье птиц над ним.
Как скорбно! Пулями прошитый,
Погиб боец здесь молодым.

Его здесь вечная прописка,
И первый, и последний бой…
Я у родного обелиска
Стою с поникшей головой.



Из когорты неприкаянных

Писатель всегда честен. Он говорит то, что ему хочется, он полностью выкладывается, да только одно дело, когда выкладывается личность заурядная, и совсем другое, когда разрывается на части человек глубоко единичный.

Подобных всегда было немного. К ним тянулись, их слушали, им устраивали головомойку и на бытовом, и чуть ли не на мировом уровне. Неприкаянные странники, заполошные мудрецы, они проводили жизнь в созерцании, тихой молитве или в кромешных разгулах. Жизнь для них была ценна, непознаваема и загадочна.

Некоторые из этих людей были поэтами. Были такие человеки и в белорусской литературе.

Один из них — Микола Купреев.

Интересно было бы взглянуть на его трудовую книжку. Наверняка нет такого района в Брестской области, где бы он не работал хоть пару месяцев или дней. Долго усидеть на одном месте было невозможно — звала к себе природа. Не только окружающая, но и своя собственная, личная. Даже в стихах он куда-то постоянно уходит. Куда? К себе, видимо.

У гэтай краіне не маю я дому.
Вось воблака — сяду і ў свет палячу, —

писал другой неприкаянный поэт, друг Миколы Купреева.

Для полесского странника Дом был недостижим. Он искал его везде, стремился к нему, но всюду рано или поздно оказывался отверженным, чужим. Это влекло его дальше и дальше от людей, пока не привело в хатку возле Беловежской пущи, где он чувствовал себя лучше, где можно было писать.

Трудно даже сказать, чем была для Купреева литература. Прежде всего, конечно, сильной привязанностью. Но высказавшись, вывернув себя наизнанку, он чувствовал себя опустошенным. В ходе «заполнения пустот» рукописи с произнесенным, сокровенным нередко терялись.

Слава Богу, не все. Некоторые вещи были опубликованы доброжелателями и почитателями купреевского таланта (самого автора, надо сказать, судьба собственных литературных произведений не всегда интересовала).

Вот и этой весной, когда Купреев отмечал бы свое 75-летие, если б не лежал уже восемь лет в сырой полесской земле, нашлись забытые рукописи. В Ганцевичский краеведческий музей их передал сын поэта Андрей. Пользуясь случаем, выскажем ему и научному сотруднику музея Виталию Герасимене благодарность за возможность напечатать несколько доселе неизвестных текстов Купреева на страницах журнала «Нёман».

К слову, именно в «Нёмане», а точнее — в «Советской Отчизне», были напечатаны первые произведения Купреева-прозаика. Примерно к этому же времени, пятидесятым годам прошлого века, относятся новооткрытые рукописи. Начинал Микола Купреев писать прозу именно на русском языке.

Было бы неразумно ждать от рассказов, помещаемых ниже, фантастических открытий, прозрений и т. д. Но поклонников купреевского таланта, несомненно, заинтересуют самые первые шаги будущего мастера.

Тихон ЧЕРНЯКЕВИЧ



МИКОЛА КУПРЕЕВ

Новеллы

Мы уезжаем завтра

Девушки праздновали свой день. Летают, как первые весенние ласточки, легкие, в невесомых шелках. А мы — дежурим у институтского входа. Сегодня мы — их покорные слуги. Услышишь стук каблучков на ступеньках — откроешь дверь, раскланяешься, а она и бровью не поведет.

Я дежурю с Сашей Боровским. Наше время — с девятнадцати до двадцати. Идя на смену, мы завернули в буфет и выпили по кружке пива. За столиком, сдувая с края кружки пену, Саша говорил мне:

— Вот посмотришь, ты сегодня влюбишься. На всю жизнь. Во-первых, весна. Во-вторых, целый час дежурства у входа. У входа! Да тут, черт возьми, за этот час можно в двадцать девушек влюбиться! Девятнадцать ты успеешь разлюбить. А в одну — на всю жизнь!

Я хохотал. Мне почему-то было очень смешно. Может, потому, что все это Саша сказал очень серьезно, без малейшей улыбки.

Он мне нравился, Саша. Я любил его. Любил за то, что тонкий остряк, за то, что держит первое место в городе по фехтованию, за то, что хороший товарищ, за то, что мог доказать декану свою правоту, и за то, что день и ночь мог читать наизусть Блока.

— Хорошо, — сказал я, когда мы выходили из буфета, — постараюсь влюбиться.

— Чудак! Стараться не надо. Не смей стараться! Ты влюбишься незаметно. Я по тебе вижу. Ты готов. Ты готов, чтоб влюбиться сегодня, как все люди до тебя.

— Почему готов? Почему — сегодня?

— А ты посмотри на себя. Ты ждешь ее. Твои глаза ее ждут.

Ничего этого я не знал. Я знал лишь то, что недавно мне минуло двадцать лет. И знал еще то, что иногда мне хочется разбежаться, сильно оттолкнуться от земли и прыгнуть под самое солнце, хлопнуть его по боку и крикнуть: «Это — я». Больше я ничего не знал. Вечер Восьмого марта — будут идти и идти девушки. Знай это. Знай, что ты должен сегодня влюбиться. Что? Ах глупый, глупый! И все мы глупые. Ах, какие мы все глупые! Влюбляться! Это что — приказ? Влюбляться! Это что — роковая необходимость? На всю жизнь... Хорошее, очень хорошее, прямо-таки замечательное это рижское пиво.

— Ну, нам пора, — сказал Боровский.

Пора? Куда пора? Ах да! Пора дежурить у входа. Пора в кого-то сегодня влюбиться. Ясно. Ну, что ж...

— Идем.

В распахнутую дверь, с улицы, вместе с девушками, шел бражный запах нашей ранней весны. Потом начался первый, тихий и теплый, мартовский дождик...

Все это было пять лет назад. Уже три года я, после института, работаю учителем на небольшой железнодорожной станции Лесная. Тут у нас, возле опрятного белого зданьица вокзала, — чистенький молодой скверик. Ряды густых, подстриженных кустов зеленеют лучами от центра, веером. В мае, в июне, до того последнего дня, когда приходит время собираться в отпуск, мы часто вечером приходим сюда с Ниной и подолгу сидим на той скамеечке, что подальше от дорожек, от перрона. Нам здесь хорошо. И мы только вдвоем: я и она. Опускалось солнце за белые, в вишневых садах, домики станционного поселка. Сады розовели в последних лучах. Мы молча смотрели на закат.

Вдруг с севера или с юга налетал паровоз. Еле слышно дрожала земля. Дрожала долго и как-то загадочно, до тех пор, пока стук колес не затихал вдали.

Через нашу станцию шли поезда на Москву и Брест. Как везде на маленьких станциях, они задерживались здесь всего на три минуты.

Однажды в воскресенье, пополудни, мы встретились с Ниной на перроне. Не успели войти в скверик, как на станцию прилетел и остановился пассажирский поезд. Люди, стоявшие на первом пути, с чемоданами, сетками, портфелями хлынули к вагонам. Нам было интересно смотреть, как они шумно лезут на подножки, как едущие приникли в вагонах к окнам и что-то говорят друг другу, показывая рукой в сторону вокзала, скверика или просто на кого-нибудь из стоявших на перроне.

— Пойдем, — сказала Нина, — пойдем.

Я удерживал ее:

— Секунду. Только одну секунду.

— Не хочу. Я сейчас подумала, что завтра нам тоже надо будет ехать. В разные стороны. Не хочу. Пойдем.

Поезд тронулся.

Я видел, как Саша Боровский отошел от вагонного окна. Рядом с ним была ТА — в темно-синем платье. Последнее, что я увидел, — ее светлые волосы, уложенные венчиком на затылке.

— Леня, что? Ты кого-то увидел?

Нет, я просто так. Пойдем.

Но до нашей скамеечки я снова вспомнил тот вечер. Вспомнил, чтоб больше никогда не вспоминать. Мне незачем, по крайней мере, вспоминать его. Те светлые капельки дождя на тех ресницах...

Да, тогда пошел первый, тихий и теплый, мартовский дождь. В распахнутую дверь, с улицы, вместе с девушками, шел бражный запах ранней весны. Мы стояли с Сашей у входа, и я помнил, что мне нужно сегодня влюбиться. И я ждал.

Ждал, и мне становилось страшно.

Шли девушки — гости, работницы камвольного комбината. Тут-то и пришла ОНА. Она явилась в прозрачном светло-голубом платье. Из-под накидки выглядывали крутые кольца очень светлых волос. С кончиков темных ресниц свисали маленькие капельки дождя, росинки.

— С праздником! — это сказал Боровский, когда она миновала меня и поравнялась с ним.

— Спасибо. Вас тоже, — ответила она и улыбнулась, метнув в сторону Боровского взгляд синих глаз.

Она ждала, когда все девушки — их было пять-шесть — войдут в вестибюль. Боровский уже что-то объяснял ей — как пройти в гардероб, в актовый зал. Я стоял в стороне. Я знал, что это — ОНА. Я видел, как она отложила на плечи накидку, открыв светлую волну волос, как вытирала платочком ресницы. Я смотрел на нее сбоку и знал, что это — ОНА. Я понял, что я влюбляюсь, и поэтому не мог глянуть на нее прямо.

Наше дежурство кончалось. Как раз подошли двое парней — смена. Боровский повел девушек к гардеробу. Я шел сзади и думал, что же мне делать дальше. «Пригласить на танец», — решил я. Девушки разделись и, постояв у большого зеркала в коридоре, поднялись наверх. Боровский шел по-прежнему впереди, почти рядом с ней и все что-то объяснял. Я шел сзади. Вот — мы в актовом зале. Духовой оркестр играл «Дунайские волны». Девушки сели в углу на стулья.

Мы с Боровским стояли чуть в стороне и ждали, когда кончится танец и начнется другой. Другим и было это достопамятное «За два сольди». Боровский повернулся на мгновение раньше меня и направился к девушкам, к тому месту, где сидела она. От волнения я не смог своевременно остановиться и шел за ним. Боровский почувствовал за спиной мои шаги и остановился. Понимающе улыбаясь, он сказал:

— А-а, ну, иди, иди.

И я пошел. Пригласил. Танцуем. «Извините», — это я наступил слегка ей на ногу. «Пожалуйста», — очень вежливо ответила она. «А, хорошо, — сказал я сам себе. — Что ж еще сказать?» И я молчал. Потому что знал: это — ОНА. Я старался танцевать так хорошо и легко, как еще никогда не танцевал. Она это, наверно, понимала и иногда коротко улыбалась. Танец кончился уж как-то очень скоро. Я вел ее на место нарочно медленно — будто чувствовал, что касаюсь ее руки последний раз.

— Спасибо, — прошептал я. Она весело посмотрела на меня:

— Пожалуйста.

И села.

Потом с ней танцевали девушки или Боровский, Боровский или девушки. Я сидел в противоположном углу зала и исподлобья наблюдал за ней. Когда я понял, что вечер приближается к концу, спустился вниз, оделся и стал ждать. Увидел я их тогда, как почувствовал на себе чей-то взгляд: Боровский шел рядом с ней к выходу, и в его взгляде на меня я прочел: прости.

Я не мог сойти с места. Все шли и шли мимо меня. На улицу я, наверно, последним вышел. Дождя уже не было, и в лицо мне по-настоящему дохнуло весной. Я поднял голову выше и бодро зашагал в общежитие.

Но всю ночь и весь следующий день я думал: ОНА или не ОНА? И только к ночи другого дня, когда узнал, что Боровский вернулся тогда очень поздно, я решил: нет, это не ОНА.

И по-прежнему дружил с Боровским, и он мне по-прежнему нравился. О ней он мне почти ничего никогда не рассказывал. Рита — единственное, что я знал о ней.

Через полгода они поженились, а еще через месяц Боровский перешел на заочное отделение, и они уехали. Больше я их никогда не видел.

— Сядем, — сказал я Нине. — Я расскажу тебе сказку. Да, да, сказку.

— Не надо сказок.

— Ну, тогда быль. Хочешь быль?

— О чем?

— Как я встретил тебя.

Нина улыбнулась.

— Вспомним? Как это было.

— Никак это не было, — ответила Нина, краснея. — Просто я тебя увидела впервые в учительской и подумала: какой длинноногий.

— А я о тебе: глазастая. Ты тогда тихонько сидела в углу на диване.

— Потом я о тебе подумала: новый учитель.

— А я потом о тебе вообще ничего не подумал.

— Ну, а потом? — спросила Нина.

— А потом, через полгода, я тебе, как школьник, написал записку: люблю.

— А потом?

— Да что потом! Подумаем, что сейчас: завтра уезжаем. А мне так не хочется никуда уезжать. Или нет — давай лучше так сделаем: в Крым. Или куда? На Кавказ? Или все-таки в Крым?

На дальних дорогах

По обеим сторонам дороги, на такой же скорости, как поезд, летели назад две стены темно-зеленого сибирского леса. Железная дорога навсегда рассекла надвое этот лесной океан. Стройные сосны, убегая назад, тоскливо и в то же время степенно глядят на такие же сосны по ту сторону дороги. И те и другие летят и летят назад. «Если стать на последнюю подножку вагона, — думал Виктор, глядя за окно, — и, ухватившись за поручни, посмотреть далеко назад или вперед, все равно, то увидишь, обе части леса сходятся вдали. — Вагон мягко покачивает. Потом он еще подумал: — Точно как люди, когда смотришь на них издали, или когда не то подумаешь».

Потом он ни о чем не думал. Когда едешь очень далеко, едешь пять, шесть, десять суток, старайся меньше думать. Делай, как делает большинство командировочных: спи сколько нужно; позавтракав, не забудь посмотреть, который час, — чтоб знать, во сколько обедать; пожалуй, стоит почитать свежую газетку, просмотреть «Огонёк» — в нем ты, миновав зареченских гусей Прокофьева, найдешь очередной фельетон Карбовской и интересный кроссворд; потом, наверно, пора и с соседом перекинуться словом-другим о положении в Алжире, выслушай глубокомысленный вывод соседа, сделай свое не менее глубокомысленное заключение и...

— Товарищи пассажиры! Поезд прибывает на станцию Таежная.

И действительно, обе стены леса стали медленно отступать подальше от дороги, и вдруг, совсем одинокий, за окном мелькнул домик с надписью «Кипяток». Затем, все тише и тише, пошли назад разные станционные построечки. Позади них — тесовые крыши поселка. Виктор встал, набросил на плечи пиджак.

— Стоянка поезда двадцать минут.

«Хорошо, — сказал про себя Виктор. — Сколько ж можно ехать взаперти. И пообедаем здесь. И местную фауну обозрим. Отлично». Ему стало веселее. Перед ним, тоже к выходу, шла какая-то тетушка, очень толстая, — по проходу шла боком — и говорила:

— А то ж некая Таежная. Летось ехала к сыну в Ригу — никакой Таежной не было. Пожила у сына годик, вынянчила внука — и вот тебе уже Таежная.

Она оглянулась назад: как отнеслись к ее словам? Увидела над собой загорелое молодое лицо и улыбнулась. Виктор тоже улыбнулся.

Он помог тетушке сползти на перрон и побежал в вокзал.

Вокзал был деревянный, в резьбе. Стены внутри пахли сосной, и все внутри казалось очень приветливым. Дверь в буфет распахнута настежь.

Виктор сел за столик и раскрыл меню. Надо спешить, и он быстро схватывал глазами фиолетовые строчки.

— Что вам?

Мгновенная мысль мелькнула в голове у Виктора почти непроизвольно: та, кто это сказала, очень молоденькая и нежная девушка — такой молоденький и нежный голосок у спросившей. Виктор поднял глаза. Перед ним стояла девушка в белом передничке и с узорчатым бумажным белым полумесяцем на темных, как ночью тайга, волосах. Раскосые по-монгольски глаза занимали, кажется, большую часть ее полненького смуглого лица, и все оно светилось ими. Белый передничек плотно облегал маленькую четкую фигурку.

— Что вам? — повторила она.

Виктор опомнился, тут же спохватился:

— Щи, блинчики и кружку пива!

Отошла она почти невесомо. Остановилась у кухонного окна, складки темно-зеленого платья сделали резкий полукруг у ног и тоже остановились.

Когда она ставила перед ним тарелку щей, он разглядел на ее тонких, обнаженных до локтей руках золотистые волоски. Он даже подумал: какие золотистые и маленькие. Никогда у девушек он этого не видел. Руки ушли. Его глаза пошли за ними. Он видел, как она на ходу мизинцем правой руки сделала движение — будто позвала: иди, иди за мной. Это было сверх всего! Виктор положил на стол ложку и негромко окликнул ее:

— Девушка!

Она остановилась.

— Я вас прошу: принесите блинчики.

Улыбнувшись, она кивнула головой и вскоре принесла ему блинчики. Снова эти маленькие, тонкие ручки. И снова — они ушли. Но он не дал им уйти далеко. Только девушка ступила два-три шага, он снова, на этот раз тише, окликнул:

— Девушка.

Он, наверно, показался ей очень странным, и она, остановившись, почему-то испуганно оглянулась вокруг.

— Девушка, — позвал он совсем тихо.

Она подошла к его столику, но не очень близко.

— Я вас прошу: принесите пиво.

Она принесла и поставила кружку вспененного пива, поставила перед неначатой тарелкой щей, нет — даже перед блинчиками. И все это теперь стояло в ряд, ничто не тронутое.

— Сядьте, — сказал он.

— Но ведь я вас совсем не знаю, — ответила девушка и слегка улыбнулась.

Он неотрывно смотрел не нее. Она еще немного молча постояла, подумала и осторожно присела на краешек стула.

— Но ведь я вас совсем не знаю, — тихо, глядя вниз, себе на колени, повторила она.

— Я вас прошу: скажите свое имя.

В ее больших темных глазах — смешливая искринка.

— Вы едете этим поездом? Да? Торопитесь. Уже скоро отправление... А звать меня... — И тихо сказала: — Зачем вам знать мое имя?.. — Помолчав, спросила: — Куда вы едете?

— В Хабаровск.

— Ой-ой! — Она быстро встала. — Вам еще так далеко ехать. Торопитесь! Вот-вот отправление. — И добавила, будто ни к чему: — Ваш поезд идет далеко. — В ее глазах появилось веселая хитринка. — И вы будете обедать еще не на одной станции.

Ах, если бы он ехал просто так! Он бы — черт с ним! — опоздал на поезд! Он бы, может, навсегда остался здесь, в этой милой Таежной! Он был бы отличным лесорубом!

— До свиданья.

— До свиданья... Прощайте. Ой-ой, смотрите — поезд трогается!

Он вскочил, быстро — была не была! — пальцами коснулся ее руки ниже локтя и выбежал из буфета.

Ухватившись на ходу за поручни, он прыгнул на подножку и оглянулся. Девушка стояла в дверях вокзала, в белом передничке, с белым полумесяцем на темных волосах, и два раза легонько махнула ему рукой. «Из вежливости?» — подумал он. Белый передничек уплыл назад, а потом совсем исчез, растаял.

И когда стена леса снова почти вплотную подошла к дороге, он поднялся в тамбур и вошел в вагон.

...Через два месяца он ехал обратно. Был конец августа. Края леса кое-где золотились березами. Несмотря на то, что поезд шел с большой скоростью, Виктору казалось, что идет он слишком медленно. Виктор злился. А то вдруг, как ребенок, улыбался.

Наконец-то:

— Поезд прибывает не станцию Таежная! Стоянка поезда пять минут.

— Почему так? — ни у кого спросил Виктор. Но его услышал сосед-железнодорожник и принялся объяснять:

— Когда едешь на восток, то прогон между Таежной и предыдущей станцией очень небольшой. Поэтому паровоз стоит на Таежной двадцать минут — чтоб заправиться углем и водой. Ну, а когда едешь на запад, то на Таежную паровоз является уже заправленный. Вот так.

— Плохо — так, — сказал Виктор. — Очень плохо! Вот вы, как железнодорожник...

— Я начальник дистанции.

— Тем лучше. Как начальник дистанции вы должны были убедить министерство, что все-таки полезней... не только полезно, а просто необходимо всем поездам заправляться на Таежной. Только на Таежной!

Железнодорожник рассмеялся.

— Почему же?

Виктор не ответил.

Поезд замедлял ход. Виктор приготовился. Он был уже в тамбуре. Поезд остановился. На соседнем пути стоял встречный поезд на восток.

Она не видела его. А если бы увидела — узнала бы? Виктор стоял в дверях буфета и смотрел на нее. Она, та самая девочка с большими раскосыми глазами, с обнаженными до локтей руками, та самая — в белом передничке и с узорчатым бумажным белым полумесяцем не темных волосах, — стояла у того самого столика, за которым тогда сидел Виктор, и спрашивала звонким голоском:

— Что вам еще?

Белокурый паренек лет восемнадцати смущенно молчал.

— Ой-ой, гражданин, торопитесь! Поезд уже скоро отправляется. Вот, уже свистит! Ой, это не ваш!

«Мой», — подумал Виктор. Он повернулся к выходу. Он слышал, как паренек, наконец, сказал:

— Мне еще котлету и стакан...

Когда Виктор догонял вагон, ему почему-то взбрело в голову: «Второй стакан киселя попросил…»

Минут через десять, выкурив в тамбуре сигарету и направившись в вагон, он сказал сам себе:

— Прощай, Таежная.

А ночью — он спал на средней полке — к нему приходила девушка с раскосыми по-монгольски глазами, в белом передничке, с узорчатым бумажным белым полумесяцем на темных как ночь волосах и говорила звонким голоском:

— Что вам еще нужно?.. Ой-ой, гражданин, поторопитесь встать, а то проедете Таежную. Ой-ой, проедете. Проснитесь. Ой-ой, вы никогда больше не увидите Таежной!

Он проснулся, открыл глаза и с тоской обнаружил, что никого в вагоне, кроме спящих пассажиров, нет. Снова уснуть он не мог. Вспомнил белокурого паренька в буфете, и ему стало не по себе. Полежав с полчаса с закрытыми глазами, он встал, оделся и долго стоял у окна, глядя в заоконную густую ночь...





ТАТЬЯНА САПАЧ

Легчайшие узоры с кружевами

Адам Глобус

Короткое лето окончится
осенью серой.
О, море печали!
Тут каждому место свое.
И в гнездах, и в норах,
и в тесных конурках квартир
не нужно ничто никому,
кроме уединенья.
И — высшее чудо! —
покинутый остров кофейни,
где скрипкою правит
с безликим лицом музыкант, —
не нужно ему ничего
кроме уединенья…
А скрипка сзывает на остров
пустую толпу.

Ошмянка

Мы плыли на лодке с тобой
своенравной речушкой,
где только березки махали нам с берега вслед…
они — как свидетели
неги и нежности нашей,
веселая стража
коротких счастливых минут.
Но ель почерневшая
среди берез промелькнула —
напомнила нам
настоящие наши лета.
И лес впереди,
существует там заговор тайный,
там кто-то незримый
тебя у меня заберет.

* * *

Боже, когда Ты меня защитишь от печалей?
Боже, когда Ты услышишь молитвы мои?
Там, за стеною —
полотнищ и факелов вихри,
там, за стеною — печалью охваченный свет…
Мне б тех изменчивых ветров глоток —
и зажить до кончины,
мне б только вырвать гадюку любви
из груди…
Боже, когда Ты меня защитишь от печалей?
Боже, когда Ты услышишь молитвы мои?
Боже, когда Ты услышишь молитвы мои,
я в тот же миг в Тебя, Господи, веру утрачу.

Зимнее стихотворение о любви

Когда опять метелица завоет,
и вновь споткнется в чистом поле ветер,
и почернеет все на белом свете,
и я услышу в дверь негромкий стук…
Постойте! Будет все иначе —
прежде
я плотно окна в комнате закрою,
на семь замков запру я дверь тугую,
свет потушу и выключу приемник,
и, подойдя, прижмусь к горячей печке —
а уж потом метелица завоет,
и я услышу этот тихий стук…
Там будет старый друг мой позабытый,
усталый, обмороженный, голодный, —
как мотылек, на огонек летевший
и в дверь с семью замками постучавший,
начнет печальной свечкой догорать.
И Боже мой, какой чудесный будет вечер! —
то стук, то стон нарушит тишину,
и завершит мелодию о вечном,
и нас с тобой швырнет в любовный хаос
и в беспредельность человечьих мук!..

Лето

Раскололось солнце
на тысячу белых осколков,
и, как порванный парус, ветер
завис средь березовых веток,
и горячий асфальт торопливо
отпечатки следов собирает…

это — лето,
и вы повторяйте: лето.
Пока я вас люблю,
только это недолго, — лето…
Сны похожи слегка на слова,
что звучали вчера.
Впрочем, каждому сну
кроме лета с его летаргией
так нужны повторенья
и чуть-чуть измененная роль.
Только все это было
так давно, что давно позабылось,
день вчерашний забылся,
забудется завтрашний день,
и опять будет: «…солнце
на тысячу белых осколков»…
Это лето,
И вы повторяйте: Лето…

Одиночество

О, эта ночь!.. Устали изменяться
глаза слепые вечных светофоров.
И затихают шорохи безумных
в огонь летящих бабочек ночных,
и властный над дорогой поводырь
издерганного странника-бедняги
искомкает со смехом сожаленья
рушник, что руки их соединял…
О, эта ночь! И замирает шепот
влюбленных, утомленных и счастливых,
и просыпается, и с ними сон гостит.
И мне теперь спешить резона нету —
подсчитаны вчера потери ловов,
и меч еще от крови не просох,
и, значит, можно жить теперь спокойно.
До времени! Но день настанет новый,
и тот, кто был слепым, тот зрячим станет,
и будет наш бедняга властелином…
А только мне закрыты все пути,
и уж давно закрыты все пути —
там
кто-то есть,
и я его боюсь.

* * *

Придет декабрь, и однажды утром
я ничего на свете не узнаю:
исчезнет день, и белый свет, и дом —

я и себя, наверно, не узнаю…
Я обернусь и зеркало увижу,
замечу, что на нем живет паук;
он день и ночь безбожно выплетает
легчайшие узоры с кружевами
на чьем-то лике нежном и прозрачном,
знакомом, так… — и, может быть, моим…
Но я его лишу такого права
менять и портить столь чудесный облик,
и я прижму художника к портрету,
точнее, к раме, старой и сырой.
А что потом? —
о том декабрь знает,
что снегом белит мой печальный дом
и паука на зеркале рисует,
что день и ночь безбожно выплетает
легчайшие узоры с кружевами
на чьем-то лике нежном и прозрачном,
знакомом мне… — и, может быть, моим…

Перевод с белорусского Геннадия АВЛАСЕНКО.





Исповедь влюбленного в «круг» и «квадрат»

Ежегодный литературный сборник «Братэрства» в 1982 году объявил конкурс на лучший перевод стихотворения Ф. Тютчева «Весенняя гроза» на белорусский язык. Я рискнул поучаствовать, и мой первый в жизни перевод оказался в числе победителей. Воодушевленный признанием, я принял участие и в последующем конкурсе на лучший перевод стихотворения М. Лермонтова «Парус», и тоже успешно. С тех пор я перевел на родной язык стихи 40 русских классиков и ведущих современных поэтов России, которые вошли в мои поэтические сборники «Слиток» (1997 г.) и «Росинки белорусских слов» (2008 г.).

В прошлом году я поступил наоборот: стал переводить с белорусского на русский. Новое хобби так захватило меня, что я за короткий срок воссоздал по-русски более сотни стихотворений белорусских классиков и талантливых поэтов современности, лучшие из которых составили антологию одного стихотворения 100 белорусских поэтов XX и начала XXI века под названием «Птица свободы». Эта книга недавно вышла в издательстве «Кнігазбор».

Я руководствуюсь высказыванием одного европейского мастера о художественном переводе стихотворения: «Это наложенный на круг квадрат, в котором всегда что-то лишнее и чего-то не хватает». Стараюсь переводить так, чтобы до микроскопического минимума свести присутствие в «квадрате» лишнего (попросту — отсебятины) и максимально адекватно передать дух оригинала.

П. Бровка захватывает меня эпическим размахом отображения героической истории Беларуси (поэма «Беларусь»), воспеванием мужественных сыновей и дочерей нашего народа в лучших стихах, ясностью и доверительной пронзительностью лирических строк о любви.

Много общего вижу у друзей-земляков Алексея Пысина и Степана Гаврусева. Их стихи притягивают родниковой свежестью и чистотой, неповторимой натуральной речевой стихией, духовной обаятельностью и душевной окрыленностью. Глубина мудрой мысли у них льется из души и сердца. Мне по душе их классическая поэтика, ибо мне тоже чужды заумно-ребусные опусы без рифмы, ритма, заглавных букв и знаков препинания…

Петр МАКАРЕВИЧ



Петрусь БРОВКА

Как лист дубовый…

Не страшен мне ни вой злорадный,
Ни снежный вихрь, ни ветра свист.
За жизнь я ухватился жадно,
Словно за ветвь дубовый лист.

Он, меднобронзовый и дюжий,
Средь мрачной осени горит.
Трясут его ветра и стужи,
А он одно в ответ — звенит.

Когда зимой метель играет
И злобно щерится мороз,
Он, как ладонью, прикрывает
Родную ветку, где возрос.

В житейских бурях закаленный,
Когда цветет и даль, и близь,
Он перед листиком зеленым
Тихонечко слетает вниз.

Журавли

Надо мною летят журавли,
Кличи давние, кличи знакомые…
Ну куда крылья вас понесли?..
Остаюсь, опечаленный, дома я.

Улетаете часто чего?
Мои волосы вы заморозили.
Уйму лет и тепла моего
Унесли вы за горы и бросили.

За морями и скалами вновь
Солнце ждет вас. О чем вам заботиться?..
А вот годы из дальних краев
Никогда уж ко мне не воротятся.

Пахнет чабёр…

Вечеру этому век не забыться…
Солнце за лесом жар-птицей садится,
Песнь напевает нежную бор,
Пахнет чабёр,
Пахнет чабёр…

Легкая поступь по узкой тропинке —
Девушка в белой искристой косынке,
Будто лучами осыпана зорь.
Пахнет чабёр…
Пахнет чабёр…

Выйти б навстречу и не разлучаться,
Вот оно — близкое, светлое счастье,
Мне бы окликнуть ее на весь бор…
Пахнет чабёр,
Пахнет чабёр…

Сердце одиннадцать лет иль двенадцать
Горько щемит, что не смог повстречаться,
Сердце и душу тревожит укор.
Пахнет чабёр,
Пахнет чабёр…

Скрылось то время за дальней горою.
Только лишь в грезах она предо мною…
Выйду. Зову. Безответный простор.
Пахнет чабёр,
Пахнет чабёр…

Алексей ПЫСИН



* * *

Мы дымим маршанскою махоркой,
Видим мы Днепровскую гряду.
Скоро грянет бой. На том пригорке
Я, возможно, тоже упаду.

Будут травы над курганом. Будут
В небесах курлыкать журавли.
Нас, наверно, в мире не забудут,
Вспомнят, как мы по земле прошли.

…Я гляжу на древние курганы,
Мурашей и трав зеленый шелк.
Знайте, люди: коль меня не станет —
Я в свою дивизию ушел.

* * *

Пять патронов есть в обойме,
Пять патронов.
Время подниматься в бой нам
В поле ровном.

А в патроне каждом — пуля,
Девять граммов.
Ты не жди, моя матуля,
Телеграммы.

Ни с санбата полевого,
Ни с погоста.
Ходит тихо (ведь дорога!..)
Наша почта.

Целый месяц в белом свете,
Если сгину,
Будет весть плестись в конверте,
Словно мина.

Целый месяц будешь верить,
Что живу я,
Скажешь яблоням и вербам:
Он воюет…

Баллада о ночлеге

Недолог привал. Недолог ночлег.
Под нами снег, над нами снег.

Ворота скрипят иль наши следы?
Дорогой единой туда иди,

Где будем портянки в тепле сушить
И спать до утра. До старости жить.

Налево зима. Направо зима.
Ни дома, ни печки, — метельная тьма.

Граната в руке, и патрон в стволе.
Что еще надо нам на земле?

Стрелковая рота сопку взяла.
…Под нами земля. Над нами земля.

Бойцам не снятся пантеоны

На обелисках — только даты,
Фамилий многих не найти.
Да, неизвестные солдаты
Умолкли в вечном забытьи.

Бойцам не снятся пантеоны,
Одной заботой каждый жил:
Чтоб рос-крепчал посев зеленый,
Чтоб град колосья не побил.

Степан ГАВРУСЕВ



* * *

Ромашковый мальчик, ты в джунглевых травах по шею
С утра безмятежно порхаешь в цветах мотыльком.
Пред каждой живою букашкою ты хорошеешь,
Следишь со вниманьем за басом гудящим шмелем.

Попробовав меда, глядишь, как сердитые осы
Пикируют дружно на душный приземистый сад.
А жалят как жгуче! Но будут еще бомбовозы,
Что рокотом черным отцовский качнут палисад.

Доверчивый мальчик, ты тихим заходишься плачем
И мажешь на щеках потеки слезы как смолы.
Навалится горе, сверкнет оно жалом горячим
Горластых орудий, похожи на сосны стволы.

Цветы почернеют, услышишь планеты дрожанье.
В раскачанном мире — неистовый топот коня.
Сквозь пепельный дым, лошадиное дикое ржанье,
Чрез луг опаленный мне видится бег пацана.

Бежит он и в снах, весь холодный от липкого пота,
До тех родников, что все братскою кровью кипят.
Рубашка — как парус. Была же кому-то охота
В нее бессердечно мальчишку того одевать.

А где-то под ветром колышутся рослые пальмы,
Слоны ищут тень среди пламенных дней и ночей.
А может, и там, под огнем беспощадным напалма,
Вмиг пеплом рассыплются яблоки спелых очей?

Гимн жизни

Сосны надо мной из серебра,
Синева. И солнце ярко плещет.
Чувствую — вот и пришла пора
Распрямить по-богатырски плечи.

Прошлое — быльем не поросло,
Не смогло до капли расплескаться.
Месяца скривленное чело
Оттенит лицо христопродавца.

Вкрадчивые шелесты осин —
Сребреников звон мне в уши следом.
Сколько раз продажный сукин сын
Предавал за гран кленовой меди?

Не потушишь памяти костер,
Споры с невозвратными годами.
Свой раскинув бронзовый шатер,
Дуб грозит бессонно желудями.

Валится мне в душу камнеград,
Но хочу сказать совсем не то я:
Даже средь предательств и утрат
Все равно житье-то
золотое.

* * *

А может, там сладчайший берег,
Где сонно катится река,
Где сквозь туман прохладно-белый
Сияет бархат лозняка?

А может, там, в безбрежьи поля,
Где даль светлеет? Может, там,
Где настоящее раздолье
И половодьям, и плотам?

А может, там, где повороты
Путь сокращают? Может, там,
Где открываются ворота
И виадукам, и мостам?

А может, там, где и спросонья
Со мною шепчутся листы,
А может, там, где светит солнце?
А может, ты? Конечно, ты!

На свете есть такие выси,
Куда не каждому взойти.
Коль появился, улыбнись же
И все душой озолоти!

Перевод с белорусского Петра МАКАРЕВИЧА.





Чертог грузинской словесности — XXI

«Вавилонское столпотворение в миниатюре» — так можно охарактеризовать современный литературный процесс в Грузии. Но прежде чем говорить непосредственно о творчестве, начну с главной новости: изгнанники, скитальцы и поэты с недели на неделю вернутся, наконец, в свой отремонтированный старинный особняк в исторической части Тбилиси — Сололаки. Речь идет о головном офисе Союза писателей Грузии, судьба которого, как и его законных насельников, как нельзя лучше соответствует поговорке «без вины виноватые».

Как сказала в одной из наших бесед председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили, приватизационные аппетиты Министерства экономики Грузии несколько лет назад добрались до завещанного в вечное пользование писателям особняка. Позади годы судов, и скоро у нас новоселье. 7 мая 2010 года, в международный День поэзии, власти решили возвратить в лоно словесности Грузии особняк Союза писателей.

— Отрадно, что Союз писателей Грузии, преодолев самые трудные годы в своей 80-летней истории, вступает в новый, плодотворный этап деятельности, который будет наполнен интересными и уже осуществляемыми замыслами, — подчеркнула Маквала Гонашвили.

Одно из последних крупных начинаний СП Грузии — это конкурс молодых (до 30 лет) пишущих на родных языках поэтов Закавказья, проведенный в честь 150-летия великого Важа Пшавела Союзом писателей при поддержке и содействии тбилисской мэрии. По итогам конкурса был выпущен поэтический сборник «Молодые поэты Закавказья», а главные награды разделили Алик Али оглы и Гисмат из Азербайджана, Ника Черкезишвили и Бека Ахалая из Грузии и — единолично — Ашот Габриелян из Армении. Еще 10 авторов из трех стран получили поощрительные премии. Примечательно, что из каждой страны заявки на участие в тбилисском конкурсе подали более ста поэтов (!).

А теперь обратимся к рассказу о современной русскоязычной литературе и панораме русскоязычной литературной жизни Тбилиси начала III тысячелетия. Как замечает в разделе «Грузия» автор справочника «Русская литература сегодня: Зарубежье» главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин, «организаций, представляющих русскую культуру в Грузии, превеликое множество». Назовем среди них «Ассоциацию русскоязычных литераторов и деятелей культуры Грузии «Новый современник» (президент автор этих строк); «Молодежное Объединение Литераторов, Обитающих в Тбилиси о.кей) «МОЛОТ.О.К.» (руководители Михаил Ляшенко и Анна Шахназарова). Объединение с 2005 года издает сборник «Молот О.К.». Кроме того, пусть и с перебоями, выпускается серия «Библиотека Молотка». Появился первый выпуск альманаха избранных стихов — «Девять молодых поэтов Тбилиси». Ляшенко и Шахназарова выпускают также журнал «АБГ». Отмечу также бурную и ревностную деятельность количественно пре-

восходящего все другие объединения «Пушкинского общества Грузии «Арион» (руководитель Айдинов Михаил Юрьевич). Но самыми богатыми возможностями располагает, умело и с пользой осваивая их, активно действующий в направлении поддержки русскоязычной литературы, просвещения и искусства в Грузии «Международный культурно-просветительский Союз «Русский клуб» во главе с его основателем и президентом Николаем Свентицким. Этой организации удалось найти серьезную спонсорскую поддержку и воплотить в жизнь казавшийся многим нереальным в нынешних условиях проект — провести уже пять (!) Международных русско-грузинских поэтических фестивалей. В этих фестивалях принимали участие известные грузинские и русские поэты из более чем 50 стран мира (Венгрия, Греция, Израиль, Италия, Литва, США, Канада, Финляндия, Швеция, Россия и почти все страны постсоветского пространства, представители государств из далеких Африки и Латинской Америки...).

Помогает русскоязычным авторам и Союз российских соотечественников в Грузии «Отчизна» во главе с его президентом Валерием Сварчуком. Вот уже несколько лет здесь издается альманах «На холмах Грузии», объединяющий творчество русскоязычных авторов во всем жанровом многообразии. Два раза в год, при поддержке РФ, выходит и независимое литературно-публицистическое издание «Русское слово» под редакцией Игоря Аванесова.

Из всего перечисленного вывод лежит на поверхности: по-русски в Грузии пишут на удивление много. Правда, не всегда удачно, профессионально. В бурлящем литературном потоке можно выделить несколько имен, завоевавших заслуженную известность, чье творчество охотно пропагандируют не только местные, но и зарубежные литературные издания. Это — поэт и бард Людмила Орагвелидзе, любимица просвещенной публики в Грузии и в России, в последние годы с большим успехом выступающая на традиционных международных фестивалях бардов в Баку. Это Инна Кулишова, «крестница» Иосифа Бродского, приславшего ей на закате своей недолгой жизни письмо поддержки и благожелательного напутствия. Это — создательница мастеровитой и одухотворенной лирики Паола Урушадзе, человек, пожалуй, чрезмерно скромный и нигде не «светящийся». За Паолу эту функцию выполняют ее стихи. О своем недавнем открытии — творчестве Марии Фарги — говорил мне главный редактор «Дружбы народов» Александр Эбаноидзе, а о другом тбилисском поэте, Дмитрии Мониава, с теплом отозвался гость упомянутого поэтического фестиваля, одна из заметных фигур советского андерграунда, ныне гражданин Канады, Бахыт Кенжеев. Следует выделить также лирику Владимира Головина из поколения 50-х, отличающуюся особыми, «тбилисскими» интонациями и звучанием. Многообещающим выглядит также оригинальное творчество молодого барда Ирины Парошиной.

Одно из последних, но имеющих уже свою богатую историю в художественном пространстве Тбилиси событий — создание Ассоциации русскоязычных литераторов «Новый современник». В задачи нового объединения входит выпуск печатных изданий, проведение международных поэтических конкурсов и др. «Новый современник» — и в этом коренное отличие его устава от других подобных организаций — будет стремиться по мере возможности выплачивать авторские гонорары и создавать рабочие места для творческих сотрудников и технического персонала.

Такова, повторимся, пусть и масштабная и пестрая, но все же неполная картина грузинской русскоязычной литературы наших дней. И творческий процесс, что «добавляет в это блюдо остроты», не стоит на месте, чуть ли не ежедневно пополняясь новыми идеями, проектами, именами. Парадокс в

том, что на фоне неприкрытого давления на русский язык (в школах, вузах, и т. д.) количество пишущих (в основном стихи, но и прозу тоже) ничуть не уменьшилось, и даже, как мне кажется, увеличилось. Но вот качество не то, что было раньше, во времена СССР. Тогда в Тбилиси жили и творили Александр Цыбулевский, Мадлен Розенблюм, Наталья Соколовская; приезжали в длительные командировки Ян Гольцман, Юрий Ряшенцев, я уж не говорю о собиравших стадионы Ахмадулиной, Вознесенском, Евтушенко... Ну, а если заглянуть поглубже по спирали времени, там и вовсе небожители — Пастернак, Есенин...

Если говорить о поколении 60-х, то самым читаемым грузинским автором можно назвать Аку Морчиладзе. Это — псевдоним Гио Ахвледиани. Пишет он, если дать приблизительное определение, в ключе иронического постмодернизма. Стиль отдаленно напоминает Акунина, но глубже. Однако Морчиладзе — не «детективщик», хотя есть у него и детектив из жизни старого Тбилиси.

Дебютировал Ака интересным романом «Путешествие в Карабах», по которому Леваном Тутберидзе был снят фильм, имевший международный резонанс. Это рассказ о вояже двух тбилисских парней, пристрастившихся к «травке», в Карабах, за любимым зельем. По ходу дела они попадают прямо в театр военных действий, в разгар Нагорно-Карабахского конфликта, и здесь перед автором открывается широкое поле деятельности — создается галерея запоминающихся портретов армян и азербайджанцев, а в целом — убедительная версия нового взгляда на мир, перевернутый войной с ног на голову.

Хорошее знание быта и нравов старого (да и современного) Тбилиси сподвигли Аку Морчиладзе на создание двух других востребованных произведений — «Собаки улицы Палиашвили» — вещь, к которой охотно обращаются театральные режиссеры, и «Перелет через остров Мадатова», есть такой на Куре, в окрестностях Тбилиси. Трудно определить жанр этого произведения — может быть, как умело декорированный историко-документально-художественный роман.

Другой писатель, широко известный нашей читающей публике — Зураб Карумидзе, автор блестящей работы о метафизической поэзии Джона Донна. Его стихия — видоизмененный «поток сознания», введенный в литературный обиход Джеймсом Джойсом. Из вещей, сделавших его имя известным, назову «Море, темное, как вино» и «Безумный шляпочник» — образ, конечно же, навеянный Кэрроллом.

Очень талантлива Наира Гелашвили, замечательный стилист, многим ценителям литературы запомнился ее роман «Материнская комната», выдержанный в мемуарно-ностальгическом ключе. Гелашвили — яркий представитель экзистенциальной психологической прозы европейского типа.

В одной из моих бесед с поэтом и прозаиком Шота Иаташвили, «по совместительству» еще и серьезным литературным критиком, нашли отображение основные фигуранты и течения современного литературного процесса.

— Шота, твоя стихия — конкретика. Навскидку вспомню, например, «Характеристику штепселя» или «Деньги», которые я с удовольствием переводил. Тебе как никому другому сегодня удается выявить природу и сущность конкретных деталей. Даже в абстрактных твоих стихах присутствует конкретный сюжет, но эта поэзия эмоциональна, богата с точки зрения формы.

— Некорректно говорить о себе, поэтому процитирую отзыв поэта Дато Чихладзе: «Шота Иаташвили организует свои стихи на основе повседневных тем, без видимых усилий передавая скрытое поэтическое напряжение, возникающее в городской и предметной среде».

Другой фигурой нашего разговора с Шотой Иаташвили стал Дато Чихладзе, творчество которого дает основание на такое обобщение: совре-

менная грузинская поэзия — это синтез экспериментального авангардизма начала XX в. и «свободного стиха» «шестидесятников». С легкой руки Чихладзе грузинская поэзия, всегда находившаяся под влиянием востока, обогатилась ориентализмом новой волны — не арабского или персидского, а индийского, китайского и японского происхождения…

Примерно в том же ключе работал рано ушедший из жизни Карло Качарава, обогативший проторенную своим другом Дато Чихладзе дорогу некоторыми приемами немецкого экспрессионизма, в сочетании с достижениями американской поэзии. Но реальной ареной его лирики всегда оставалась Грузия, ее история и личности, творившие эту историю.

— Вообще современная грузинская поэтическая палитра отличается удивительным для столь нерасположенного к поэтическим откровениям времени разнообразием… — Шота Иаташвили развил эту мысль, приведя конкретные имена:

— Да, чего тут только нет. Это — и «фигурные» стихи Вахтанга Джавахадзе и Темо Джавахишвили, возрождающие традиции экспериментов начала XX в. Причем Джавахадзе даже использует в своей лирике печатную графику и фотообъекты. Это поэт социального эпатажа Котэ Кубанеишвили. Популярность его соц-арта обусловлена остротой политической «лозунговости» стихов, красующихся на городских мусорных урнах, майках и сувенирах. Иногда он острит и по-русски, например, «шумер умер, чечен вечен».

Наш разговор не мог не коснуться литературного объединения — «Реактивный клуб», который Котэ создал в 90-е годы. Почти одновременно возникла поэтическая группировка «Хронограф», которую возглавили Зураб Ртвелиашвили, Георгий Бундовани и Котэ. Их объединило стремление к отображению уродливых форм современной политики и общественных проявлений, но при этом они тяготели к анализу событий, а не лозунгово-КВН-скому стилю. Долго оба эти объединения не продержались, сгорели, но в их «пепле» возник «Орден старых поэтов». Членами его стали очень молодые поэты, избравшие, тем не менее, своим знаменем эстетику старых мастеров, «вливая новое вино в старые мехи». Проще говоря, наполняя классические формы современной лексикой. Лидеры этого ордена — Алеко Цкитишвили, Каха Чабашвили и Нана Якобидзе. Впрочем, творчество последней мало вписывается в концепцию ордена — ее откровенные верлибры изобилуют перипетиями разнообразных женских личных драм, и ее творчество вернее было бы отнести к течению грузинской феминистской поэзии.

В этом контексте нельзя было не вспомнить Нино Дарбаисели, количественно мизерная, но мастерски ограненная лирика которой — яркий пример просвещенного европейского поэта «грузинского розлива».

Не прошли мы и мимо Далилы Бедианидзе с ее любовью к верлибрам. Вообще верлибр как-то незаметно, но прочно занял лидирующие позиции в современном грузинском поэтическом процессе, и его удельный вес явно превосходит все другие формы. Нельзя было умолчать и о мастере эвфонии Элле Гочиашвили, хотя стихи ее, пестрящие мистическими и драматическими эффектами, зачастую сентиментальны, и о Диане Вачнадзе. Откровенная эротика в ее произведениях как бы зовет «назад, к природе». Лозунг Руссо мы вспомнили как нельзя кстати, потому что весьма востребованный ее роман «Ната, или Новая Юлия» является первым образцом нелинеарной прозы в грузинской литературе, в то же время представляя собой попытку воссоздания проблематики и тематики романа Руссо.

Не все наши писатели, во весь голос заявившие о себе в годы лихолетья, как и Дато Чихладзе, ныне проживают за рубежом. Один из них — Дато Барбакадзе, новатор и культуртрегер, вдумчивый исследователь структуры

языка, обосновался в Германии. В чем-то его изыскания напоминают эксперименты Хлебникова, он и использует в своем творчестве опыт иноязычной поэзии, прежде всего русской (обэриутов) и немецкой.

Омар Турманаули перебрался во Францию. Его и Бату Данелия, используя советскую литературоведческую терминологию, можно назвать урбанистами-«деревенщиками». Оба выросли в сельской местности, и поэтому их городская лирика странным образом комбинирует с пасторальными мотивами. А вот философская лирика Гиви Алхазишвили вызывает у читателя потребность к интеллектуальной медитации, созерцательному отношению к миру.

Мой собеседник не обминул стороной и творчество автора этих строк, процитировав и восторженную характеристику магистра филологии Нины Зардалишвили, опубликованную в журнале «Русский клуб», но здесь я ее приводить не стану по вполне понятным причинам.

Подытоживая сказанное, замечу, что на первый взгляд новая грузинская поэзия подвержена влиянию литератур европейско-американского региона. Но если посмотреть «вооруженным взглядом», то в ней происходят трансформационные процессы, и в лучших образцах нет следов провинциализма и эпигонства.

Если говорить о традиционном, но постоянно трансформирующемся влиянии ориентализма, то, конечно, необходимо вспомнить Рати Амаглобели, известного и много выступающего автора. В его текстах прослеживается опыт чтения западных литератур, но они как бы обряжены в восточные одежды. При этом лирика Амаглобели изобилует архаизмами, заимствованными из древнегрузинского языка, версификациями, выдающими поэта ориенталистского толка.

Есть и другие авторы подобной эстетической ориентации. Их творчество подтверждает тезис о том, что процесс одновременного противоборства и синтеза восточного и западного присутствия в грузинской поэзии продолжается, и это обусловлено геополитическим, а следовательно, и культурным влиянием на Грузию этих двух миров. По-моему, это идет только на пользу живому литературному процессу.

Говоря о современной прозе, вспомню о «родственной душе» Аки Морчиладзе и Зураба Карумидзе — Давиде Картвелишвили, хотя в последнее время он резко «вывернул кормило», стал писать новеллы в духе православной этики, на которых лежит печать высокой художественности.

В прозе Циры Курашвили отражена невыносимая социально-политическая ситуация в грузинской провинции последних лет.

Городская тематика лежит в основе пользующихся спросом романов Бесо Хведелидзе, на страницах которых появляются коренные тбилисцы, занятые своими цивильными делами и размышляющие на актуальные и вечные темы.

Ни одна из вышедших в свет в последние годы книг прозы не вызывала таких ожесточенных споров, как «Первый русский» Лаши Бугадзе. В этом романе рассказывается о первой брачной ночи царицы Тамар (причисленной ГПЦ к лику святых) с князем Юрием Боголюбским, который, как известно из грузинских исторических хроник, был зоофилом. Многие грузины восприняли это произведение как личное оскорбление. Но я не думаю, что Бугадзе ставил перед собой цель вызвать скандал. Впрочем, это один из многих литературных скандалов последних лет. Не менее громкие вызывает, например, Заза Бурчуладзе, поднимая в своем творчестве темы, о которых у нас не принято говорить. Это — гомосексуализм, интимные проблемы фрейдистского толка, идущие из детства. Вообще современная грузинская проза явно ориентирована на деструкцию. Этой тенденции противостоит разве что уже упомянутый Давид Картвелишвили с его православным модернизмом.

Особого разговора заслуживают представители старшего поколения. 88-летний Отар Чхеидзе на протяжении всей своей жизни осуществлял (и завершил!) титанический труд — художественную летопись Грузии двадцатого века. Этот подвиг роднит его с Александром Солженицыным. Но — более того — теперь Отар Чхеидзе взялся за век XXI — в его новом цикле главный персонаж — Михаил Саакашвили.

Другой наш прославленный «летописец» — недавно ушедший от нас замечательный художник слова, нобелевский номинант Отар Чиладзе. Его творческий путь — от осмысления мифологической Грузии — к XIX, XX веку, и, наконец, к современности. В его последнем романе — «Авелум», выведен обобщающий образ современного интеллигента, построенный на сквозной модели — империи любви как противовеса советской империи зла.

20 лет читатели ждали нового романа Чабуа Амиреджиби, автора одного из лучших образцов грузинской прозы XX в. — «Даты Туташхия». Его «Гора Мборгали» — роман-гимн, воспевающий человеческую свободу, выносливость, любовь к жизни.

Огромно влияние на грузинский литературный процесс Гурама Дочанашвили. Его заслуги в открытии новых горизонтов литературного языка уже стали фактом истории грузинской художественной культуры, это — истинный Учитель современных наших прозаиков. В 2003 году вышел в свет новый, полный смелых лингвистических экспериментов роман Дочанашвили «Глыба церковная».

Заметным явлением в последние годы стали два небольших романа известного киносценариста и режиссера прославленного «Театра марионеток» Резо Габриадзе. В них он переосмысливает жизнь своего родного Кутаиси по своим, «габриадзевским», законам и понятиям, создает еще один феноменальный язык в грузинской литературе, щедро снабжая его «фирменным» юмором.

И, наконец, Нугзар Шатаидзе, владеющий тайной занимательного повествования, оживляющий на страницах своих произведений грузинскую крестьянскую речь 100-летней давности, что является продолжением классического направления, созданного Резо Инанишвили.

По мнению литературоведа Беллы Чекуришвили, в современной грузинской прозе господствует «кадрово-клиповое» мировосприятие. Иначе говоря, грузинского читателя наших дней не интересуют ни психологические коллизии, ни красоты слога. Их Величества События и Факты — это тот «мед», на который летят покупатели бумажной продукции. «Когда же он его убьет?»; «Когда же, наконец, они лягут в постель?» — в массе своей наш читатель на этот счет крайне требователен и нетерпелив.

В унисон Белле Чекуришвили звучат оценки Анны Григ (Григалашвили), представившей в нёманскую подборку рассказы молодых грузинских прозаиков:

— Наши авторы утратили глубину художественного слова и переключились на вариативность явлений. Но это характерно и для всей современной европейской литературы, так что мы «плывем в фарватере». Мы создаем не прозу, а скорее киносценарии...

Я оставил за рамками этого обзора немало важных областей литературы — как, например, издательская политика и деятельность, не коснулись и весьма интересного драматургического пласта. За бортом и литературная критика, находящаяся, по правде говоря, в полуобморочном состоянии, поскольку это — жанр, оплачиваемый при всех обстоятельствах, а денег у грузинских журналов нет и в ближайшее время не предвидится.

Владимир САРИШВИЛИ



БЕСО ХВЕДЕЛИДЗЕ

Рассказы

Тринадцатое пятно

Баба Лина!.. Баба Ли-на!!.. Мурман*а* отымели!..
Гио сломя голову бежал в деревню.

* * *

День клонился к вечеру. Шел дождь, шел не переставая, — как будто кто-то там наверху не закрыл кран. Позванивая колокольчиками и степенно ступая по покрывавшей дорогу жидкой грязи, возвращались с пастбища Мурман, Нодар, Элисо, Эльза, Лина, Бычок, Зорро, Коля, Увалень и другие коровы, принадлежавшие жителям деревни. Вода размыла нарисованные у них на боках чернилами имена хозяев, и поэтому темная жижа под их копытами приобретала местами фиолетовый оттенок.

Каждая из коров была наделена белоснежным левым боком, тогда как на правом — располагались тринадцать черных пятен одинаковой формы и величины. Это и являлось признаком их редкой породистости, величали же их — коровами Пятницкого. Говорили, что давным-давно их пятнистую праматерь завез сюда некто купец Пятницкий, и с тех пор местные крестьяне разводили исключительно ее потомство.

Внешне коровы почти не отличались друг от друга, почему и придумал деревенский художник — он же ветеринар — Мурман написать на них сбоку — разведенными растительным маслом чернилами — имена хозяев. Но каждый раз в непогоду всю его работу смывал дождь, и ему приходилось потеть заново.

В тот вечер коров, мычанием оповестивших деревню о своем возвращении, и их личного врача и живописца ожидал привычный ритуал.

* * *

«Нодар. 8 лет. Мать — Надежда. Отец — Карп. Удой — 22 л. Глаза — цвета кофе «Пеле». Рога — спиральные. Пятен — 13. Вес — 395 кг. Хозяин — Нодар Двалишвили», — читал вслух в своих истрепанных ветеринарных записях Мурман, присев на треногий стул и положив их на худые колени: там у него была отмечена каждая корова.

«Я же осматривал ее накануне: лихорадит. Нужно впрыснуть ей биомицин...» Он посмотрел на Гио — соседского мальчика.

— Малец, сбегаешь к Лие за шприцем?

— Да, я мигом!.. — вскочил Гио.

— Только не принеси опять швейную иглу!.. Или — нет, постой, я тоже пойду: надо купить чернила... — Мурман неторопливо поднялся и набросил плащ.

* * *

У Лии были светлые волосы, она все еще была не замужем и держала на окраине деревни небольшую лавку, в которой торговала чем придется: начиная с обычных пищевых продуктов и лекарств — кончая сельскохозяйственными орудиями и самыми разнообразными предметами домашнего обихода.

Мурман был влюблен в Лию еще с детства, но из-за робкого характера до сих пор не решался прямо сказать ей о своих чувствах. Раз в неделю он заходил в лавку, чтобы купить стержни с чернильной пастой или лекарство для коровы, Лию же раздражала его затянувшаяся нерешительность, и поэтому каждый раз их встреча получалась напряженной.

Все вокруг были едины в том, что Мурман и Лия просто созданы друг для друга и что кто-то из них двоих — в конце концов! — должен сделать первый шаг. С другой стороны, и сама Лия, и ее односельчане считали, что — как мужчина — инициативу все-таки должен проявить Мурман, но при виде любимой женщины он лишь краснел до ушей и прятал глаза.

— Сорок стержней, если можно...

— Сорок? — глядя исподлобья, Лия отсчитывала стержни.

— И еще масло... подсолнечное...

— Так... Что-нибудь еще?

— Да нет... вроде бы ничего... больше... — Мурман как всегда готов был провалиться сквозь землю. Лия сердито бросала стержни и шумно ставила на прилавок бутылку с подсолнечным маслом.

* * *

Это началось в один из дождливых вечеров, когда Мурман пошел в хлев посмотреть — как там его корова. Насквозь промокшая, она теперь уныло пережевывала жвачку в своем стойле; имя хозяина на ее левом боку смыло в очередной раз.

Мурман был в хорошем настроении и что-то про себя напевал. Он выдавил в жестяную банку чернильную пасту из купленных накануне у Лии стержней и стал разводить ее подсолнечным маслом. Помешивая кистью и одновременно оглядывая корову со всех сторон, Мурман стал машинально пересчитывать черные пятна у нее на боку.

«Раз, два, три...»

Мыслями Мурман давно уже был на кухне, представляя, как, закончив возиться с коровой, он испечет кукурузные лепешки...

«четыре, пять, шесть...»

...и надо было еще прокипятить молоко...

«семь, восемь, девять...»

...а как он любил запить свежеиспеченную кукурузную лепешку горячим молоком!.. Так он завтракал, так он и ужинал...

«десять, одиннадцать, двенадцать...»

Мурман вдруг застыл на месте: тринадцатого пятна не было. Не поверив своим глазам и схватившись за голову, он пересчитал пятна еще раз, но их число не менялось. Он приложил мозолистую ладонь к горевшему лбу и бессильно опустился на стул.

* * *

Весь вечер пересчитывал Мурман пятна на боках у соседских коров, восстанавливая чернильной краской имена их хозяев, но лишь у его коровы недоставало того тринадцатого пятна...

— А может, она уже старая — твоя Мурман, вот пятно и исчезло? — высказал неуверенно свое предположение Гио.

— Глупости!..

— Дядя Мурман, ты же видел жирафов в зоопарке...

— Разве у них — к старости — не седеют пятна?

— Да какая старость — у шестилетней коровы!..

Потрясенный происшедшим, Мурман в ту ночь видел странные сны: он был перелетной птицей и пролетал над большим зеленым лугом, на котором паслось стадо коров; сразу разглядев среди них свою Мурман и в какой-то момент оказавшись прямо над ней, он (в птичьем облике) поднатужился и уронил изрядное количество белого помета, который, со свистом полетев вниз, упал ей прямо на тринадцатое пятно, мгновенно окрасив его в белый цвет...

Мурман проснулся в холодном поту. Уже наступило утро; из хлева доносилось мирное мычание. Он наскоро оделся, налил воды в ведро и пошел к корове.

Долго тер Мурман коровий бок мокрой губкой, но все напрасно — пятно не возвращалось. Очень злой, в очередной раз насчитав двенадцать пятен, он громко выругался.

* * *

Мурман уже три дня ничего не ел и бродил как тень по грязным деревенским переулкам. Исчезнувшее пятно не выходило у него из головы.

— Дядя Мурман, а сколько молока дает твоя Мурман? — спрашивал мальчик.

— Двадцать литров.

— Четырежды пять?

— Все-то у тебя наоборот, дурачок...

— Ну, назови еще какое-нибудь число, пожалуйста!

— Какое число?.. Семьдесят семь.

— Знаю! Семью одиннадцать!..

— Силен, силен!..

— Дядя Мурман, а, дядя Мурман!

— Вот пристал!..

— А почему у всех коров в нашей деревне по тринадцати пятен?

— Понятия не имею...

— А ты пишешь на них имена для того, чтобы они узнавали друг друга, да?

— Нет, это не для них, а для хозяев — чтобы могли разобрать, которая кому принадлежит.

Каждый вечер Мурман и Гио вместе осматривали правый бок у вернувшейся с пастбища коровы, но пятен на нем неизменно оставалось двенадцать. И каждый вечер — с чувством досады — Мурман продолжал заниматься своими обычными делами: доил корову, заквашивал молоко для сыра и в конце брался за кисть.

— Какие буквы красивые!.. — восклицал Гио.

— Это Arial Bold...

— Ариел что?.. Болт?..

— Отстань от меня, малец!..

* * *

Когда к концу четвертого дня, снова пересчитав пятна у коровы, Мурман обнаружил, что их — как и раньше — тринадцать, его чуть не хватил удар, и он слег с высокой температурой.

До самого утра Мурман бредил и звал Лию, а Гио со своей бабушкой ухаживали за ним, смачивая в холодной воде полотенце и прикладывая его ко лбу больного. Они даже вынуждены были попросить Лию открыть лавку посреди ночи, чтобы купить жаропонижающее. Приняв его, Мурман наконец заснул.

Его разбудил звон колокольчиков: стадо коров лениво проходило мимо окон. Лежа и потягиваясь, Мурман вдруг заметил стоявшего у изголовья Гио, на шее у которого висел его военный бинокль. От неожиданности ветеринар даже сел в постели и, нахмурив брови, пристально посмотрел на мальчика.

— Зачем он тебе? — спросил он, указывая на бинокль.

Гио, не ответив, повернул бинокль обратной стороной и, посмотрев через него на Мурмана, рассмеялся:

— Какой ты маленький!

— На вопрос — ответишь?!

— Пойду за ними на пастбище... — с важным видом произнес мальчуган и посмотрел в окно.

— Для чего?

— Следить за твоей Мурман!

— Ты сегодня пятна считал?

— Опять тринадцать...

— Опять?! Что за наваждение!..

* * *

Гио, и правда, пошел за коровами, но по другой дороге — чтобы они его не заметили. Он обошел с южной стороны луг, на котором паслось стадо, взобрался на высокое дерево и, вооружившись биноклем, стал вести наблюдение.

Помахивая хвостами, коровы не спеша паслись по всему лугу. Маленький сыщик вытащил из-за пазухи тетрадку и нарисовал в ней карандашом карту пастбища.

В течение всего дня он, не слезая с дерева, записывал, что делала та или иная корова, помечая на карте также и каждый ее переход с места на место.

«10:23 — Увалень подвинулась вперед — на три шага, и посмотрела на небо.

Мурман жует.

10:35—10:47 — Нодар, не поднимая головы, помахивает хвостом.

11:03 — Бычок выпустил струю.

11:28 — Лина отошла направо: на десять шагов.

12:05 — Эльза наделала лепешек.

12:24 — Элисо разлеглась на траве и зевает.

Мурман жует.

13:11 — Зорро веселится: прыгает да скачет».

Когда вечером Гио вернулся в деревню, он не смог сказать Мурману ничего утешительного.

— А сколько у нее сегодня пятен? — спросил тот.

— Сегодня — тринадцать...

— Что за черт!..

Записи в дневнике мальчика тоже не давали ключа к разгадке.

Так продолжалось три дня.

* * *

Баба Лина!.. Баба Ли-на!!. Мурмана от…ли!..

Гио сломя голову бежал в деревню.

— Кого?.. Что?.. — вышла ему навстречу бабушка в темной одежде.

— Ну, ба!.. — мальчик подпрыгивал от нетерпения...

* * *

— Так вот, дядя Мурман: в первый день они вели себя как обычно, и на второй — тоже: паслись себе, хвостами помахивали... Ну вот же, смотри — я все записывал... И в третий день — ничего не произошло... Ты и сам знаешь...

— Ой!.. Говори уж, не томи!..

— А сегодня... у твоей Мурман снова будет двенадцать пятен!..

— Ты что, мальчик, смеешься надо мной?!.

— Погоди, дядя Мурман... И сегодня — слежу я за ними, слежу, записываю все у себя в дневнике... вот, посмотри...

— Да убери ты этот дневник, наконец! Что дальше?

— Дальше?.. Дальше наступило 12 часов 26 минут...

— И?!.

— И с соседнего пастбища, что через овраг, — послышалось громкое мычание... — Гио указывал рукой туда, где лежала соседняя деревушка.

— Да, там тоже есть коровы... — кивнул Мурман.

— Я посмотрел через бинокль, вижу — те коровы тоже пасутся и тоже помахивают хвостами, но они все разные: которые — черные, которые — бурые, а которые — вроде наших — с пятнами... А одна из них — ну, точь-в-точь твоя Мурман! — отделилась от стада и пошла к оврагу...

— Гм!..

— В это же самое время я заметил, что Мурман перестала жевать и, замычав в ответ, тоже отошла от стада и направилась в сторону оврага...

— Да ты что сказки-то рассказываешь?!.

— Скоро та, другая, корова поднялась наверх из оврага, и они — она и Мурман — остановились друг против друга... Если бы ты видел, дядя Мурман — как они похожи!..

— Скажи, малец: ты издеваешься, да?

— Со стороны казалось — будто они беседовали...

— Они... Кто — они? Коровы?!.

— Ну, честное слово, дядя Мурман, можно было так подумать!..

— Господь с тобой! — всплеснула руками баба Лина.

— Потом Мурман спустилась в овраг, а та — пришла на наше пастбище и заняла ее место...

— А ты знаешь, что бог наказывает за вранье?

— Да не вру я, дядя Мурман, клянусь, не вру! Когда наша корова оказалась на той стороне, ей навстречу вышел большой белый бык, и они как бы начали говорить друг с другом...

— Я тебе сказал не врать?!.

— А потом этот бык встал сзади нашей Мурман и залез на нее...

— Ох!.. — выдохнул не совсем еще выздоровевший Мурман и ударил себя по лбу, порываясь встать с постели.

— Представляешь, дядя Мурман, тот белый бык твою Мурман отъе...

— Прикуси язык! — раскричалась на мальчика бабушка. — Где ты набрался этих слов?!

— От дяди Мурмана! — хитро улыбнулся Гио.

* * *

В тот вечер Мурман и Гио ждали возвращения стада с пастбища — сидя на крыльце. Спускались сумерки, когда издалека начало доноситься знакомое позвякивание.

— Идут! — крикнул Гио насупившемуся Мурману.

Не дав корове войти во двор, ветеринар пересчитал у нее пятна: их оказалось двенадцать — как и предупреждал мальчик. Он растерянно посмотрел на Гио.

— Что же теперь делать?..

Но, утерев рукавом мокрый лоб и широко распахнув ворота, Мурман все-таки впустил корову.

— Ну уж если коровы такое вытворяют!..

* * *

Через три дня у вернувшейся с пастбища коровы было уже тринадцать пятен. Мурман обнял свою настоящую корову и, расчувствовавшись, даже прослезился.

— Провела меня, да?.. Корова ты, корова...

В тот же вечер ветеринар внимательно осмотрел свою: она оказалась стельной...

* * *

На следующее утро коровы как обычно потянулись вереницей по деревенской дороге, которая вела на пастбище. На боку у каждой коровы красовалось выведенное большими чернильными буквами имя хозяина. Невыспавшийся Мурман с воспаленными глазами, стоя за воротами вместе с Гио, провожал стадо взглядом.

Впереди всех шла стельная Мурман. За ней следовали — Нодар, Элисо, Эльза, Лина, Бычок, Зорро, Коля, Увалень и другие коровы. Глядя, как они проходят мимо Лииной лавки, Гио лукаво улыбнулся.

— Дядя Мурман, а почему у Лии нет коровы?..

Мурман не нашелся, что ответить, и некоторое время они оба стояли молча. Потом снова заговорил мальчик:

— А когда у твоей коровы родится теленочек, ты напишешь у него на боку свое имя — Ариал Болтом?

Мурман опять ничего не ответил, потом повернулся и с задумчивым видом вошел в дом.

* * *

Лия открыла лавку с раннего утра. Аккуратно подметя пол и распахнув окна, чтобы проветрить комнату, она зашла за прилавок и стала раскладывать товар на полках. Очень скоро Лия услышала, как, медленно приближаясь, позванивают колокольчики. Через минуту-две коровы должны были — как обычно — пройти мимо лавки...

Лия посмотрела в открытое окно и увидела белую голову Мурман, обрамленную оконной рамой. На боку у коровы вместо имени ее хозяина странным образом было написано: «КОГДА У». Прочитав, Лия нахмурилась.

За Мурман появилась Нодар с надписью — «МОЕЙ МУР».

У женщины перехватило дыхание.

«МАН РОДИТ», — было написано на следующей корове.

«СЯ ТЕЛЕ», — бежала строка.

«НОК ХОЧУ», — гласил очередной коровий бок.

«ЧТОБ ЕЕ ЗВА»...

Лия вышла из-за прилавка и потихоньку приблизилась к окну.

«ЛИ ЛИЯ!»

На душе у Лии стало вдруг так тепло — будто солнце спустилось к ней на землю!

На несколько минут она застыла в приятном оцепенении. Потом, встряхнувшись, сдернула с головы косынку и подошла к висевшему на стене зеркалу. Внимательно себя разглядывая, она распустила свои светлые волосы и даже расстегнула две верхние пуговицы на платье. А в довершение — подкрасила губы помадой.

Лию было не узнать: она вся как-то преобразилась, а ее сердце забилось громче и быстрее...

Отражавшееся в зеркале лазурное небо обещало ясную погоду еще надолго. По деревенской дороге, что вела на пастбище, степенно ступали коровы с маленькими звонкими колокольчиками и странными именами: КОГДА-У, МОЕЙ-МУР, МАН-РОДИТ, СЯ-ТЕЛЕ, НОК-ХОЧУ, ЧТОБ-ЕЕ-ЗВА, ЛИ-ЛИЯ!

Мышиный вкус

Приближаясь к проселку, мы услышали странный звук.

— Нехорошо... — хрипло выдохнул Петро и резко поднял руку, что означало: всем оставаться на своих местах.

* * *

До заброшенной деревушки добирались на пяти болотного цвета виллисах со снятым тентом, а затем оставили их с водителями за холмом и стали спускаться пешком по заросшему кустарником склону. Мы трое — я, Петро и поляк по прозвищу Шопен — не принадлежали к взводу. Петро нес оружие, я — фотоаппарат, Шопен отвечал за видеокамеру и беспокойно вертел ее в руках. Мне тоже было не по себе. Все выглядело так, словно кто-то здесь недавно тряс ветви огромного дуба: на широкой деревенской дороге, как желуди, валялись гниющие трупы. Жара и вонь стояли невыносимые, ни малейшего движения в воздухе. Хриплый рев повторялся, не становясь ни громче, ни тише.

Петро перезарядил оружие. Он бросил на нас быстрый взгляд и, пригнувшись, начал бесшумно двигаться вдоль забора в направлении проселка. Кровь бешено стучала у меня в висках. Я посмотрел на Шопена, — он был очень бледен и, как ребенка, прижимал к груди включенную камеру. Повернув голову в другую сторону, я увидел согнутую спину Петро, который почти уже дошел до цели. Рев в это время зазвучал яростнее, и у меня перехватило дыхание, хотелось закричать и остановить Петро, но я не успел: в следующее мгновение он уже был на месте. Неожиданно вместо чего-то ужасного произошло нечто совсем другое: Петро несколько минут, остолбенев, на что-то смотрел, потом повернулся в нашу сторону и сделал знак приблизиться. Когда мы подошли к Петро, перед нами предстало странное и отвратительное зрелище: проселок весь был усеян трупами, среди которых была огромная лиловая свинья. Слишком разжирев от обильной пищи, она застряла между заборами и не могла двинуться ни вперед, ни назад; она же и издавала этот холодящий душу звук. Я почувствовал, что меня сейчас стошнит. Шопен стал снимать происходящее, не глядя в видоискатель. Тем временем Петро сплюнул и выпустил в свинью очередь из автомата. Кровавые куски полетели во все стороны; от жуткого хрипа мне заложило уши. Когда Петро убрал палец с курка, сразу воцари-

лась гробовая тишина. От огромной лиловой свиньи осталась лишь груда дымящегося мяса.

— И мы поедаем друг друга так же!.. — процедил Петро сквозь зубы очередное свое умозаключение и расстрелял обойму до конца.

— Недавно по телевизору говорили, что человеку пересадили свиное сердце и результат оправдал все ожидания. Так вот мне свинина с тех пор в горло не лезет, — быстро проговорил Петро и утер лоб платком.

Я оглянулся: солдаты занимали позиции, саперы уже вышли вперед. Поляк со скривившимся лицом снимал все на камеру. Было заметно, что он жалеет о том, что поехал с нами.

— Да, хорошее кино он увезет с собой в Варшаву — про мясобойню... — сказал я и сфотографировал дом без окон и крыши посреди одного из дворов.

* * *

«Здравствуй, мама! Я никогда не писал писем и поэтому не знаю, с чего начать, и даже не знаю, прочтешь ли ты когда-нибудь эти письма — как письма. Наверное — нет, потому что все это я записываю в черный блокнот, который ты мне подарила в прошлом году на мой двадцать шестой день Рождения. Помнишь?.. Вот твои слова: «Это для хранения тех самых секретов, которые ты мне никогда не откроешь». О том же и надпись на внутренней стороне обложки. И все равно я тебе обо всем рассказывал, — кто меня поймет лучше? Так хочется сейчас с тобой поговорить, но ты от меня за тысячи километров. А знаешь, я изменился: говорю уже не так громко. Здесь очень жаркий август, и я постоянно ощущаю во рту какой-то странный, мышиный вкус... Пришла в голову мысль, что вложенная в слова энергия равна мощности радиоволн и может распространяться на очень большие расстояния. А чем мне еще утешаться?.. Мам, наверное, ты часто видишь меня во сне и ощущаешь во рту тот же мышиный вкус, что и я; может, он появился оттого, что мне страшно?.. Ты наверняка никогда не слышала об Абхазии и вряд ли знаешь, где она находится, а если спросишь у знакомых, то, думаю, они выскажут предположение, что Абхазия находится где-то в Африке или Америке, а может, — в Азии или Европе. Но в том-то и дело, что это Европа и Азия одновременно!.. Эх, дурак я, а не журналист! И черт меня дернул сунуться к редактору со своими амбициями: всякое типа «надоело писать о несерьезных вещах, размахнуться негде, уже исчерпал себя в Варшаве, Кракове и Катовицах, пошлите за границу, я журналист высокого класса... Не знаю, что подумал обо мне пан редактор, но спокойное поигрывание на столе короткими, в перстнях, пальцами означало согласие.

Я думал, что меня пошлют куда-нибудь на Запад: в Антверпене тогда проводился Всемирный фестиваль войлока, в Гамбурге находилась на гастролях группа «Металлика», а в Лондоне праздновали юбилей Конан Дойла. Но — нет! — у моего редактора оказалось богатое воображение... Я никогда ни слова не писал о политике, ты же знаешь, мам! А пан редактор решил послать меня в Москву, куда недавно прибыл с визитом глава Грузии: мол, обо всем уже договорились — полетишь, встретишься, возьмешь интервью по личным вопросам и прилетишь обратно. И все это из-за того, что эта слабоумная Магда Юсковяк слегла с воспалением легких в самый разгар лета, а мне пришлось ее заменить! Хотя интервью по личным вопросам еще куда ни шло. Я же делал несколько таких: с Барбарой Брыльской, Поланским, Гжегошем Лято... да с кем только не делал!.. А вот с политиками, тем более иностранными, никогда. И в этом тоже была своего рода интрига. Я с детства интересовался Москвой, этой бывшей бес-

крайней столицей бывшего Советского Союза, к тому же предоставлялась возможность проверить мой несколько заржавевший русский. А вдобавок, что еще оставалось делать? Сам ведь напросился... «Тебе дается шанс проявить себя в полной мере и доказать наличие у себя того, что называют настоящим журналистским чутьем!» — сказал редактор внушительным и торжественным тоном, покровительственно хлопнув меня по плечу и велев секретарше заказать билет на самолет в оба конца. Виза была не нужна, и я должен был лететь в тот же день ближайшим рейсом. Через три часа самолет прибывал в Москву, а в девять заканчивалась пресс-конференция, после которой я и должен был взять интервью. Эх, впервые выехал из страны, и занесло же в такую задницу! Судьба посмеялась и, вдобавок, приобщила меня к мерзкому ощущению во рту мышиного вкуса.

В Москве, по дороге из аэропорта, я на два часа застрял в ужасной пробке и усердно чертыхался, глядя в окно автобуса. Когда, наконец, добрался до белого зала конференций, было уже поздно, безбровый администратор ответил, что глава грузинского правительства час назад уже отбыл в Грузию вместе со своим окружением. Я чуть не плакал. Я попросил дать мне телефон и позвонил своему редактору, ругая всех и вся на чем свет стоит. Он стал меня успокаивать, убеждая, что ничего страшного не произошло, и что я ни в чем не виноват, и что, наверное, так и должно было случиться. Его фатализм на меня подействовал. «Мы закажем тебе билет на рейс Москва—Тбилиси—Москва. Ночью будешь уже в столице Грузии, завтра пробьешься к респоденту, возьмешь интервью и сразу обратно». Когда я поинтересовался, зачем возвращаться обратно в Москву, если можно прямо из Тбилиси вылететь в Варшаву, в трубке раздался жирноватый смех: «Ты ведь настоящий невежда, не знающий ни политики, ни географии, и, конечно, ничего не слышал про Грузию и про то, что там творится...» Ну откуда мне, журналисту из Варшавы, автору постоянной рубрики «Польский бомонд», было знать про Грузию и тем более про ее политические и экономические беды?.. В итоге я так и не понял, что так рассмешило моего редактора, а его издевательский смех до сих пор звучит у меня в ушах: он проявил пренебрежение ко всему, во что я тогда верил. Мне ведь до сих пор не приходилось писать тебе писем — ты всегда была рядом... А сейчас я так далеко, что ты и представить себе не можешь! Вот я все и рассказываю: где, как и зачем... Хотя зачем я здесь — мне самому не ясно, наверное, это какой-то злой рок. И могла ты когда-нибудь подумать, что я окажусь в такой далекой стране, как Грузия? В это трудно поверить, но факт, что оказался...»

* * *

— И кошек еще не переношу... — рявкнул Петро и взял у меня зажженную сигарету.

— В качестве еды? — рассмеялся я.

— Нет. Просто их невозможно приручить. Когда умерла моя бабушка, кто-то забыл закрыть на ночь форточку, в комнату залезла кошка и отгрызла покойнице уши...

— Как? У кого? — напрягся стоявший неподалеку солдат.

— У бабушки моей!.. у кого!..

— И что потом? — мрачно спросил я.

— А что потом... кххх, тьфу, кххх... новые точно бы не выросли... — Петро потушил сигарету слюной и заткнул за ухо. — Так мы ее и похоронили — как персонажа Эль Греко.

— А кто такой Эль Греко? — поинтересовался тот же солдат.

— Художник был такой, грек по национальности, жил в Испании... и болел за «Реал Мадрид», — как обычно проявил свою эрудицию Петро. — В его картинах все безухие...

— Что?.. Глухие?

— Да не глухие, а без ушей!.. — пояснил Петро.

Все вдруг замолчали.

И есть же больные люди, которые выручают деньги от продажи такого мяса!.. — задумчиво проговорил Петро, снова уставившись взглядом на проселок. — Идешь на рынок, покупаешь мясо, чтобы детям приготовить, и что в итоге?.. Каннибализм! — для убедительности он поднял указательный палец. — Было время, когда люди не притрагивались к мясу, потому и жили тысячу лет... во всяком случае, пятьсот — точно.

— Только поэтому? — я посмотрел на него с сомнением.

— Жарко, но холодно, — сказал вдруг поляк на ломаном русском, продолжая снимать соседние дома на свою камеру.

Наши виллисы медленно сползали с холма в деревню.

— И чем же они питались? — снова поинтересовался один из солдат.

— Фасоль, кукуруза, помидоры, картошка, шоколад... — не задумываясь, хрипло выдал Петро.

— Это уже про Америку, Петро, не выдумывай, — возразил я.

Шопен движением головы откинул назад светлые волосы и утер взмокший лоб ладонью. Петро ласково потрепал его по плечу.

— Что, братуха, переживаешь?..

Шопен выключил видеокамеру и, кивнув головой, тяжело вздохнул.

— Гнилое место, — прошипел Петро и огляделся по сторонам. — Все ущелье прямо как на ладони. Три раза они его отбирали, и три раза мы его отвоевывали. Как в пинг-понг играем. После этого побоища оставаться здесь нет смысла. Будем надеяться, что хоть кто-то сумел спастись... — и Петро в очередной раз остановил взгляд на проселке. — Опустевшая деревня — как пустой холодильник.

— Ну ты сравнил!.. — сказал я и присел на большой гладкий камень.

Петро тут же заставил меня встать с камня:

— Подхватишь простатит и будешь лечиться годами, а то и помрешь... Дай-ка мне свою фляжку!

— У меня во рту мышиный вкус... — проговорил Шопен про себя и проглотил слюну. — А запахов вообще не чувствую.

Петро взял у меня флягу и протянул Шопену.

— Это у тебя невроз. Журналистам здесь не место, уезжай отсюда. На, глотни — все крысы исчезнут...

— Не крысы, мыши... — уточнил Шопен и взял флягу.

— Один черт! — махнул рукой Петро. — Ты разве не знаешь, что мышь становится крысой, когда вырастает?..

— А вдруг не дорастет? — съязвил я.

Петро задумался и посмотрел на Шопена, который возился со своей камерой.

— Значит, эту мышь съела кошка.

* * *

«Знаешь, мам, Тбилиси мне запомнился как очень мрачный город. Прилетели туда поздно ночью на изрядно потрепанном самолете. Во всем городе не было электричества, и вдоль взлетно-посадочной полосы двумя длинными рядами стояли люди с какими-то горящими предметами в руках. Как я потом выяснил, каждый из них держал обыкновенную подожженную метлу... Ночь

я провел в какой-то темной и вонючей гостинице. Поспать не удалось совсем: еще не успел акклиматизироваться, и вдобавок появилось некое ощущение безысходности, оттого что не было света. На обшарпанном столе в моем номере тускло мерцала белая свеча, а в соседнем — бесчинствовала компания пьяных мужиков. Я смог различить голоса: их было четверо, и с ними женщина. Не знаю, что они с ней делали, но до утра она кричала истошным голосом. На рассвете женский крик стал еще громче, и к нему добавился шум разбиваемой мебели. Решившись выглянуть в коридор, я увидел, как из комнаты выбежала голая по пояс женщина с окровавленным лицом. Не переставая кричать, она побежала к лестнице, а за ней, ревя во всю глотку и вертя оружием, гнались четверо мужиков в военной форме. Я буквально застыл на месте от мелькнувшего на мгновение женского тела с одной-единственной грудью: на месте другой красовался багровый шрам. Я затворил дверь и, еле переводя дух, прислонился к ней спиной. Мысли забегали в голове, как муравьи.. Когда все смолкло, я наспех собрал вещи и покинул гостиницу, выйдя прямо на шоссе, ведущее к аэропорту. Мимо проносились редкие и немытые машины. Где-то вдалеке прочищал горло петух. Я сел в старый, накренившийся, как Пизанская башня, автобус и поехал к центру города. Вокруг все производило ужасающее впечатление: почерневшие от дыма дома, ободранный асфальт, река цвета дерьма, жители города в темной одежде и черных очках... То здесь, то там слышались выстрелы и крики. Я сошел на какой-то площади, где находилось здание с часами, и огляделся: люди шли мимо с опущенными головами и печальными лицами. Расспрашивая прохожих, я вскоре добрался до Дома правительства. Здание Дома было порядком попорчено, и казалось, переболело проказой. Стоявшие на входе мрачные охранники долго меня разглядывали, а потом ощупали с ног до головы, но нашли всего-то: документы, билет, этот блокнот, что ты подарила, и еще небольшую сумку. Я объяснил, кто я и какова цель моего приезда в Грузию, и мне сказали, что глава государства отбыл утром в Сухуми. Чуть не сошел с ума, услышав это! «И когда же он вернется?» — еле смог выговорить я. «Этого он и сам не знает...» — ответили со злой усмешкой... Больше я никому не звонил и не помня себя снова помчался в аэропорт. По дороге потерял ту небольшую сумку; может, ее украли.

Аэропорт был переполнен нервными военными, которые словно что-то доказывали друг другу, крича во весь голос и размахивая руками. Покупать билет было не нужно. Перед тем как протиснуться в один из самолетов на Сухуми, я заметил двух приезжих журналистов и заговорил с ними. Один из них был бельгиец, другой — француз. Узнав о моих планах, они удивленно пожали плечами и сказали, что в Сухуми творятся ужасные вещи и что все бегут оттуда, но я был слишком возбужден, чтобы обратить внимание на их слова. Надо же мне было встретиться, в конце концов, с этим неуловимым главой Грузии!.. В салоне самолета, в котором я летел, не было пассажирских сидений, и вообще он скорее походил на переполненный трамвай... Во время полета наш самолет пытались подстрелить три раза, но, к счастью, мы были очень высоко и снаряды не долетели на несколько метров. В иллюминаторе я сумел различить все три...

В общем, здесь война в самом разгаре, а у меня во рту мышиный вкус и хочется домой, но выбраться отсюда не удается — хочу надеяться — пока... Я уже начинаю верить, что судьба нарочно закинула меня сюда, чтобы я тебе обо всем писал, мама...»

* * *

Месяц назад в большом зале санатория состоялось заседание Генштаба, на котором было принято решение о прекращении гражданских рейсов в Тбилиси, потому что в самолеты прокрадывались переодетые в штатское

дезертиры. Постановили также, что будут выполняться регулярные полеты раз в неделю с целью переправки тел погибших в столицу. Постановление было подписано, руководство нас, можно сказать, благословило и в сопровождении охраны и журналистов отбыло обратно в столицу. На этом авиадвижение было прекращено. Мы с Петро остались в зале на лишние полчаса. Кроме нас там были еще трое или четверо военных.

— Пойдут прятаться в семьи... — сказал Петро.

— В какие семьи?.. — не понял я.

— Которые отказались взять в руки оружие...

— Но будут ли эти семьи прятать их у себя?

Петро бросил на меня насмешливый взгляд.

— А ты бы не стал?

Я зажег сигарету.

— Что же ты не вышел и не рассказал об этом?...

— И что от этого изменится? Они не хотят воевать, от страха мочатся под себя и воняют; пусть прячутся — ненужный балласт все равно нужно сбросить.

— Вот и сбросили бы... — сказал я двусмысленным тоном.

Петро махнул рукой.

— Да дело и не в этом...

Мне стало любопытно.

— Подозрительный я стал в последнее время, все толкую как-то посвоему. Если я здесь не погибну и вернусь домой, наверняка сведу с ума жену; она от меня уйдет. И так уже собирается...

Петро хлопнул меня по плечу. В это время некто с длинными волосами приоткрыл дверь и, просунув в нее голову, окинул взглядом весь зал. Все, кто там были, включая и нас с Петро, сразу замолчали и уставились на длинноволосого. Сперва я подумал, что это женщина, но потом понял, что ошибся.

— Смотрите, иностранные гости к нам пожаловали! — сказал Петро и, взяв у меня мою наполовину выкуренную сигарету, встал.

Незнакомец был одет в болотного цвета джинсы и майку и держал в руках блокнот, светлые волосы падали ему на плечи. «Здравствуйте!» — поприветствовал он нас на русском с сильным акцентом, и мы убедились, что перед нами иностранец. «Видимо, успел на последний рейс», — мелькнуло у меня в голове, и, как выяснилось позже, я был прав.

— Я хотел бы встретиться с главой государства, — прожевал фразу длинноволосый и белозубый иностранец и улыбнулся милой иностранной улыбкой.

Петро выпустил изо рта большое кольцо дыма и посмотрел сквозь него на парня.

— С кем, говоришь?

— С главой Грузии, — с почтением и почти по слогам повторил тот.

— Ого!.. — Петро насмешливо повернулся в сторону военных. — Так, кто из вас глава Грузии?

Военные подавили смешок и ничего не ответили. Тогда Петро повернулся ко мне и, хитро подмигнув, спросил:

— Эй, начальник, а может, это ты, и не говоришь?

— Да вышел уже из этого возраста... — не закончил я фразу.

Петро опять обратился к иностранцу:

— Нет здесь никакого главы...

— Как это нет? Почему?.. — задрожал голос у спрашивавшего.

— По кочану! Нет — и все!

— По кочану? — совсем растерялся иностранец.

— Глава Грузии полчаса назад отбыл в столицу, — попытался я разрядить обстановку, но в ответ длинноволосый парень посмотрел на меня

с еще более беспомощным видом; казалось, еще немного — и он упадет в обморок.

— Самолеты ведь не летают, как этот несчастный его нагонит?.. — опять повернулся ко мне Петро. Не успел я что-либо ответить, как раздался звук падающего тела: иностранец лежал на полу без сознания.

* * *

«Первое, что я увидел, когда очнулся, был обшарпанный потолок с фигурами. Концентрируясь на нем взглядом, я старался вспомнить — что со мной произошло. Потом кто-то кашлянул, и я повернул голову: на стульях сидели двое в военной форме и, улыбаясь, смотрели на меня. Один был слегка седоват, другой казался моего возраста. Я их не узнал. Комната, в которой мы находились, имела прямоугольную форму и выглядела как обыкновенный гостиничный номер. Я лежал на кровати и почти ничего не помнил. Тот, который был постарше, рассматривал мой паспорт, и все это очень походило на сон, но почти сразу я понял, что не сплю и что явь явнее, чем когда-либо. Вопрос — где я? — вызвал оживление на их лицах. Пожилой военный ответил мне на чистом русском, что я в зоне конфликта, и опять заглянул в мой паспорт.

— Откуда ты здесь взялся, Шопен? — спросил он немного погодя. Я постарался собраться с мыслями, чтобы ответить, но у меня не получилось...

У молодого был дружелюбный вид, он приветливо улыбался.

— Ну чем не Дэйв Гилмор, а? — обратился он к сослуживцу и потрогал мои волосы. Я вспомнил, что и в редакции не раз отмечали мое внешнее сходство с Гилмором.

— Или Шопен... — хрипло откликнулся тот, и я вспомнил также Шопена, и то, как ходил в детстве на музыку, и звук метронома, и наше черное пианино, за которым ты со мной занималась. Мне хотелось улыбнуться, но я не смог. Пожилой взял с пола заржавевший чайник, налил в чашку кипяток и поднес к моим губам. Я сделал несколько глотков, чай был без сахара. Я закашлялся.

— У него истерика, — сказал тот парень.

Старший его поправил:

— Не истерика, стресс. Истерика еще впереди...

Потом они поинтересовались моей профессией и, узнав, что я журналист, почему-то развеселились и стали вести себя свободнее. Оказалось, я был единственный иностранный журналист, который не успел на последний рейс в Тбилиси и застрял здесь; как мне объяснили — застрял надолго, так как мы находились в окружении.

Весь этот день я пролежал в кровати, глядя в потолок. Пробовал заснуть, но безуспешно. Вообще-то, мне было не до сна, я чувствовал себя полностью истощенным. Вечером двое моих новых знакомых вернулись и принесли мне миску бульона. Тот, который был младше, сам меня покормил. Его друг мерил шагами соседнюю комнату и курил, глубоко затягиваясь. Выхлебав весь бульон, я почувствовал себя лучше. Они помогли мне сесть в кровати и подложили под спину подушку. Сначала у меня закружилась голова, и несколько минут комната вертелась перед глазами, но потом все прошло. Окончательно придя в себя, я смог лучше рассмотреть новых друзей: у старшего было измученное лицо, но в глазах мелькали лукавые огоньки, а младшему, про которого я подумал, что он мой ровесник, оказалось, только недавно исполнился двадцать один год».

* * *

От нестерпимого зноя все вокруг пожелтело и сморщилось, пот стекал с нас ручьями. Наш болотного цвета виллис с шумом полз по ухабистой дороге, оставляя за собой густые клубы пыли и дыма. Вокруг расстилались выжженные солнцем поля и покинутые сады, а стоявшие там рядами яблони с красивыми спелыми яблоками напоминали большие красные грибы. Я смотрел на них с пересохшим горлом. Шопен возился с камерой, Петро как всегда болтал без умолку и размахивал дымящейся сигаретой, как дирижерской палочкой:

— И моя бестолковая жена говорит нашему соседу: «Мой муж сошел с ума! Приходит ночью пьяный вдрызг и начинает клеить баб по телефону...» А тот пытается меня типа выгородить: «Это он, наверное, не из плохих побуждений. Петро ведь интересная и неординарная личность...» Тогда жена окончательно выходит из себя: «Что значит — не из плохих побуждений?! Заносит в дом всякую заразу! То грибок, то что еще похуже!..» А этот дурак — сосед — и отвечает: «До чего я люблю грибы! Особенно — рыжики».

— Себастич, жара невозможная... А может, покусаем яблоки?.. — спросил я у шофера.

— Отличная мысль! — Петро вдруг протрезвел и посмотрел в сторону яблонь.

— Как скажете, — ответил нам Себастич и стал искать место, чтобы остановить машину.

На этой части поля стояла только одна яблоня. Усыпанная ярко-красными плодами и с засохшими под палящим солнцем листьями, издалека она действительно была похожа на огромный гриб.

Себастич притормозил у обочины. Шопен нацелил на яблоню свою видеокамеру прямо из окна машины, потом выключил ее и стал перематывать пленку.

Я первым вылез из виллиса, утер лоб рукавом солдатской гимнастерки и направился к яблоне. За мной шел Петро.

— И дома война! И здесь война! Повсюду война!.. Эх, отоспаться бы всласть!.. — услышал я сзади его голос.

Шопен оставался у машины и, прильнув к глазку видеокамеры, просматривал отснятое. Себастич мучил радиоприемник. Не дойдя шагов двадцати до тени дерева, я услышал восторженный возглас Шопена:

— Кока! Иди сюда — что покажу!..

— Он определенно чувствует себя как в кино, блин!.. — проворчал Петро и в очередной раз глубоко затянулся сигаретой. Он пошел дальше, а я повернул назад к машине.

Широко улыбаясь, Шопен стоял с протянутой в мою сторону камерой.

— И что там такого особенного? — спросил я насмешливо и взял у него камеру.

— Посмотри, какой кадр!

Только я собрался взглянуть, как вдруг мощной взрывной волной меня вместе с камерой отшвырнуло на потрескавшуюся землю. С Шопеном произошло то же самое, а наш виллис вместе с шофером Себастичем за доли секунды подпрыгнул и завалился на бок.

Не знаю, сколько я так провалялся. В ушах стоял страшный звон, и было ощущение, что голова распухла до немыслимых размеров. Рядом слышался стон Шопена. Я смог повернуть голову...

Дерева с красивыми плодами там уже не было. На его месте зияла огромная яма, из которой валил густой черный дым. По всему полю валялись ярко-красные яблоки.

Не было там уже и Петро...

* * *

«Дорогая мама, мы с Кокой находимся в местном военном госпитале, лежим в одной палате, она большая. Нас здесь всего двенадцать — молодых и пожилых. Некоторых привезли недавно, а некоторые уже выписываются. В нашей палате в основном лежат не тяжелораненые и контуженные, мы с Кокой относимся к последним. Только не волнуйся, главное, что мы живы. А вот пана Петро разорвало на куски, даже кости не смогли собрать. Оказывается, что земля под той большой яблоней была заминирована, и как только он ступил на нее ногой, рвануло... Вообще-то туда — к дереву — первым направился Кока, он раньше всех вышел из машины, но я позвал его, и поэтому он вернулся, а Петро продолжил путь. Я не знал, что так будет... Я просто позвал его, чтобы показать отснятые мной кадры: огромную свинью, и выражение его, Кокиных, глаз, когда он на нее смотрел, и как его стошнило... Что было потом, уже не очень помню. Взрывом нас сбило с ног и швырнуло в стороны. Хорошо еще, что наша машина вместе с шофером не перевернулась, а только завалилась на бок, его бы там точно раздавило. Он тоже жив — Себастич — и лежит в одной палате с нами. При падении он откусил себе половину языка; пока еле бормочет, но, когда ткани заживут, сможет говорить — на своем родном грузинском. Главное — что не погиб. Мы с Кокой на целую неделю лишились слуха; очнувшись в общей палате, оказались в каком-то бессмысленном и неопределенном положении: люди вокруг жестикулировали, открывали рот, совершали разные действия, но все это происходило, как в немом кино, — звука не было. Я по-настоящему испугался, перспектива остаться глухим на всю жизнь заставила меня потерять сознание. Но придя в себя, я начал, хоть и с трудом, различать звуки и понял, что слух мало-помалу возвращается ко мне. Это было большим облегчением. С другой стороны, быть контуженным или оглохнуть далеко не так страшно, чем погибнуть, как Петро. У него остались жена и два белокурых сына, он о них много рассказывал, и вообще Петро любил поговорить и постоянно курил... Его больше нет, нет даже и его останков. Иногда я чувствую себя виноватым, такое ощущение, словно я как-то причастен к тому, что он погиб. Я совсем запутался... Делать записи в подаренном тобой блокноте я продолжил вчера — на шестнадцатый день после случившегося. А до этого время было заполнено сном, лекарствами и небритыми врачами... Сегодня мы уже в порядке: еще не встаем, но все общаемся друг с другом. Даже Себастич как-то по-особенному бормочет. Кока спросил, сколько времени прошло с моего приезда сюда, но я не смог ему точно ответить, потому что не помню. Наверное, чуть больше трех месяцев... или четырех. Чего я здесь только не насмотрелся. Вначале, когда мне сказали, что пока нет возможности отсюда выбраться, я даже немного обрадовался, потому что ничего не знал о войне и видел ее лишь в кино и по телевизору, а так близко — никогда; подумал, что получится серия крутых репортажей из горячей точки с соответствующим фотоматериалом. Эффект был бы огромный: «Элитный польский журналист один-одинешенек на чужой войне…» Думал, позвоню тебе отсюда и обо всем расскажу, но не смог этого сделать ни в первый, ни в последующие дни, потому что связь с внешним миром была здесь простонапросто прервана, хоть я и долго надеялся на то, что она восстановится. Вместе с местными я объехал всю внутреннюю территорию. Несколько раз мне разрешили присутствовать при обмене военнопленными. Кока и пан Петро оказались сотрудниками пресс-центра... бедный пан Петро!.. Второй блокнот я весь заполнил разными интервью, у кого только не брал: солдаты, начальство, раненые, медперсонал, пленные... Всякие истории получились — и страшные, и смешные. А потом вдруг этот взрыв. Кока говорит, что он мой должник... Я уже потерял последнюю надежду, ни во что и ни

в кого не верю, включая себя и Коку. Мы все еще в сплошной осаде. Такое ощущение, что все кончено и что я тоже перестал существовать. По ночам мне постоянно снится Варшава, а как только проснусь — во рту опять этот противный мышиный вкус. Жизнь течет без изменений — военный госпиталь, запахи разного происхождения, вермишель, во всех палатах перевязанные бинтами раненые солдаты, «Амра» — сигареты без фильтра, в которые, говорят, кладут тот же табак, что в «Мальборо», и, кажется, так оно и есть... Время словно застыло. Я не могу так больше, я не выдержу!.. Недавно мы узнали, что к нам в госпиталь привезли взятого в плен дюжего боевика, владеющего множеством ценной информации и убившего в этой войне более двухсот человек; он был тяжело ранен в ногу, и, чтобы избежать гангрены, нужно было ему срочно делать переливание крови. Из конца коридора часто слышался его рев, пленный крыл страшным матом всех и вся. Однажды за очередным таким выступлением последовало несколько выстрелов — один за другим, тогда весь госпиталь встал на уши. Оказалось, что раненый пленный категорически был против того, чтобы ему перелили грузинскую кровь; в итоге лежавший в одной палате с ним раненый грузинский солдат не вытерпел и выпустил в него почти всю обойму из своего оружия, висевшего на спинке кровати. Этого солдата отдали под трибунал и приговорили к расстрелу, приговор должны были привести в исполнение через три дня; то, что из-за него потеряли ценного военнопленного, приравняли к измене Родине; должен был состояться обмен военнопленными, и этого боевика собирались выменять на двадцать грузинских солдат, но после происшедшего число грузинских пленных сократилось до пяти... И почему я здесь оказался? Именно я и именно здесь? Разве я был готов к войне и миру?.. «Так продолжаться не может», — повторяю сам себе днем и ночью и все равно не знаю, что могло бы стать выходом из положения, не знаю, что делать, не знаю, как победить бессонницу, не знаю, как унять нервы, если они у меня еще остались. Скорее я сам один большой нерв. Не сплю и не бодрствую... Нужно выбираться отсюда, но как? Разве только — умереть... Именно небытие — мрак — меня и притягивает. Не знаю; кажется, я уже на все махнул рукой, а может, это злость. Или и то и другое вместе. Я все повторяю сам себе, что так не может продолжаться, но факт, что может... И как я умудрился сбиться с пути? А вдруг это и есть предназначенный мне путь?.. Кока говорит, что это пройдет и что это невроз. Пан Петро говорил то же самое. Пройдет — но когда? Хочу, чтобы было как раньше, когда я жил дома. Но так уже все равно не будет. Наверное, тогда я был гораздо младше по своим ощущениям или сейчас слишком серьезен для того, чтобы быть таким, как прежде. Столько вопросов накопилось... Хочется уснуть и проснуться где-нибудь далеко отсюда и другим человеком. Уже невмоготу здесь находиться... Где же Он, Бог?»

* * *

— Повсюду! — ответил я Шопену, закрыв его черный блокнот. Я сел в кровати.

— Где — повсюду? — разозлившись, раскричался Шопен и тоже сел. — Ну где? Может, в этой палате? Или в той яме после взрыва и даже яблоне?

— Не кричи, люди спят. Он везде! — повторил я и начал одеваться.

— Это забытое Богом место, — внезапно успокоившись, сказал Шопен и посмотрел в окно. — Он забрал к себе пана Петро, а нас — живых мертвецов — оставил здесь...

— Сегодня собираются расстрелять того парня, а ты о чем думаешь! — сказал я.

— Какого парня?

— Который изрешетил пулями пленного на кровати...

В нашей палате ненадолго воцарилось молчание.

— Выяс’или, — подал голос Себастич, слабо справляясь с артикуляцией.

— Что выяснили? — напрягся Шопен.

— Они ока’ались дальними ‘одственниками! И чтобы пленного не пытали, он выпустил в него все пули и из-за го’дости гово’ит — не выте’пел...

— Что говорит? — не понял Шопен.

— Ну что он так от’еаги’овал на его ‘угательства в отношении г’узин...

Мы опять замолчали.

— Давай что-нибудь придумаем! — повернулся я к Шопену.

— Да что там придумаешь... Если что и произойдет — то только плохое, — махнул он рукой. — Обратной дороги ведь больше нет?

— Дороги куда?

— Назад... куда...

— Никогда не говори того, чего не можешь знать, — сказал я и встал.

— Никогда не говорить «никогда»?

— Никогда.

— Отсюда вывозят только ме’твых, — пробормотал Себастич.

— Мертвых мертвецов, — добавил я и вышел из палаты.

Во дворе стоял грузовик. Санитары выносили завернутые в простыни тела и осторожно грузили их в кузов.

— Что происходит? — спросил я у моего соседа по палате.

— Собирают тела, чтобы отправить самолетом в столицу...

Я повернул голову в другую сторону. В нескольких метрах стояли пять солдат, ждавших сигнала, чтобы выстрелить в направлении бетонной стены: там стоял осужденный с завязанными глазами и связанными за спиной руками.

* * *

«Мам, Кока, оказывается, все уже давно придумал, и, знаешь, что он сделал ночью? Сказал мне не спать, даже погрозил кулаком. Да я и так бы не заснул... В полной темноте мы прокрались к грузовику. Там Кока насовал мне в карманы камней, потом завернул меня в заранее приготовленную белую простыню и положил в кузов грузовика, с трудом уместив между мертвых тел. Я не сопротивлялся, мне все уже было безразлично, и даже не помню — что он мне сказал на прощание, когда оставлял лежать среди трупов упакованного и пахнущего, как труп... Позже меня вместе с другими телами погрузили в самолет. Никто ничего не заподозрил в этой кромешной тьме, тем более что и я, завернутый в простыню и отяжелевший от камней в моих карманах, лежал без движения и почти не дышал, словом, мало чем отличался от настоящего трупа. Как только самолет поднялся в воздух, я кое-как высвободился из простыни. В салоне, как и тогда, не было пассажирских кресел, были лишь упакованные и лежащие друг на друге тела мертвецов... Спертый трупный запах, запах смерти, наполнял мои легкие, и я понял, что долго не выдержу. Между телами посередине был оставлен узкий проход, ведущий к кабине пилота; нужно было как-то до нее добраться. Я начал ползти туда. Самолет трясло, как в лихорадке, и трупы то и дело падали на меня; не хватало воздуха, и несколько раз мне становилось плохо вплоть до потери сознания. В итоге до кабины не дополз. Когда самолет приземлился, я пришел в себя и, затаив дыхание, почувствовал, как ко мне возвращаются силы и надежда. Не став ждать, пока подкатят трап, я сам до появления пилота открыл дверь самолета и

спрыгнул на землю... Уже начали выгружать тела, а я все еще стоял на коленях и, освобождая карманы от камней, целовал ночной асфальт в тбилисском аэропорту; по моим щекам текли слезы. Потом, встав на ноги и оглядевшись, я увидел неподалеку еще один самолет. Он был намного больше и явно гражданский. Вокруг сновали какие-то люди в форме. Вдруг рядом раздался чей-то хриплый голос: ««Москва» уже вылетает». Недолго думая, я побежал к тому самолету, к его борту был уже приставлен трап, по которому поднималось огромное количество людей...

Я уже сижу в салоне самолета и опять пишу в своем блокноте. Обязательно сделаю одну вещь, когда прилечу в Москву: прямиком пойду в польское посольство. У меня есть немного денег, сколько — точно не знаю: Кока дал пару русских купюр. Что потом — неизвестно, но хуже, чем было в последние четыре месяца, точно не будет. Я обязательно доберусь домой и прочту тебе вслух все эти письма, расскажу и о том, чего в них нет. Буду вспоминать обо всем — о тех местах, где побывал, о пане Петро, Коке, который там остался; не знаю, увидимся ли мы с ним когда-нибудь еще. Кока сказал, что он мой должник; он отказался бежать вместе со мной. Думаю, у нас бы и не получилось убежать вместе: ведь это он все подготовил и помогал мне, а если бы мы оба были завернуты в простыни, кто бы проделал всю остальную работу?.. Кока сделал для меня все, что было нужно, и остался там, где мертва надежда, остался с родными ему людьми... Спать хочется страшно. У меня в кармане еще два камня осталось. Один назову Кокой, другой — Петро... Глаза уже закрываются, все равно пишу. Мой рейс — №929 «Тбилиси—Москва». Перед тем как закончить эту запись, скажу, что очень хочу, чтобы, когда я засну, мне приснились пан Петро и Кока, чтобы во сне пан Петро опять курил, а Кока его фотографировал, и чтобы они оба смеялись, чтобы я снимал их на видеокамеру и ощущал бы тот противный мышиный вкус как привычный фон всего, что случилось, а пан Петро как обычно восклицал бы хриплым голосом:

— Шопен, Кока! А вы знаете, что мой дядя пропал без вести в 42-м во время Второй мировой войны; он так и не вернулся домой. Так вот: когда мы вернемся домой, и факт, что это обязательно произойдет, меня там будет ждать новость о том, что дядя жив и живет в Амстердаме, но что он уже при смерти и оставляет мне в наследство все свое имущество. Ну, как вам это?

— Я бы не отказался, — ответил бы я.

— И я! — согласился бы Кока.

— Знайте, что двери моего дома для вас всегда открыты!

— И в Амстердаме? — засмеялся бы Кока.

— Уже и в Амстердаме, — ответил бы, подмигивая, пан Петро...

Не знаю, суждено ли моим желаниям и тем более снам когда-нибудь сбыться. Может, если смогу забыть мышиный вкус... Что ни говори, война равносильный соперник жизни... Точка. Ночь на 14 сентября 1993 г. Грузинское небо».

Перевод с грузинского Анны ГРИГ.



ГУРАМ МЕГРЕШВИЛИ

Игра в распятие

Рассказ

Думах

Их кресты тащили мулы, а Господень — кто-то из местных. Один оказался лишним: солдаты не знали, что одного из преступников помиловали, и рассвирепев от мысли, что придется тащить тот крест обратно, стали избивать приговоренных к смерти. В другой раз Думах, может, как-то и отреагировал бы на все это, но сейчас, надеясь, что находящийся рядом с ним Господь воздаст им сполна, безропотно терпел удары бичом.

Народу было немного: несколько центуриев, трое или четверо зевак, неизменно присутствовавших на каждой смертной казни, местный пьяница, мать Господа, его тетя, сестры и один или двое из его учеников. Сзади стояли еще какие-то люди, но Думах не смог их разглядеть издалека.

Первым распяли Господа. Глухо отзывались вбиваемые в дерево гвозди и стон Йешуа.

— Справа или слева? — спросили Думаха, будто было не все равно, где он умрет. Над ним издевались. С горечью Думах подумал: «Ничего, еще немного, и он их всех уничтожит, даже пылинки не останется».

— Справа, — ответил он с отвращением и сплюнул центурию под ноги.

Взгляд Думаха был неотрывно устремлен к небу, словно он надеялся увидеть там знак. «Он их уничтожит... но чего он медлит?»

Вторым подняли крест, на котором должны были распять Тита.

Они играли в эту игру все детство — распинали друг друга на деревянном кресте. Ее придумал Йешуа. Титу она не нравилась, он боялся, а Думах считал ее забавной. У Йешуа получалось лучше всего: он ложился на предполагаемый крест, а другие вбивали в него предполагаемые гвозди.

Терпеть, как это происходит на самом деле, оказалось намного труднее, чем представлял себе Думах, и, впервые почувствовав боль, он по-настоящему испугался.

«Он не Бог. Нам морочили головы!» — успел он подумать, и крест подняли. Глядя сверху, людей казалось меньше. На глаза ему попалось умиротворенное лицо матери Йешуа, Марии, и у него вновь появилась надежда. «Он сейчас сойдет с креста, освободит нас и отомстит им».

В детстве он звал Марию мамой. Она растила его вместе с Йешуа как родного сына, но Думах никогда ее не любил. Он завидовал тому, что она была всегда такая спокойная и чистая душой, часто молилась и была совсем не похожа на его собственную мать, Ривку, которая торговала телом в центре Иерусалима и которую он ненавидел, не в силах простить ее за это. Иногда ему казалось, что мать тоже его не любила. По утрам она, пьяная и истасканная, приходила к близнецам, будила их и забирала домой. Каждый раз Мария без слов протягивала Ривке корзину, полную еды и новой одежды для мальчиков, но та никогда ее не благодарила. В такие моменты

Думах одинаково сильно ненавидел обеих: Марию за ее доброту, Ривку — за ее равнодушие и неблагодарность.

Впервые женщины встретились в пустыне. Отец Думаха, Лебея, был известным в том краю предводителем банды разбойников. Его люди напали на направлявшихся в Египет Марию и младенца Йешуа. У самого Лебеи недавно родились близнецы, поэтому он сжалился над неимущей молодой женщиной и ничего у нее не взял, даже подарил ей накидку и зазвал к себе. Как потом рассказывали Думаху и его брату, одному из близнецов стало очень плохо, было мало надежды, что он выживет. Мария подошла к младенцу и капнула ему на губы несколько капель молока. Он тут же выздоровел. Тит и Думах не знали наверняка, который из них приходился Господу молочным братом, но Думах всегда считал, что это он, тем более что, в отличие от него, его брат-близнец никогда не верил в Йешуа.

И все-таки, может, это Тита тогда спасла Мария, и потому его крест все еще пуст...

Думах почувствовал на себе взгляд Марии. Она нисколько не изменилась и все еще была похожа на двадцатилетнюю девушку, только еле заметные морщинки появились вокруг глаз. Несомненно, она и сейчас воспринимала его, распятого на кресте, как собственного сына и просила для него милости у Йешуа, тоже распятого и терпевшего ужасные мучения неподалеку от Думаха.

«Смерть неизбежна: это всего лишь игра, нас дурачили. Все, все это ложь!» — Думахом овладело отчаяние. Даже она здесь — его любимая женщина, она стоит рядом с Титом, которому следовало бы висеть на третьем кресте. Наверно, ему просто кажется, что они стоят слишком близко друг к другу... Он всегда подозревал, что Тит тоже влюблен в Хаю, но не осмеливается в этом признаться. Наверняка вечером они где-нибудь уединятся и будут говорить о нем и Йешуа, которые к тому времени будут лежать в гробнице...

«Если ты действительно Бог, сделай что-нибудь!» — хотелось ему прореветь, но было неудобно перед Марией, было неудобно из-за тех самых минут, когда она кормила их — Думаха, Тита и Йешуа — маленьких и сидящих рядышком под старым деревянным навесом. С детства они все знали, что Йешуа — Бог, но Мария никогда его не выделяла и одинаково относилась ко всем троим. Это и раздражало Думаха больше всего. Единственным ребенком, к которому она относилась с особой теплотой, была сирота Самра.

Она тоже была здесь. Когда мать Думаха повела Самру в Иерусалим и заставила торговать собой, девушка стала называться Марией. Но для Думаха она всегда останется Самрой, ведь в детстве они спали в одной постели и ели из одной тарелки. Два года назад, проходя по кварталу блудниц в Магдале, он напоролся на нее в одном из домов и то ли огорчился, то ли обрадовался... Думах был всегда рад общению с блудницами. Самра встретила его очень приветливо, накрыла на стол и стала расспрашивать о делах. Он отвечал коротко и сухо, а потом вдруг начал раздеваться.

— Что ты делаешь? — спросила женщина, отводя взгляд, словно никогда до сих пор не видела обнаженного мужчины.

— Собираюсь получить то, за что я заплатил, — ответил Думах и изнасиловал ее.

Позже он узнал, что Самру собирались забросать камнями, но Йешуа ее спас. И если Йешуа спас от смерти блудницу, разве не естественно, что он спасет своего молочного брата?..

На мгновение у Думаха затуманился разум, но прикосновение мокрой тряпки к губам привело его в сознание. Время не ждет, еще немного и они не смогут выносить эту боль, они истекут кровью.

Тит и Хая все еще вместе. Женщина стоит с поникшей головой и лишь время от времени поднимает ее, чтоб взглянуть на того, кто смотрит на них обоих с отвращением.

Думаха схватили в ее доме. Он и Тит сидели за столом и ели при свете лампы, когда ворвались четверо вооруженных людей и скрутили им руки. Незадолго до этого братья спрятали кошель с деньгами, который отобрали у убитого, за пределами города, соответственно, только они сами знали о его местонахождении. Теперь Тит сможет присвоить себе все золото, и женщина тоже достанется ему. А того купца из Египта убили по справедливости, и деньги здесь ни при чем: близнецы только потом обнаружили, что они у него были. Но та, из-за которой Думах взял на душу грех убийства, стоит сейчас рядом с его братом, и наверняка вечером после небольшого количества красного вина их тела сольются воедино...

— Все это несправедливо, Господи! И ты тоже несправедлив!

Свидетель сказал, что видел на месте убийства лишь одного человека, и почему-то решили, что этим человеком был Думах, а не Тит. Или, может, просто взяли и освободили одного из двух...

Когда его с Йешуа повели в северо-восточном направлении, у него появилась надежда. Думах и раньше знал, что его должны будут распять вместе с каким-то пророком, а кто еще это мог быть — кроме Йешуа, который за последние несколько лет стал самым известным человеком во всей Иудее.

Думах вспомнил Бога, распятого в детстве на предполагаемом кресте. Он с трудом повернул голову, чтобы взглянуть на что-то невнятно бормочущего Йешуа. Несколько собравшихся там зевак кричали Богу: «О, царь, спаси себя!» Думах вдруг вспомнил, как смеялись над их игрой соседские дети: «А где крест, где он?» — хихикали они; в такие минуты ему было стыдно, что он играет не с ними, а с Йешуа и Титом. Но у Бога была некая сила: он молча приближался к этим детям, и от одного Его взгляда они сразу замолкали. Почему же он просто не посмотрит на этих четырех мерзавцев, кричащих ему разные гадости, и не заткнет их?..

«Заткнитесь!» — сам проревел им Думах. Это очень развеселило солдат. Единственным, кто до сих пор ни на что не реагировал, был тот местный пьяница. Подобно ребенку, оказавшемуся среди незнакомых ему людей, он переходил с места на место и удивленно озирался вокруг.

Один из солдат намочил тряпку сперва в воде, потом — в уксусе и поднес к губам Йешуа. Бог отвернул лицо и этим еще больше позабавил всех присутствовавших.

Думах был готов взорваться от бессилия. Если бы он мог высвободить хотя бы одну руку и взять нож, то воткнул бы его себе в сердце. Он повернул голову к Йешуа и проревел:

— Чего ты ждешь? Ты же Бог, сделай что-нибудь, освободи нас — и себя, и меня! Покажи им всем свою силу, уничтожь их! Йешуа! Йешуа!!.

Четверка зевак начала смеяться, предполагая, что это, должно быть, советник или главнокомандующий царя иудеев, и Думах, не в силах совладать с горечью, начал поносить распятого рядом Йешуа. Это было последней надеждой рассердить Бога, но он молчал. Его голова свесилась на грудь, и на секунду у всех промелькнула мысль, что Йешуа умер. Один из солдат приблизился к нему и приподнял ему голову.

— Он умирает! — сказал солдат и ткнул его в бок копьем.

— Отче, прости им, ибо не ведают, что творят! — вырвалось у Йешуа, и все замолкли. Только Думах не прекращал ругаться, словно слова, которые он выкрикивал, были написаны на земле.

Те четверо опять стали издеваться, мол, посмотрите на него, возомнил, что он и вправду Бог. Они начали бросать камни в распятых. Местный пьяница в это время, вооружившись подобранной с земли палкой, с ревом набросился на зевак.

— Что вам нужно от этого человека, что вам от него нужно?! — кричал он во все горло и не замолкал до тех пор, пока один из солдат не ударил его по голове рукояткой мотыги.

«Всемирная литература» в «Немане»

Самра плакала. Хая тоже. Не плакала только Мария.

Тит упал на колени. Никто не издавал ни звука. Только Думах не прекращал ругаться, словно слова, которые он выкрикивал, были написаны на земле.

«За что я так наказан? За какие грехи?! Господи, если ты действительно существуешь, почему ты так обходишься со мной? Неужели убийство египетского купца такое уж большое преступление? Неужели так мало добра я сделал в этой жизни? Неужели я не заслужил лучшей смерти, чем это позорное распятие на кресте?»

Думах вспомнил, как он встретился с Йешуа в последний раз до их распятия. Бог со своими учениками гостил тогда у начальника сборщиков податей в Хоразине. Двое из учеников попросили своего Учителя посадить их рядом с ним по правую и левую руку, когда они войдут к нему в Царство Небесное, и тогда Йешуа сказал им: «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим».

«Это и есть доказательство того, что Йешуа не Бог, он же прямо сказал. И как я не догадался сразу?!»

Он ждал и надеялся на спасение, распятый на кресте, тем более что взял на себя и преступление брата. Зачем?..

— Если б я мог, я бы сам тебя убил, Йешуа, за мою исковерканную жизнь! — кричал Думах. Он бросил взгляд на Марию и подумал, что нечего было ее стыдиться и что нечего стыдиться кого-либо, через час он все равно умрет.

— Ненавижу тебя, ненавижу! Ненавижу за то, что так верил в тебя и так обманулся! — прокричал напоследок Думах и заплакал.

Надежда умерла. Рядом с ним распяли на кресте обыкновенного человека, человека, которого он чуть не принял за Бога.

Небо приобрело янтарный оттенок, начался дождь. Йешуа уже давно был мертв. Его тело сняли. Думах тоже умер, но не знал этого. Боль исчезла. Его телом словно завладела пустота, а неподвижный взгляд широко раскрытых глаз был устремлен на брата и любимую женщину, в нем читался один-единственный вопрос — зачем?

- -

Губы у Тита слегка скривились, как будто он собирался что-то сказать перед смертью, и все части его тела безжизненно повисли. Все думали, что и Йешуа давно умер, но он вдруг пошевелился, поднял голову к янтарному небу и что-то крикнул.

До последнего издыхания Йешуа ослабшим голосом молил того, кто был распят рядом с ним на кресте, за все его простить и вспоминать о нем после смерти. Это вызвало изумление у всех там присутствовавших, а центурий проговорил про себя: «Может, он и вправду пророк, а мы этого не поняли», — и рявкнул на солдат.

Тит с любовью и тяжелым сердцем посмотрел на Йешуа: все детство и позже он считал его простым плотником, тогда как все остальные — Богом. И Йешуа, и Мария, на которую Тит боялся сейчас взглянуть, наверняка догадывались об этом.

Перед распятием у Тита не было ни малейшей надежды, но когда Йешуа начал молиться за издевавшихся над ним людей и просить Отца своего небесного «простить им, ибо они не ведают, что творят», его сердце наполнилось теплотой. Если б мог, он бы сошел с креста и обнял распятого рядом Йешуа, чтобы сказать ему: «Прости мне все, брат, прости мне, что я сомневался в тебе, ты Бог наш воистину, я это чувствую». Разве можно убивать его, этого человека?! Он сам, Тит, заслуживает наказания за убийство египетского купца, и может, даже наказания более сурового, но — Йешуа? Йешуа, никогда и никому не делавший зла, позорно распят на кресте вместе с разбойником и убийцей!

Тита распяли случайно, но он заслужил это. Свидетели сказали, что заметили на месте убийства только одного человека, а судья так и не смог выяснить кого — Думаха или Тита. Хотели заставить признаться в преступлении их обоих, но Думах упорно отрицал свою причастность, утверждая, что провел ночь с иерусалимской блудницей и что, если его брат-близнец в это время кого-то и убил, он с этим никак не связан.

Потом Думаха оправдали, а Тита приговорили к распятию на кресте. Когда их отвели обратно в камеру, они не разговаривали. Тит был обижен на брата за то, что тот его предал. Они ведь вместе совершили то убийство, и совершили его не из-за женщины, а именно из-за денег, которые они потом спрятали где-то в окрестностях города под деревом.

Тит был очень зол на брата. Но когда стража удалилась, Думах повернулся к нему и сказал:

— Я знаю, ты обижен, но так лучше. Одного из нас все равно бы обвинили. Ты был бы против, если б я взял всю вину на себя, и это продолжалось бы бесконечно долго или же нас бы обоих приговорили. Сейчас им нужны не мы, а Йешуа, который для них намного важнее. Хоть я и свалил все на тебя, на крест пойду я. Когда придет стража, скажи, что ты Думах, и они тебя освободят. Ты ведь не веришь, что Йешуа — Бог, а я, наоборот, чувствую это! Когда нас будут распинать, небо разверзнется и все, кто будет там, будут уничтожены. Ты помнишь, что говорил Йешуа, когда мы были в доме Закхея в Хоразине? Всего каких-то два часа, и мы снова будем вместе, а потом заберем наши деньги и убежим из этой страны. Но эти два часа тебя будут звать Думах, если это имя будет тебе не в тягость.

Думах засмеялся. Смех брата с детства приводил Тита в дрожь.

— Ты слышал, что я сказал? — спросил его Думах.

— Не хочу, пусть все остается так, как есть. Если он и вправду Бог наш, то спасет нас обоих.

— Ты не сможешь терпеть боль, Тит.

— Смогу.

Думах сильно разозлился, в таком состоянии он обычно краснел и разносил все вокруг. Сейчас разносить было нечего, поэтому он просто сказал:

— Не упрямься. Иди выкопай деньги и жди меня у Хаи.

Услышав ее имя, Титу захотелось поскорее выбраться из тюрьмы, на минуту он забыл обо всем на свете и подумал, что если согласится, и деньги, и Хая достанутся ему, но, застыдившись самого себя, он тут же отбросил эту мысль. Думах всегда искренне верил в божественную сущность Йешуа, но сам он, Тит, всегда знал, что все это ложь. Получалось, что из-за любимой женщины он посылал брата на смерть, и в то же время, выдавая себя за него, Тит все равно ее терял, опять бы она принадлежала Думаху: Хая ведь никогда не умела различать близнецов.

— Нет! — твердо проговорил Тит. — Лучше ты иди к Хае и жди меня там. А Он освободит и себя, и меня...

Позже во время распятия Думах, подобно остальным собравшимся там, тоже стал поносить Йешуа. Он понял, что небо не разверзнется, и что не пронесется над землей огненный ветер, чтобы уничтожить римских солдат, и что спасения ждать неоткуда. Хая была очень бледна и не говорила ни слова. Думах, ругаясь, набросился на лежавшую на земле вниз лицом рыдающую Самру и других женщин. Он собирался сказать Марии что-то очень обидное, но передумал и снова повернулся к Йешуа, продолжая обвинять его во лжи и даже в убийстве.

Сначала Тит тоже смотрел на Йешуа с презрением, словно тот был виноват, что они с братом совершили убийство, но когда сын плотника начал молиться за них, его сердце смягчилось.

«Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят!» — молился Йешуа. Тита с детства удивляло, что его молочный брат обращался к Богу как к родному отцу. «Ничего не прошу, только стою пред Тобой. Отче, прости им...»

— Он умирает, — сказал один из солдат и ткнул Йешуа в бок копьем. Неясно было, что произошло быстрее — полилась ли у Йешуа кровь из раны или разверзлось небо...

Дождь привел всех в чувство. Местный пьяница притащил откуда-то палку и набросился на тех четверых, что издевались над Йешуа в течение всего времени, потом побежал прямо на солдата, приложившего намоченную в уксусе тряпку к губам Йешуа. Другие солдаты вовремя остановили его действия, ударив пьяницу дубинкой по голове.

У крестов остались одни женщины. Тит наблюдал за ними. Кроме Марии, все плакали. Он стеснялся смотреть в ее сторону. Все детство они звали ее мамой — он сам, Думах и Самра, которая сейчас лежала на земле лицом вниз и рыдала. Мария никогда не выделяла никого из детей, кормила их из одной тарелки. Тит всегда мечтал о такой матери, как она. Раньше и он стыдился того, что его мать, Ривка, торговала своим телом, что рано утром она уходила в центр Иерусалима и возвращалась поздно ночью совершенно обессиленная. Ривка подхватывала близнецов на руки — одного справа, другого слева — и несла их домой. Когда Тит немного подрос, ему было не по себе, когда он видел беззубую, преждевременно постаревшую мать, которая ради детей занималась постыдным делом. Соседские мальчишки всегда смеялись над близнецами. Тит в такие минуты прятался, а Думах начинал гнаться за ними с камнем в руке или плакал от ярости.

Единственным ребенком, который играл с ними в детстве, был Йешуа. Другие дети боялись его: когда он приближался, они опускали взгляд или убегали, и поэтому братья чувствовали себя защищенными рядом с ним. Они играли в особую игру — в распятие на кресте, и, прибитые мнимыми гвоздями к мнимому кресту, смотрели на небо.

«Там мой отец», — говорил Йешуа, и все верили, что он Бог, за исключением Тита. Йешуа знал это, но никогда его не укорял. Впоследствии, когда они стали старше и когда у сына плотника появилось уже множество последователей, они встретились в Хоразине — в доме начальника сборщиков податей Закхея. Йешуа встретил братьев-близнецов с большой любовью и сказал им, что даже если они пойдут на крест по своей воле, но их сердца не будут полны любви и раскаяния, им не войти в Царство Небесное, что решает не он, а Отец его.

Как будто все было предрешено заранее, игра в распятие превратилась в настоящее распятие. Они распяты вместе — рядом друг с другом, только вместо других детей на их страдания смотрят уже другие — взрослые, как и они сами, люди.

Думах стоит чуть поодаль вместе с Хаей и хмуро разглядывает тех четверых, не перестающих болтать без умолку. Тит знает, что Думах любит Хаю, но она любит того, кто распят сейчас на кресте.

Его схватили в доме Хаи. Он и Думах сидели за столом и ели при свете лампы, когда в дом ворвались четверо вооруженных людей и скрутили им руки. В тюрьме им сказали, что это она предала их, но Тит не верил, и даже если это было правдой, он бы все равно ничего не сказал брату. Если Хая предала их, она будет раскаиваться в содеянном до конца своей жизни и наверняка будет Думаху еще лучшей женой. Впервые в жизни Тит представил Хаю женой другого, и у него сжалось сердце. Он отвел от них взгляд и снова посмотрел в сторону женщин. Самра молилась, стоя на коленях. Тит вспомнил, как однажды Думах, вернувшись домой, сказал:

— Сегодня в Магдале я видел Самру, она взяла себе новое имя — Мария — и торгует собой.

Последние слова он произнес с таким отвращением, что Титу стало не по себе. Они вместе росли, вместе спали и ели. Самра была младше их, и у нее всегда было слегка удивленное выражение на лице. Ее воспитывала приемная мать, которая сама же отправила Самру в Иерусалим с матерью

Тита. Оттуда она уже не возвращалась. Говорили, что из-за ее редкой красоты Самру собирались забить камнями завистливые блудницы и ревнивые жены, но Йешуа спас девушку. С тех пор Самра всегда находилась рядом с ним. И сейчас она тоже здесь.

«Если не будете полны любви и раскаяния...» — звучали у него в ушах слова его молочного брата, и время от времени он украдкой смотрел на него.

«Ничего не произойдет, никакого огненного ветра не будет», — думал Тит и благодарил Бога за то, что распяли его, а не брата. Он все равно не надеялся на спасение и считал, что заслужил такое наказание. Он ожидал, что обретет покой, уйдя от воспоминания о глазах египетского купца, который открыл их, получив во сне удар ножом.

Терпеть, как в тело вколачивают настоящие гвозди, оказалось намного труднее, чем те, которые они себе представляли в детстве. Его запястья были полностью изодраны, когда крест подняли, все тело повисло на четырех точках, еле выдерживавших его тяжесть.

Первым распяли Йешуа. Тит слышал глухой звук вколачиваемых гвоздей и его стон.

Все, что происходит, происходит с какой-то целью. Разве это простое совпадение, что молочных братьев распяли в один день друг рядом с другом? Тит знал, что тридцать три года назад, когда к ним пришла на ночлег Мария с младенцем Йешуа, она дала одному из младенцев свое молоко и спасла его от смерти. Мать говорила ему, что это был он, но Тит думал, что молочный брат Йешуа скорее Думах, который так верил в то, что он Бог. У самого же Тита нет веры, и может, он даже слишком горд, чтобы называть Богом того, с кем вырос в одном доме. И все-таки, будучи ребенком, он звал Марию мамой и был исполнен к ней особой почтительности. Но куда это все подевалось? Йешуа и Тита только что вместе распяли, один — ее родной сын, другой, хоть и не родной, но тоже сын, а она не чувствует ни страха, ни отчаяния и не ропщет на судьбу. «А что, если Йешуа действительно Бог наш, и я ошибался?» — впервые промелькнула у Тита такая мысль. Он бросил взгляд на собравшихся там людей.

Их было немного: несколько солдат, четверо зевак, которые не пропускали ни одной казни, один местный пьяница, Мария, Самра и двое из учеников Йешуа. Еще кто-то стоял сзади, но Тит не смог разглядеть. Наверно, это были его брат и Хая. Он заметил их, когда его вели на гору.

«Справа или слева?» — спросили у Тита, как будто это имело значение. Над ним смеялись... или это тоже было предначертано. Улыбка тронула его лицо.

— Вы сами решайте! — сказал он, и солдаты бросили монету.

Вторым подняли крест, на котором должны были распять Думаха. Тит сперва почувствовал досаду, но потом пересилил себя и поблагодарил Господа. Его правую руку прибили к брусу креста...

Кресты, на которых должны были распять Думаха и Тита, тащили мулы, а крест Йешуа — случайный прохожий, кто-то из местных. Так вышло, что один оказался лишним: солдаты не знали, что одного из преступников помиловали и, рассвирепев от перспективы тащить тот крест обратно, стали избивать приговоренных к смерти.

Тит кричал и ругался, Йешуа безропотно терпел побои и унижение, не говоря ни слова.

«И это он-то Бог? И это в него-то верило столько людей?» — подумал Тит и взглянул на упавшего на колени Йешуа, у которого на лице было то же выражение, что и в детстве — спокойное и невинное. Титу стало стыдно за то, что он, убийца, и этот человек, осужденный из-за чьей-то прихоти, должны были потерпеть наказание в равной мере.

«Господи, спаси Йешуа!» — подумал он и подставил лицо под удар бича.

Тит

Перевод с грузинского Анны ГРИГ.



ДАВИД КАРТВЕЛИШВИЛИ

Следить ради искусства

Рассказ

1

Двадцать пять лет тому назад в этом здании был детский сад. Мы с мамой приходили сюда каждое утро к девяти часам, кроме субботы и воскресенья. Я оставался, мама отправлялась на работу. К шести она вовращалась, и мы — вместе — шли домой. Каждый раз мне не терпелось оказаться дома. «Не беги, пожалуйста, — говорила мама, — я устала». Тогда мне было пять, и, естественно, я едва ли понимал значение слов типа «ежедневно, кроме субботы и воскресенья» или «работать с девяти до шести». Теперь, спустя двадцать пять лет, вместо детского сада здесь расположилась фирма с названием «Jafaridze &Co». Я один из ее рядовых сотрудников и уже прекрасно знаю — что означают «ежедневно, кроме субботы и воскресенья» и «работать с девяти до шести». Мне уже трудно спешить по дороге домой, я устал... Впрочем — рабочий день только начался, я захожу в здание.

На первом этаже стоят охранники и сидит Елена — администратор. Со всеми здороваюсь и поднимаюсь на второй. Второй этаж целиком в нашем распоряжении — т. е. в ряспоряжении рядовых сотрудников; третий — своего рода гора Олимп со всеми обитающими на ней богами, там я был всего два раза: на собеседовании когда со мной оформляли контракт.

У нас на втором этаже проблема с компьютерами: на двух человек по компьютеру. Олимпийцы обещают разрешить проблему в ближайшем будущем, и мы ждем, что наступит ближайшее будущее. Это самое ожидание и обеспечивает стабильность нашего настоящего существования: никакого бунтарства, никаких выступлений и забастовок, только недовольное перешептывание между собой, и то иногда и с чувством меры.

В комнате нас двое: я и Софо. За компьютером, предназначенным для нашего совместного пользования, в данный момент сидит она. Софо что-то набирает, время от времени поднимая голову и спрашивая у меня разные вещи, как, например:

— Сандро, как ты думаешь, какое здесь слово подойдет для рекламы шоколада: нежный или тонкий?

— Смотря о чем речь.

— О шоколаде... Подожди, я прочту весь текст, — и Софо читает: — «Амбассадор. Он превратит вашу жизнь в праздник» ... а потом... нежная шоколадная начинка или тонкая — ты как думаешь?

— Нежная, — отвечаю я. — Шоколадная начинка может быть нежной, т. е. мягкой и воздушной, но! — продолжаю я тоном всесторонне образованного человека, — тонкий бывает вкус.

— Ты прав, — говорит Софо и продолжает набирать текст.

Фирма «Jafaridze &Co» занимается составлением разного рода рекламных текстов, поздравительных писем и траурных статей. Слово (в частности, грузинское) —

сырье, которое мы обрабатываем! Наши заказчики — люди, переживающие разные эмоции, но не умеющие их выражать в словах! Большинство населения земного шара стоит перед подобной проблемой, но, разумеется, не все обращаются к нам за помощью: мы неотъемлемая часть грузинского рынка.

Некоторое время тому назад в Тбилиси приезжал нидерландский писатель Аарон Грунберг. Я имел возможность побывать на его творческом вечере и был приятно удивлен, когда этот худой и рыжеволосый человек в очках сказал: «В настоящее время я живу в Нью-Йорке и зарабатываю на жизнь тем, что составляю тексты любовного содержания для открыток». И он описал несколько любопытных эпизодов из своей практики.

— Смотри-ка, твой коллега, — подмигнул мне мой друг, стоявший рядом.

— Почти коллега, — уточнил я.

Потом я приобрел его книгу «Статисты». Начало мне понравилось, конец — не очень. Но главное, что, в отличие от меня, этот человек кроме любовных открыток на заказ успевает писать еще и прозу.

— О чем ты думаешь? — спрашивает Софо.

— О себе и Аароне Грунберге, — отвечаю я и спускаюсь обратно на землю... точнее, в офис.

— А кто такой Аарон Грунберг?— спрашивает опять Софо.

— Он нам почти коллега, составляет любовные открытки в Нью-Йорке.

— Вот я, например, предпочитаю опять же писать о шоколаде или стиральном порошке, чем о любви, — говорит Софо, лишний раз обнаруживая тем самым, что в ее личной жизни ничего не происходит.

2

Современный мир целиком и полностью полагается на компьютерные технологии. Это хорошо известно обитающим на горе Олимп богам, и у них в кабинетах стоит по два-три компьютера в каждом. И еще: само собой разумеется, что все обитатели Олимпа хорошо говорят по-английски, ведь сегодня без английского никуда, даже если ты бог.

«Их единственная цель — подчеркнуть свое превосходство, и, когда они убедятся в том, что мы в полной мере впитали в себя это подчеркнутое их превосходство, тогда нам и выдадут компьютеры», — концентрируюсь я на мысли, считая ее абслютно правильной.

Кроме родного грузинского, ставшего привычным русского и необходимого английского мы, рядовые сотрудники нашей фирмы, владеем еще одним языком (хотя и в недостаточной степени, по мнению вышестоящих). Этот язык условно можно назвать языком отношений между нами и обосновавшимися на третьем этаже. На первый взгляд, ничего сложного в его грамматике и лексическом составе нет: «да, конечно», «вы правы, как всегда», «вы абсолютно правы» (слово «абсолютно» в применении к человеку звучало бы неуместно, но другое дело — боги, хоть и локального уровня) и т. д. С другой стороны, сложность тут психологического свойства, особенно если приходится употреблять все эти выражения при постоянном общении с Вахо.

Вахо — офис-менеджер фирмы, вестник богов. Он не принадлежит ни к третьему, ни ко второму этажам, хотя сам нисколько не сомневается в своей принадлежности и держится соответственно. «Да, конечно, вы абсолютно правы», — говорю ему, драгоценному, в который раз и чувствую, как во мне закипает гнев, подкатывая комом к самому горлу (раньше я считал такого рода идиоматические выражения лишенными какого-либо смысла, но теперь уже сам ощущаю силу их выразительности). Одно меня немного успокаивает: через Вахо я общаюсь с ними.

3

Теперь уже я сажусь за компьютер и начинаю вводить текст, написанный на бумаге. Это реклама снотворного. Когда мы были маленькими, называли лекарства от бессонницы — «сонниками», а однажды, мне было тогда четырнадцать, я принял десять таблеток такого «сонника» и отключился на четыре дня. Не надеялись, что выживу. В действительности я вовсе не пытался покончить с собой, просто желал найти другую, новую реальность — из-за неудовлетворенности существующей, а суть эйфории и состоит в этом поиске. Но другой реальности нет, чего я тогда не знал.

Слог за слогом, предложение за предложением рождается рекламный текст: «Страдаете от бессонницы? Попробуйте «Соноо» — новое средство от бессонницы, изготовленное исключительно на натуральных экстрактах!.. И вы заснете вечным сном!..» Последнее предложение, конечно, шутка. Я его убираю и пишу другое: «И вы вернете себе крепкий сон и приятные сновидения!»

Людям нужны гарантии, особенно при обстоятельствах, от них не зависящих. Им нужна гарантия того, что они будут видеть приятные сны.

Поворачиваю голову, чтобы увидеть слева Софо, которая сидит за рабочим столом и что-то пишет. Потом опять смотрю на дисплей и набираю очередной рекламный текст.

4

Бывает время работы, а бывает и время отдыха. Сейчас как раз второе.

Официально в фирме не устанавливали часов отдыха, но неофициально мы отдыхаем с двух до трех.

— Проголодался? — спрашивает Софо.

— Пока нет, — отвечаю я.

— Я пойду поем, — говорит она.

— Ты — что — передо мной отчитываешься? — улыбаюсь я девушке.

— Женщине нравится зависеть от мужчины, ясно?! — возвращает Софо...

Шучу, конечно, ничего подобного она не говорит, но по ее глазам видно, что думает. Она очень стыдливая и прикрывает стыдливость агрессивностью:

— Делать мне больше нечего!.. Отчитываться!.. Может, тебе еще рапорт подать?.. — Софо уходит.

Подхожу к окну, поднимаю жалюзи и открываю его. Зажигаю сигарету. На улице осень, желтые листья падают на землю, время от времени легкий ветерок подхватывает их и уносит все дальше и дальше... Когда судьба, подхватив человека, уносит его далеко от родных мест, это предвещает ему перемены, хотя не известно, будут ли они к лучшему, ведь счастье не может быть гарантировано, как и все остальное в жизни, — все, кроме смерти... Что это предвещает осенним листьям, унесенным ветром, — не знаю, так как быть осенним листком мне не приходилось или, может, приходилось, и не помню. (Последняя фраза может кому-то показаться несерьезной или ненужной, скажу: здесь она к месту, так как свидетельствует, что всезнание — не мой грех.)

Стряхиваю из окна пепел и смотрю на полуоголившиеся деревья и еще на другие — вечнозеленые. Вечнозеленые деревья на самом деле иллюзия — в итоге любое дерево засыхает, поэтому их нужно было назвать «пока-что-зелеными»... Опять шучу. Прекрасное слово — вечнозеленый, просто нужно помнить, что оно обозначает то, чего нет: в итоге любое дерево засыхает.

Бросив окурок на улицу, закрываю окно, опускаю жалюзи и возвращаюсь к компьютеру. Начинаю рыться в Интернете, проверяю почту. Новых писем нет. Потом захожу в лит. форум.

5

На литературном сайте я зарегистрировался месяц назад и поместил все три моих рассказа, там же указав, что это лишь небольшая и к тому же не лучшая часть моего творчества (хотя на самом деле других рассказов у меня нет). Читатели сайта в свою очередь проявили сдержанность, когда оценивали меня как автора, и с тех пор все просят — а я все обещаю — представить на их суд и другие мои произведения.

Интернет — современный «андерграунд», виртуальный форум заменил живые собрания, виртуальный секс заменил настоящий. «Андерграунд» по сути своей одно из самых демократичных пространств из всех когда-либо существовавших, в Интернете же степень демократии стала еще больше. Однако навсегда в «андерграунде» застревают только бесталанные люди, талантливые же рано или поздно выходят из него — на солнечный свет, как любили говорить критики того поколения, и тому свидетельство роскошные издания Бароуза и Керуака.

Я сам еще нахожусь в «андерграунде», в Интернете, в форуме, в котором — параллельно любительской (т. е. начального этапа) — лежит уже признанная проза, отношение к которой не обусловлено личной симпатией к тому или иному автору. Все мы, желающие стать писателями, используем интернет-пространство, инвестируя в него наши первые литературные опыты, таким образом в виртуальном мире — мы начинающие писатели, в реальном же — обыкновенные служащие различных учреждений.

Ставится вопрос: насколько ежедневные служебные обязанности мешают карьере писателя? Думаю, что не мешают, дело в другом: я уже не ощущаю в себе, как раньше, особых литературных способностей (хотя это не означает их отсутствие!), но чувствую желание — единственное лишь желание — писать.

6

Я прочел, что администрация сайта объявила конкурс на лучший рассказ. Эта новость только усиливает мою потребность писать.

7

Все как и должно быть: битком набитый зал, гул голосов, члены жюри уже на сцене. Церемония награждения начинается. У микрофона стоит председатель жюри и ведет речь о сути и цели конкурса, затем выражает благодарность спонсорам и называет количество поступивших текстов, объясняя, что, естественно, произошел отбор, и что многие авторы, конечно же, огорчатся, и что на любом конкурсе, к сожалению, лишь один победитель. Вслед за этим он вынимает из кармана конверт, вскрывает его... сердце у меня начинает биться очень быстро... и после короткой паузы объявляет имя автора лучшего рассказа:

— Премия за лучший рассказ года вручается Сандро Иашвили!..

Все начинают оглядываться, искать победителя — все, кроме меня, потому что я — Сандро Иашвили!.. Передо мной расступаются, одновременно разглядывая, оценивая и запоминая, некоторые поздравляют, я им киваю в знак благодарности. Вот я уже на сцене, принимаю поздравления председателя жюри, который пожимает мне руку, передает приз и уступает микрофон. Чувствую, как раздваиваюсь: один — «я» — стою здесь, на сцене, другой — взлетаю наверх к самому потолку и смотрю сверху на суетливый зал и того «я», бормочущего в микрофон что-то типа «очень растерян, не ожидал...». «Как это банально», — думаю я-с-потолка и начинаю

медленно опускаться вниз, но вместо зала приземляюсь в офис компании «Jafaridze &Co» и занимаю привычное место за компьютером...

Зал, председатель жюри, признание меня лучшим автором — все это выдумка, потому что «лучшего» рассказа я еще не написал.

8

Начинаю обдумывать будущий рассказ. Нужно подобрать тему. Первая мысль, которая приходит мне в голову, написать о детстве, что абсолютно нормально, ведь все мы «приходим из детства», как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, и эти его слова нравятся из-за их тепла и искренности. На самом деле главный смысл высказывания в том, что он раскрывает одну из закономерностей жизни и цикличную структуру мира. Существуют научные теории, согласно которым, если эта структура изменится, а точнее, начнется обратный отсчет времени, жизнь будет начинаться со смерти и старости, а не с рождения. Тогда, быть может, кто-то, подобно де Сент-Экзюпери, напишет: «Откуда я? Я из моей старости. Я пришел из старости, как из страны». И эти слова будут казаться теплыми и искренними, как нам — слова необыкновенного писателя. Однако все это не имеет никакого отношения к моему рассказу, в любом случае — пока.

9

Двадцать пять лет тому назад в этом здании был детский сад. Мы с мамой приходили сюда каждое утро к девяти часам (кроме субботы и воскресенья). Я оставался, мама отправлялась на работу. К шести она возвращалась, и мы — вместе — шли домой. Каждый раз мне не терпелось оказаться дома. «Не беги, пожалуйста, — говорила мама, — я устала». Тогда мне было пять, и, естественно, я едва ли понимал значение слов типа «ежедневно, кроме субботы и воскресенья» или «работать с девяти до шести». Теперь, спустя двадцать пять лет, вместо детского сада здесь расположилась фирма с названием «Jafaridze &Co». Я один из ее рядовых сотрудников и уже прекрасно знаю — что означают «ежедневно, кроме субботы и воскресенья» и «работать с девяти до шести».

Я сижу в офисе и стараюсь вспомнить, каким было это здание двадцать пять лет назад и каким был я сам...

В детском саду справляют елку, я в костюме медведя — коричневый мех и маска, повторяю про себя стих, волнуюсь. Детсадовский актовый зал (на его месте теперь Олимп) заполнен, собрались все: дети, родители, учителя, приглашенные гости, в частности, известные актеры кино Отар Коберидзе и Лия Элиава. Их усаживают на видное место, рядом садится директор детского сада и о чем-то с ними беседует. Гости время от времени улыбаются и кивают головой.

Праздник начинается. Сперва выступает Дед Мороз, потом — Лесная царица, потом — лев, потом — тигр... вот настала и моя очередь: «Мишка косолапый очень любит мед...» — здесь я, запнувшись, начинаю растерянно смотреть по сторонам, опять читаю упавшим голосом ту же строчку, но никак не могу вспомнить остальные. Вконец расстроившись, начинаю плакать — сначала тихо, потом реву вовсю. Первой начинает меня успокаивать Лия Элиава, после — мама, через несколько минут все собираются вокруг меня.

Этот эпизод много значит в моей жизни, но насколько он подойдет как тема будущего произведения? Откидываюсь на спинку стула и склоняюсь к мысли, что не подойдет.

Дверь отворяется, и в комнату входит Софо, за ней следует Вахо. Софо садится на свое место, а он в очередной раз дает мне указания в соответствии с пожеланиями обитающих на третьем этаже.

10

Из окна моей спальни видно церковь св. Георгия. Сейчас ночь, и у церкви золотистая подсветка. Было время, я ходил туда каждые выходные, а по средам и пятницам соблюдал пост. Постепенно я отдалился от религии, это не значит, что стал атеистом, просто моя вера и связанное с ней исполнение религиозных правил стали механическими, больше как бы показными, чем прочувствованными сердцем. Я стал жить другими ощущениями, хотя и не считаю их лучше тех — прежних. Наверное, пройдет время, и я вновь начну ходить в церковь, как тогда — когда умер отец...

А пока я собираюсь лечь спать, отключаю мобильный и кладу его на тумбочку у кровати. Раздевшись, забираюсь под одеяло. Все еще думаю о теме для рассказа. Может, стоит написать о том, как я сперва приобщился к церкви после смерти отца, а затем впал в какое-то тревожное состояние. Сила, которой я не способен был противостоять, заставляла меня биться как рыба об лед (с каждым днем все больше убеждаюсь в меткости идиоматических выражений) и тянула меня прочь из церкви — к улице.

Так я обнаружил, что дьявол никогда не оставляет нас в покое, и что бороться с его властью над нами намного важнее и труднее, чем бороться за спокойствие во всем мире, потому что истинное ощущение умиротворенности приходит, только когда человек в ладу со своей — данной ему свыше — душой.

Натягиваю одеяло на голову. У меня с детства такая привычка, еще мама всегда сердилась: «Перестань так делать! Задохнешься!» Но для ребенка слово «задохнешься» ничего не значит, так же как и «смерть». Тем не менее дети иногда тоже умирают — задохнувшись или от чего-нибудь другого, но самое страшное, когда они гибнут насильственной смертью.

11

Во время войны в Абхазии я увязался за своими старшими товарищами на фронт.

Военный штаб был расположен в школьном здании. Из-за юного возраста мне не разрешили принимать участие в боях и даже не выдали автомат. Тогда это ранило мое самолюбие, но сейчас я понимаю, что, кроме как погибнуть при первом же сражении, никакой другой «пользы» от меня бы там не было.

Вместо автомата мне дали лопату и вместе с остальными такими же малолетками зачем-то послали рыть за штабом большую яму. Нам понадобилось четыре дня, чтоб ее вырыть, и мы не спрашивали, для чего она нужна, беспрекословно повинуясь приказу. У нас были свои предположения, как собираются использовать эту яму: 1) как окоп, 2) чтобы спрятать туда оружие, 3) как могилу — братскую могилу.

Через несколько часов после того, как мы закончили нашу работу, во двор штаба въехал самосвал и остановился у самой ямы. Его кузов начал медленно подниматься и сбрасывать груз: в огромную яму полетели детские трупы...

— Они все здешние, нет смысла перевозить их в Тбилиси, — сказал начальник штаба.

Несколько дней спустя пал Сухуми.

12

Лежу под одеялом. Открываю глаза. Темно. Закрываю. Тоже темно. Слышу свое дыхание. Не прекращаю размышлять о рассказе, который собираюсь написать. С открытыми глазами думать удобнее, с закрытыми — клонит ко сну.

Итак, размышляю о своем будущем рассказе с открытыми глазами. Вокруг темно, как и у меня в голове, единственное, к чему я пришел путем этих долгих размышлений, — не обязательно писать о себе. Вокруг много людей, жизнь которых могла бы составить долгожданный сюжет: друзья, коллеги, мама... Но так случилось, что меня уже давно перестала интересовать чужая жизнь. Поясню: что касается мамы, дороже которой у меня никого нет, мой главный интерес в жизни — ее здоровье, если честно, оно для меня намного важнее, чем то, что она думает или чувствует; может, это из-за эгоизма, присущего моему возрасту. Естественно, душевное состояние моих друзей волнует меня еще меньше, не говоря уже о коллегах: мне даже не известно, есть ли у них душа вообще.

Таким образом, делаю следующие выводы:

1) Мой эгоизм обусловлен не возрастом, а чувством одиночества, мне нужны верная, любящая жена и ребенок, чтобы, наконец, закончились мои кошмарные тридцать лет одиночества, вернее, двадцать пять: до пяти лет я спал, лежа между родителями, и это воспоминание меня согревает.

Определенно, если по законам физики при нагревании тела увеличиваются, то человек, согревшись даже от мельчайшего воспоминания, становится меньше...

13

2) Я должен написать о своих коллегах. Они для меня как нечто неизведанное, таящее в себе массу художественных возможностей, тогда как маму и друзей я уже хорошо знаю (или думаю, что знаю).

Довольный своими умозаключениями, засыпаю со спокойной душой.

14

У компьютера сидит Софо и набирает очередной текст. Я — за рабочим столом — работаю над рекламой собак. Заходит Вахо, как всегда серьезный, несущий с собой чувство собственного достоинства и новые распоряжения директоров. Мы его внимательно слушаем, во всяком случае, притворяемся, что внимательно.

— В общем, думаю, вам все ясно. Продолжайте работать.

Вахо сказал свое слово. Он уходит.

— У него точно не все дома, — говорит Софо, язвительно улыбаясь, и опять принимается за текст.

Тем временем я реагирую на Софины слова мыслью: «Не сделать ли моим персонажем Вахо, у которого не все дома?», но мне самому становится смешно от этой идеи. Особенно нелепо звучало бы название рассказа — «Вахо, у которого не все дома».

Встаю. Вынимаю из кармана пачку сигарет и зажигалку. Поднимаю жалюзи и, чуть приоткрыв окно, начинаю курить. Все как всегда. Всегда. Каждый день, каждый месяц, каждый год...

В оконном стекле появляется отражение Софо. Слышу приближающиеся шаги. Через пару секунд она уже стоит рядом.

— Я тоже покурю.

У Софо свои сигареты — тонкие, женские.

Я, как и подобает джентльмену, даю прикурить.

— Все хочу бросить и не могу, — признается она, затянувшись.

— А я не курил четыре года, — заявляю я с гордостью.

— А зачем ты опять начал?! Если б я могла выдержать столько времени, больше к сигаретам и не притрагивалась бы.

— Не знаю, так уж вышло, — отвечаю я. Нужно признаться, что опять закурить после четырехлетней паузы довольно глупо и гордиться здесь, конечно, нечем.

— Курить противно, — говорит Софо и стряхивает пепел.

— А знаешь, что сказал Марк Твен?— спрашиваю я.

— Знаю, — она улыбается. — «Бросить курить очень легко — я сто раз бросал».

Ничего не скажешь, знает.

15

Софо выбрасывает окурок, я тоже. Закрываю окно, опускаю жалюзи, и мы возвращаемся на свои места.

Больше не рассматриваю вариант — «Вахо, у которого не все дома». Чтобы выбрать кого-то прототипом главного героя, нужно любить этого человека, или ненавидеть, или испытывать к нему какую-то симпатию, или хотя бы испытывать жалость. Вахо, определенно, не вызывает подобных эмоций.

Я смотрю на Софо и стараюсь разобраться — что я чувствую по отношению к ней. Скорее всего, это жалость. Мне почему-то кажется, что она очень одинока, что у нее нет личной жизни, и поэтому ей тоскливо. «Может, стоит написать про Софо? — начинаю я размышлять. — Но что мне о ней известно? Не много: знаю, что ходит на работу, хочет бросить курить и не может. И еще — живет в Сололаки. Все остальное — на уровне предположений. Как проверить — правильные они или нет? Можно, конечно, попросить ее рассказать о своей жизни, но вряд ли она мне так сразу откроется. В нашем обществе не принято говорить об очень личном и еще — называть свою зарплату, что, как ни странно, тоже отнесено к очень личному.

«А не начать ли за ней следить?» — приходит мне в голову.

16

У слова «следить» есть несколько абсолютно противоположных значений.

За нами сверху следит Бог, его всевидящее око, от которого не скроется ни явное, ни тайное, ни даже величина нашего жалованья. Кто-то в это верит, кто-то — нет. Вера или атеизм не меняют сущности бытия, они определяют нас самих. В детстве один мой приятель-атеист говорил: «Если бог существует, пусть он сделает меня богатым. Раз не делает — значит, его нет». Теперь он вице-президент банка и считает, что приобрел свое богатство исключительно благодаря упорному труду, а не божьей милостью, в которой он сомневался еще будучи ребенком. В действительности ход мыслей этого моего приятеля имеет значение только для него самого. Если он и подобные ему атеисты вывели собственную формулу типа «успех достигается одним лишь упорным трудом», такие, как я, считают, что одним лишь упорным трудом достигается одна лишь усталость.

Одно из значений «следить» подразумевает — «заботиться, любя». Так вот, например, родители следят за собственным ребенком с единственной целью уберечь его от какой-либо опасности, а не для того, чтоб собрать о нем какую-либо информацию, хотя последнее действие тоже определяется словом «следить». И это второе «следить» намного страшнее, так как включает в себя — «не доверять, подозревать, проверять». И результаты в подобных случаях плачевные: подозрения, как правило, оправдываются и разоблачают измену, опять же измена, в основном, бывает государственная и супружеская. Надо сказать, у первой — больший масштаб, но вторая — переносится намного болезненней.

В общем, я решил ввести термин, придающий слову «следить» совершенно новый смысл: следить ради искусства.

17

— Выключить компьютер? — спрашивает Софо.

— Выключай.

Софо выключает компьютер и совершает целый ряд последующих действий: встает, надевает пальто, берет со стола мобильный, бросает его в сумку, вешает ее на плечо и прощается:

— Пока!

Ушла.

Подхожу к окну, чуть приподнимаю жалюзи и начинаю следить: девушка выходит в освещенный двор офиса, затем со двора — на улицу. Тут я теряю ее из вида. Быстро надеваю куртку и выхожу во двор, со двора — на улицу. Смотрю по сторонам. Софо уже в конце улицы, шагает не очень быстро. Набираю ту же скорость.

Наша фирма находится на углу между улицей Пекина и проспектом Важи-Пшавелы. Софо живет в Сололаки. Предполагаю, что она перейдет на другую сторону и продолжит идти в направлении улицы Павлова, там дальше остановка. Ей придется немного подождать свой автобус, и в итоге она поедет на нем домой. На этом и закончится моя так называемая слежка, а завтра, может быть, я вообще перестану за ней следить и передумаю писать про нее рассказ.

Но Софо вопреки ожиданию направляется в сторону проспекта, и я иду за ней. Вокруг все пестреет рекламой: хорошенькие, наивные девушки на билбордах обещают, что мы почувствуем себя счастливыми, если приобретем все то, что они рекламируют. Мы и правда нередко приобретаем разные ценные вещи, надеясь получить и счастье в придачу.

Тем временем Софо заходит в магазин игрушек. Я прислоняюсь к дереву перед магазином и продолжаю следить. Если она меня заметит, улыбнусь и сделаю вид, что я здесь случайно. Девушка смотрит плюшевые игрушки: сначала зайчиков, потом мишек. Она что-то говорит продавщице, обе улыбаются. Софо решает купить мишку, его кладут в целлофановый пакет, на котором нарисована радуга. Заплатив за игрушку, Софо направляется к выходу. Успеваю спрятаться в кустах неподалеку. Она идет вверх по улице, наверное, к метро. Выждав немного, выхожу из своего убежища и следую за ней. Девушку, по-видимому, пригласили на день рождения.

На несколько секунд Софо останавливается перед парфюмерным магазином и разглядывает витрины, потом продолжает свой путь.

18

У самого метро она садится в такси, я сажусь в другое и говорю таксисту следовать за ними.

— Ну и ну, прямо как в кино!.. — смеется таксист и машина трогается с места.

19

На Сабурталинском кладбище темно. Такси, в котором сидит Софо, останавливается. Мы тоже. Мой шофер гасит фары. Софо платит своему. Я выхожу из машины и тихо закрываю дверь. Опустевшие такси уезжают.

Еле различаю в темноте силуэт девушки, но пакет со светящейся нарисованной радугой указывает мне путь. Стараюсь двигаться бесшумно, хотя на кладбище и тем более ночью это не так легко. Не знаю — что сказать, если она меня вдруг заметит.

Софо наконец останавливается, вынимает из пакета плюшевого мишку и кладет его на могилу, потом начинает причитать:

— Сыночек мой... мой маленький... как же мне теперь жить без тебя?!.. Вот... я тебе мишку купила... он красивый... А потом еще и зайчика принесу... и щенка... да... мой маленький...

У меня сжимается сердце. Хочу подойти к несчастной девушке, обнять ее, сказать что-нибудь в утешение, но не решаюсь. Бедная! Я и представить себе не мог, что у нее такое горе. Вот так вот, столько времени вместе работаем и ничего друг о друге не знаем...

Ухожу с кладбища и спускаюсь к метро.

20

Из окна моей спальни видно церковь св. Георгия. Сейчас ночь, и у церкви золотистая подсветка. Крещусь, глядя на церковь, и читаю молитву, упоминая в ней покойного сына Софо. Я не знаю, как его звали, и поэтому упоминаю его в молитве как «покойного сына Софо»...

Собираюсь лечь, отключаю в мобильном звук и кладу его на тумбочку у кровати. Потом, раздевшись, забираюсь под одеяло, натягиваю его на голову. Пытаюсь заснуть. Не получается. Время от времени порываюсь позвонить Софо или хотя бы послать ей сообщение, хоть как-то выразить свое участие, но ничего путного в голову не приходит. В конце концов засыпаю. Сплю без снов.

21 — развязка

На следующее утро, проснувшись, первым делом проверяю, нет ли на мобильном новых звонков или сообщений. Нахожу одно, оно от Софо. Взволнованный, начинаю читать:

Kazhetsia, ja tebia poriadkom ozadachila vchera. Izvini, prosto pishu rasskaz dlia konkursa, i ty moj personazh. Mne nuzhno bylo znat’, kak ty sebia povediosh’ v ekstremal’noj situacii. Vsio v poriadke. Celuju.:)

Перечитываю сообщение. Потом еще. Наконец до меня доходит: я не автор, я персонаж. Не могу сдержать улыбку. Бросаю мобильный на кровать и иду в ванную. Под холодный душ.

Перевод с грузинского Анны ГРИГ.

Наши песни — как горы высокие

МАКВАЛА ГОНАШВИЛИ



Песня мальчика-газетчика

Купите газету! Купите газету!
Купите! Купите!
Я хлеба куплю.
А на эту монету
Нахмуренный булочник купит горючего
Для дедушки «Виллиса» скрюченного.
Потом наливальщик бензина-солярки
Мясца себе купит кусок для поджарки,
И дом пропитается духом убоины свежей,
И нежен,
И сладостен будет ее аромат,
Как ладана дым.
А мясник, возвращаясь назад,
В деревню, объятую тьмою, прикупит газету
И пустит по кругу ее — от соседа к соседу,
И все население набьет животы вместо хлеба
Такой тягомотиной — дурью нелепой,
Что волосы дыбом поднимутся у мудреца.
Не видно конца словоблудью, не видно конца.
Прочтешь, что в Тбилиси пора уже строить бордели,
Что Орденом чести случайно достойных почтили,
Что снова в парламенте сказки народу запели,

Что снова избранников Божьих в грязи извозили.
Что все продается на свете, включая и душу,
Что в кресло высокое втиснули гангстера тушу,
Но все-таки Грузия — Божьею милостью — дышит.
Услышь, режиссер! Дай счастливый финал! Но не слышит!
Уже я не знаю — где правый, а где — виноватый,
Спаси меня, Господи, от круговерти проклятой!
А городу все нипочем, город мирно уставился в телеэкраны,
Он весь переполнен придуманной жизнью чужой —
там Кассандры, Марии, Хуаны,
В интригах тропических стран поголовно все граждане поднаторели
И знают — кто любит кого, а кто бросил кого. Измельчал ты, народ Руставели!
И кто же достоин из нас восхождения в Вечность блаженства?
Ни словом не смею назвать никого я, ни жестом.
А вот и «Психо», субботний выпуск. Телеведущий — интеллигентный Гогия,
Не сериалами кормит зрителя — высокохудожественными демагогиями.
И плачет птица из фильма-психо. Скажи мне, Гогия,
Взаправду птица там, на экране, или дрессированная демагогия?
Мы шарим руками в ночной темноте, как слепцы на дорогах Отчизны,
Мечтая хоть проблеск рассветного солнца увидеть при жизни.
Купите газету. Купите газету! Купите, купите...

Что с тобою, сердце?
Захватило дух,
Маленькие леди
Превратились в шлюх.
И поэт придворный
Не идет в народ.
У царя он в холе
И тепле живет.
Не спросясь, пролез он
В царственный шатер,
Чин и черносливы
Получил — хитер!
И теперь поэта
Восхваляет хор.
Купите газету, купите газету,
Купите, купите...

Разгулялся карнавал цветов,
Снова нежность душу захлестнула,
Красный почернеть уже готов,
Синева в зеленом утонула.
Глядя, как меняются года,
Что за чудо мне пообещаешь?
Где же чистота и белизна?
Бел и чист лишь саван, понимаешь...
Кто услышит горестный мой плач
И молитвенные причитанья?
Голод — мой недремлющий палач,
Лишь в горбушке — все мои желанья.
Где же рай земной, страна мечты,
Гаснут сны в мученьях непрерывных,
Смерть, в конце концов умрешь и ты
В увяданьи жизни заунывном.

Где начало, где конец, ответь,
В чем виновны мы, в чем неповинны,
Надоест когда-нибудь вертеть
Господу фигурками из глины?!
Все имеет в мире свой предел,
Лишь моей дороге нет предела.
Господи, как мир осточертел,
Как таскать газеты надоело...
Купите газету, купите газету,
Прошу вас, купите,
Спешите, купите...

Котэ КУБАНЕИШВИЛИ



Грузинский кофе

Грузинская женщина — признанный шахматный ас,
Грузинская рыба в речных обитает верховьях,
Грузинская лошадь — пускай низкоросла подчас,
Но пышет здоровьем.
Грузинская курица громче кудахчет на яйцах,
Корова грузинская лучше, хоть меньше доится,
Грузинский матерый собак почему-то боится,
А кролик грузинский наряднее зайца.
Грузинский орел в облаках сызмалетства витает,
Грузинские львы зоопарки свои охраняют,
Грузинская кошка — родня уссурийской тигрице,
Грузинские свиньи вкусней хачапури и пиццы,
Бараны грузинские так же кудрявы, как овцы,
Грузинским дроздам лучше прочих под вечер поется,
Грузинский шакал даже тявкает мастеровито,
Грузинский осел белошерстен — и тем знаменит он.
Брони черепаха грузинская не покидает,
Грузинский соловушка для чужаков распевает,
Грузинский осел похваляется тура рогами,
Грузинские фильмы от нас независимы с вами.
Грузинского кофе не сыщешь — как ни был бы прыток,
Грузинский фасованный чай — ароматный напиток.



Рати АМАГЛОБЕЛИ

Дождь

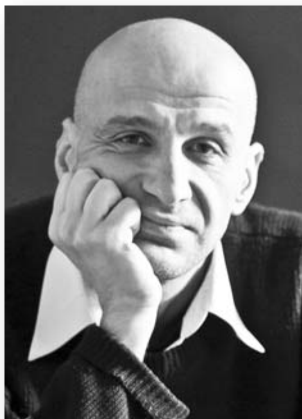
Ни воздуха вокруг, ни облаков,
Не вспомню ни друзей и ни врагов.
Как сквозь сито сыплет,
Моросит,
Хоть бы прямо, хоть бы прянул,
Но косит.
Скукотища снова явится ко мне,
Вся в чахотке, от макушки до корней,
В маске она войдет сердито,
Как сквозь сито,
Дождь небритый
В мягких шлепанцах тумана
Сыплет, сыплет,
Моросит.
Это серенькое небо, как постель холостяка,
Раскиселилось, как кляксы в дневнике ученика,
В дверь открытую Шавети беззастенчиво ломлюсь,
Ничего уже на свете не желаю, не боюсь.
Только дождик,
Хмурый дождик
Моросит,
И не косит, и не просит,
А косит.

* * *

Фарт — ветровое стекло, что украдено,
Мать — телескоп с окуляром опухшим,
Зеркало — ключик бессмертия даденный,
Хлеб — бегемот, на огне отдохнувший.
Женщина — друг бегемота единственный,
Ну, а мужик — крокодилья беседа,
Дом — ожиданье отравы таинственной,
Птичка — игрушечная сигарета.
Я же качель все туды же, разбитая,
Ты же — далекая лисья молельня.
Папа — девицы невинность убитая,

Сын — одиночества беспределье.
Ну, а пространство — растленное счастье,
Страх — носорожье ложе продавленное.
Кровь — как замерзшая тайна причастия.
Слово — универмаг неограбленный.

Шота ИАТАШВИЛИ



Поэт-филин

Глухая ночь.
Под крышами домов
Мои друзья который сон уж видят.
Но бодрствует один,
Я знаю, он творит,
Лишь голос спит…
Ему озвучить
Подчас мучительно рожденные слова,
Как из тоннеля, рухнувшего гулко,
Подняться раненому из-под груд обломков…
Он пишет, и
Метафоры его
Гирляндами шаров воздушных разноцветных,
Сшибаясь и отталкиваясь, под
Потолком плывут.
Прокалывает их
Сопенье четверых детей, усталой
Жены и матери, которой лет немало.
Жжет сердце, разворачиваясь, как
Монаха-филина в ночи глубокой зрак,
В котором теплится мерцание фиалки…

Зелень (или добыча)

Червь зеленый — на листе зеленом,
Зеленый попугай не сводит глаз с зелени листьев,
И на тех же листьях — зеленый питон
Глаз не сводит с зеленого попугая,
А под деревом — человек в зеленом
Глаз не сводит с зеленого питона.

Одно мгновенье — и…
Червь в попугаевом чреве, попугай — во чреве питоновом,
А на горле питона сжимаются руки охотника,
А зеленые листья шуршат себе и не тужат,
Так привольно шуршат зеленые листья…
Но разве все краски им не подстроены?
Кроме этого желтого льва, что затаился
На узкой тропинке, в желтой соломе,
Куда спускается охотник с питоном…
Все шуршат и шуршат зеленые листья,
Так легко и привольно, греха не ведая,
Листья зеленые, травы зеленые, листья зеленые…



Михаил КВЛИВИДЗЕ

Экскурсия по дому-музею

Вот стол поэта — письменный. А это —
Настенный шкафчик, снятый со стены,
Здесь, как огня, интимные сонеты
Боялись шумной ревности жены.
А в этом кресле он отчалил к Богу.
Не слишком пьян, но нервен донельзя —
Еще бы! Не печатали. Немного
Не дожил он до цифры шестьдесят...
Сюда пройдите. Вот последний сборник.
А вот автопортрет, конечно, спорный,
Где он изобразил себя шутом.
Не удивляйтесь! Просто дело в том,
Что странности дружили с ним всегда —
И в юные, и в зрелые года,
Что отмечал министр литературы,
Товарищ Хомерики. Здесь фигуры —
Комплект неполный шахматный. Алло!
Не налегайте локтем на стекло!
Вот стенд с его любовной перепиской
По-русски, по-грузински, по-английски,
Свидетельство внимания к нему
Прекрасной половины... Почему
Не вижу я… А, вот «Луна Мтацминды».
Вот рукопись «Иуды». Вот маститый
Поэт клеймит его на фото. Ну не ирод?

Смотрите — репрессивный здесь период.
Вот факты биографии поэта
Тех лет. Он сам, как видите, одетый
В пижаму арестантскую. На «ты»
С ним говорили зэки Воркуты.
Фон фотографий — часовой, бараки,
Бюст Сталина, служебные собаки,
Над караульной вышкой — красный флаг.
Вот пресса: «Враг народа»… «Враг», «Враг», «Враг»,
«Наймит фашизма», «Уничтожим гада».
И подписи коллег. И подпись брата.
А здесь поэт, вернувшийся домой,
Сидит за чаем со второй женой —
Она из бывших лагерниц, москвичка,
Мария… Здесь не курят, бросьте спичку.
Стенд похорон… Цветы, коллеги, гроб.
Обзор закончен. Не спешите! Стоп!
Пожалуйста, по лестнице спуститесь,
Налево будет выход. Не толпитесь!

Ия СУЛАБЕРИДЗЕ



Лев и Бык

(Басня)

Лев с Быком сдружились крепко.
Новость ли — мужская дружба?
Бык сказал: «Хорошим пиром
Клятву нам скрепить не нужно ль?

Что же мешкать? Поскорее,
Побогаче стол накроем,
Жажду братского общенья
Утолить пора обоим».

Отвечает Лев: «Не против
Всласть с тобой попировать я,
Но пойду скажу супруге,
Что сегодня выпьют братья».

А в ответ смеется смачно
Бык наш гордый, Бык наш тучный,

Говоря: «Не знал, что брат мой —
Заурядный подкаблучник.

Мне жена во всем покорна,
У нее одна забота —
Угождать всемерно мужу,
А не требовать отчета».

Лев не стал вдаваться в споры —
Что в них толку, что в них проку,
Но сказал он, как отрезал,
Слово мудрого упрека:

«Ты рожден Быком, дружище,
Мне же — Лев навеки имя.
Жен мы выбрали по нраву,
Но несходство есть меж ними.

Ты мое запомни слово,
Может, в жизни пригодится:
У тебя жена — Корова,
У меня супруга — Львица».



Борис ГУРГУЛИЯ

* * *

Кто видеть мог, как ты ко мне вошла, красавица моя,
Заполнил завистью моря, через края, через края.
И проглотили языки все, изумленья не тая,
Кто видеть мог, как ты ко мне вошла, красавица моя…

В тот день, когда в мой бедный дом вошла красавица моя,
Так сердце рвалось из груди, я превзошел бы соловья,
Да, превзошел бы соловья, но проглотил язык и я,
Замкнулся рот мой на замок, и не сбылась мечта твоя!

Ирма МЕБУРИШВИЛИ



* * *

Я думала, это сокол, оказался сарыч.
Когда я его поймала, глаза его злобою сверкнули.
Не смогла я расположить его к себе, не помогли ни мольба, ни моление;
Не предпочел он ласку мою, клюнул, когтями исцарапал.
В открытое окно вырвался, со мной не остался.
Полет его украшал больше. Смешался с небом, не видно его.

Пожелание

Ты нес за пазухой весну,
На кровати солнца лежала Кахети,
И привязанная валялась у селения Гомбори
Ночь, в сатанинской вере замеченная.
Кротких времен коварная рука
Жадно отстегивала голубую запонку,
И клокотала Алазанская долина
Пенящимся шербетом приятности.
Вошедшие в месяц (урочный), полные, как женщина,
Колыхались виноградники и хлебные нивы.
И вставшей над берегом Ивири луне
С тихой лаской ты так уступила,

Как после продолжительных дождей
Крохотный полевой василек — солнечному лучу.
Дай мне право еще хоть раз
Обнять тебя и увидеть во сне.

Тобою полно мое существование,
И болит, как у женщины для постели (наложницы),
То, что в теле не умещается
И что до твоего сердца стихом дойдет.

Я писала вчера, пока до утра
Обошла горы крутые,
И если бы не любила так сильно тебя,
Завтра должна была поменять кровь.

Знаю, полаивает победитель чувства (моего),
Если желание снова одолеет,

И в ожидании тебя я умру так,
Как однажды под лестницей Никала.

Грузинское многоголосье

* * *

Лемех молвил: «В преисподней
Я мечтаю лишь о свете». —
«Мне не легче горе мыкать, —
Нож-резец ему ответил.
— Если землю прогрызаю —
Зуб передний я ломаю». —
«Мне не легче, — гуж вмешался.
Дождь пойдет — насквозь промокну,
А под солнцем полуденным
Задыхаюсь, жарюсь, сохну...»
А волы в ответ: «Неужто
Легче нам с ярмом на шее?
Да еще погонщик бьет нас.
Нехристь-пахарь не добрее,
Исподлобья глянет хмуро
И погонщику не скажет:
«Хватит плеткою махать-то!»
И не пожалеет даже!
Как огреют по хребту —
Кровь вскипает на ходу!»

* * *

Возьму высоко — недовольна: не бас,
А басом возьму — почему не высокий?
А ноту возьму — почему не ладна?
Любовь твоя выжала все мои соки.
И черствого хлебца не даст сироте.
Другим — благосклонность ее улыбки.
А сердце трепещется, как на крючке
Трепещется, поймана, бедная рыбка...

* * *

Наши песни — как синие сумерки,
Наши песни — как горы высокие,
Песни вечные, как пирамиды,
И за ними — столетья стоят.

* * *

Хочу с волынкой слиться я моей,
В нее влюбиться, а не дуть впустую...
Все думаю — что мне поведать ей,
Какой напев, мелодию какую?
Чтоб раны Картли исцелила, чтоб
Всех спящих сон она оберегала,

О Господи, молю, не допусти,
Чтобы моя волынка замолчала...
Ей силы дай, чтобы за песней песнь,
Которым подивился мир бы целый,
Сложились, чтобы день и ночь
Сменялись сладкогласые напевы.
И чтоб они от Грузии навек
Все беды и напасти отогнали,
Вот я поставлю свечи на алтарь,
Неугасимо чтобы воссияли.
Во имя Богоматери, Христа,
Чьи чада — мы... Молитву-трель играю,
Отчизне жизнью жертвую своей
И слезы на волынку я роняю...

Перевод с грузинского Владимира САРИШВИЛИ.

Анна ГРИГ



Руки

рука
моя
правая
от левой отличается
и
пишет ни-о-чем

о чем! не пишет
левая
не подражая правой
в амбиции писать

я
мать-отец
о б е и х
и
разлад
который м е ж д у
между !левой -!правой
меня нервирует



Владимир САРИШВИЛИ

Кляча

В оскудевшей кормушке овес не покроет и дна.
Ты лысеешь, лошадка, ты к скачкам уже не годна,
И по логике жизни осталась в конюшне одна,
Жеребята твои под жокеями рвутся на финиш.
Ты в опале годов, и крутые когда-то бока
Безобразно отвисли, размякшие ноздри пока
Запах стойла вдыхают. Копыто — подобье крюка
То уложишь в размокшее сено, то, фыркая, вынешь.

Учинили бесшумную давку в щелях потолка,
Умирая, снежинки. Крысята, попив молока,
Обустроились в теплом и мягком гнезде уголка,
Что бесплатно забрали в аренду нахальные крысы.
Снится ей: на лужайке, слегка пригубивши вина,
Офицеры садятся в коляску. Сияет луна,
И везет с ветерком кавалеров смешливых она
По аллее, где полночью летней шуршат кипарисы.

Исход

Разоренные гнезда, обрывки обоев, полы,
Где следов незатертых мозаика спутана частая.
Это брошено все, это вырвано все, как полынь,
Здесь конторы теперь расположены, лавочки частные...
Уповая на случай, семейства бегут за кордон,
Оставляя рояли, любимые книги, бегонии.
Совесть предков могилы бросать не велит, но — пардон.
Те — уже за чертой, эти ж — только в преддверьи агонии.
Сололаки утратил свой выстланный мягко акцент,
И погибли веселые ночи на Верэ, Мтацминда...
Здоровяк и обжора, постится Тифлис, как аскет.
Безоружному здесь остается одно лишь — молиться.
Я хожу, озираясь, и словно гвоздем по стеклу,
Незнакомая речь нервы рвет, как листки календарные.
В темный дом возвращаюсь, постель свою молча стелю,
Сплю — и катятся сны, словно обручи, с лязгом, бондарные.
Скоро вместо людей только стаи голодных волков
Будут бегать по улицам. Скоро, уставившись в лужу
После майской грозы, в убегающих нитях кругов,
Словно в зеркале, морду звериную я обнаружу.

ПАЗ ДОМЕЙКО

Игнатий Домейко — Адам Мицкевич: дружба на всю жизнь[*]

От автора

Имя Игнатия Домейко хорошо известно не только на его родине в Польше, Беларуси и Литве. Его память чтят во Франции, Чили и многих других странах. Выдающийся ученый-исследователь и путешественник, крупный просветитель, глубокий мыслитель, Игнатий Домейко прожил долгую жизнь, оставаясь до конца своих дней пламенным патриотом отчизны, за свободу которой он боролся и словом, и делом. Будучи глубоко верующим человеком, Домейко, как истинный христианин, категорически отрицал всякое насилие человека над человеком. Он всегда выступал против рабства, гневно осуждал крепостничество и всякие иные формы закрепощения людей и подавления их свобод.

Его вклад в развитие науки неоценим. Более 500 научных докладов и статей было опубликовано им при жизни в ведущих научных изданиях Франции, Германии, Польши, Чили и других стран. Им написаны учебники по таким дисциплинам как геология, минералогия, пробирное искусство (количественный анализ), физика, по которым училось студенчество всей Южной Америки еще долгие годы спустя после его смерти. Заслуги Домейко перед Чили столь же весомы. Он исколесил с научными экспедициями буквально всю страну, с севера до юга. Почти все они увенчались открытием богатейших месторождений полезных ископаемых, многие из которых продолжают работать на экономику страны и по сей день. Более тридцати лет было отдано Домейко работе в Чилийском университете, вначале в качестве профессора и члена университетского комитета, а затем в качестве ректора.

Истинный сын Века романтизма, он в полной мере разделял все взгляды и чаяния этого века и лучших его представителей, со многими из которых был не только лично знаком, но и дружил. Самая искренняя и сердечная дружба связывала Домейко с выдающимся польским поэтом Адамом Мицкевичем. Он переписывался с Мицкевичем до последних дней жизни поэта, а потом еще долгие годы состоял в переписке с его сыном Владиславом. После смерти Домейко его сыновья передали все письма поэта, хранившиеся в архиве их отца, в Библиотеку Адама Мицкевича в Париже. На протяжении нескольких десятилетий Игнатий Домейко также оживленно переписывался со своим двоюродным братом Владиславом Лашковичем, который жил в Париже. Переписка была опубликована в Польше в 1976 году; она послужила бесценным материалом для написания этой книги.

Как всякий истинный ученый, Игнатий Домейко был высокоорганизованным человеком. Всю жизнь он вел дневники. Его архив всегда находился в безукоризненном состоянии. И по сей день в семьях его потомков

---

[*] Отрывки из книги «Жизнь в изгнании: Игнатий Домейко (1802—1889)».

хранится множество писем, полученных им от многих выдающихся людей того времени.

В Польше было издано три тома дневниковых записей Игнатия Домейко под названием «Мои странствия». В 1970 году эти дневники были переведены на испанский язык. Двухтомное издание, насчитывающее более 1000 страниц, увидело свет под названием «Мои странствия: воспоминания изгнанника». Многие материалы из этого двухтомника тоже вошли в мою книгу.

Несмотря на то, что всю жизнь Домейко мучила ностальгия, заставлявшая его тяжело переживать разлуку с родиной, он при всем том оставался большим оптимистом и жизнелюбом. В его дневниках полно ярких и поэтических описаний увиденных им во время странствий красот, причем описывались не только и не столько сами пейзажи. Запахи и ароматы трав и цветов, вкус новой пищи, собственные ощущения от увиденного, все скрупулезно и вдохновенно фиксировалось им в ежедневных дневниковых записях. Это был человек, умевший тонко чувствовать, замечать, понимать и ценить прекрасное. К тому же, в своей любознательности и стремлении к познанию нового он был поистине неутомим. О личной выносливости Игнатия Домейко и о его умении стоически переносить все лишения и тяготы во время научных экспедиций ходили легенды.

Не будучи историком или ученым, я, тем не менее, с раннего детства привык слышать имя своего прославленного прадеда. Для моего отца, внука Игнатия Домейко, он был не просто кумиром, но самым настоящим божеством. Став взрослым, я прочитал дневники прадеда и поразился тому, сколь многогранной и богатой была его человеческая натура.

Моя книга — это попытка разглядеть живого человека, успевшего уже стать легендой. Вот почему основное внимание я уделяю не столько Игнатию Домейко, выдающемуся ученому и общественному деятелю, сколько Домейко обычному человеку и семьянину. Уверен, что частная жизнь моего великого прадеда представляет не меньший интерес, чем его плодотворная научная карьера и общественная деятельность.

Игнатий Домейко родился в имении отца неподалеку от небольшого белорусского местечка Мир. Семья Домейко принадлежала к старинному польскому дворянскому роду и была весьма зажиточной. В огромном родительском доме, богатом и уютном, было всегда шумно, полно гостей и родственников, как со стороны отца, так и со стороны матери, происходившей из не менее родовитой дворянской фамилии Анкутов. Отец умер, когда мальчику было всего лишь семь лет, оставив после себя пятерых сирот. Старший сын Ипполита Домейко Адам был на четыре года старше Игнатия, Казимеж на год младше его. Самыми младшими были две сестры, Мария и Антонина.

Отныне все заботы о воспитании детей легли на плечи молодой вдовы, Каролины Домейко. Это была высокообразованная женщина, обладавшая незаурядным умом и широким кругозором. Она стала первой наставницей своих детей, учила их грамоте, привила любовь к учебе и интерес к познанию окружающего мира. Она же, будучи глубоко верующей католичкой, научила детей, как надо правильно молиться. Ежедневная вечерняя молитва в их доме обязательно заканчивалась произнесением вслух «Отче наш». Именно матери Игнатий Домейко обязан глубокой и искренней верой в Бога. Этим, а еще пламенной любовью к своей отчизне, которую мать, сама страстная патриотка, в полной мере постаралась привить и собственным детям. И недаром в дневниковой записи, датированной 2 ноября 1875 года, Домейко так сформулировал свое патриотическое кредо, перефразировав известное латинское выражение: *Polonus sum, poloni nihil a me alienum puto* (я — поляк, и ничто польское мне не чуждо).

Мальчик с раннего детства проявил незаурядные умственные способности, схватывая все буквально на лету. В 11 лет его отвезли в закрытую школу Ордена пиаров, расположенную в небольшом городке Щучин. Школа славилась высоким уровнем подготовки учащихся по естественным наукам и математике, а также воспитанием особого патриотического духа у своих учеников.

В 1812 году маленький Игнатий вместе с взрослыми восторженно приветствовал вступление наполеоновских войск на территорию тогдашней России. Многие поляки связывали поход французской армии на Москву с возможностью обретения независимости для своей страны. Увы, этим чаяниям не суждено было сбыться, и ровно через полгода ученик Домейко наблюдал уже совсем иную картину. Малочисленные и разрозненные остатки войск маршала Нея в полном беспорядке отступали по тем же самым дорогам, по которым несколько месяцев тому назад они так истово рвались к победе. То, что еще недавно именовалось «великой французской армией», насчитывавшей, по меньшей мере, миллион человек, перестало существовать вовсе.

Любопытно, что в это же самое время всеобщий крах наполеоновской армии наблюдал еще один школьник, ученик другой школы, расположенной в Новогрудке, которого звали Адам Мицкевич. Мицкевичи жили совсем недалеко от имения Домейков, и, тем не менее, двое подростков (Мицкевич был на четыре года старше Игнатия Домейко) никогда не встречались.

Их знакомство, переросшее в дружбу, продолжавшуюся вплоть до самой смерти Адама Мицкевича, состоялось лишь спустя четыре года, в сентябре 1816 года в Вильно, куда приехал четырнадцатилетний Игнатий после успешного окончания школы для поступления на физико-математический факультет Виленского университета. На тот момент Игнатий Домейко был самым молодым студентом из тех, кто когда-либо учился в стенах этого прославленного университета. Правда, при зачислении студента родственникам пришлось немного слукавить: они представили руководству университета метрику, согласно которой Игнатию уже исполнилось 15 лет, минимальный возрастной порог для поступления в высшее учебное заведение тех лет. Вместе с Игнатием в тот же год в университет поступил и его старший брат Адам, которому уже исполнилось 18 лет. Адам выбрал для себя факультет изящной словесности.

Студенческие годы стали, пожалуй, одним из самых счастливых периодов в жизни Игнатия Домейко. С его незаурядными способностями он довольно скоро выдвинулся в число лучших студентов университета. И это несмотря на то, что в то время вместе с ним обучалась целая плеяда очень ярких и талантливых юношей, многие из которых позднее прославились на весь мир. Среди них такие славные имена, как Томаш Зан, Онуфрий Петрашкевич, Ян Чечот и, конечно же, Адам Мицкевич.

На момент поступления Игнатия в университет Мицкевич отучился там уже два года. Несмотря на смерть отца несколькими годами ранее и тяжелое финансовое положение, в котором оказалась семья Мицкевичей после смерти кормильца, Адам получил стипендию, что дало ему возможность продолжить образование в стенах Виленского университета. Он был зачислен на учительский факультет.

В 1819 году Игнатий вступает в тайное студенческое Общество филоматов, которое было основано двумя годами ранее Адамом Мицкевичем и Яном Чечотом. На тот момент в рядах филоматов числилось всего лишь 19 человек. От членов Общества требовалось наличие высоких нравственных качеств и не менее высокая интеллектуальная подготовка. И снова Игнатий оказался самым юным членом Общества.

Общество филоматов не являлось политической организацией в прямом смысле этого слова. Но молодых людей объединяла страстная любовь к родине, к ее языку, к народному творчеству и фольклору, а также твердая решимость отстаивать собственную национальную принадлежность и католическую веру, на которую в те годы обрушились гонения со стороны России, вознамерившейся полностью упразднить католицизм на подконтрольных ей территориях. Несмотря на разницу в возрасте, различия в привычках и воспитании, очень скоро все филоматы подружились и практически все свободное время проводили вместе.

Каждые две недели они собирались на специальные заседания: обсуждали философские и научные проблемы, читали литературные рукописи и высказывали критические замечания по поводу прочитанного. Разумеется, читали вслух патриотические стихи Адама Мицкевича, многие из которых Томаш Зан переложил на музыку. Вся деятельность Общества филоматов была пронизана величайшим юношеским идеализмом и полнилась романтизмом, чрезвычайно популярным в те годы, что не мешало полиции неукоснительно и внимательно отслеживать буквально каждый шаг всех членов Общества. Но как могли пылкие молодые люди, взращенные на идеях Великой Французской революции и пафосе борьбы американцев за обретение ими независимости, как могли они остаться в стороне от тех проблем, которые волновали тогдашнюю Польшу?

Разумеется, стихотворение Адама Мицкевича «Ода к юности», написанное им 1820 году, мгновенно стало известным во всей стране. Его заучивали наизусть, читали вслух, передавали списки с текстом стихотворения из рук в руки. Оно звучало как призыв ко всем молодым и старым патриотам объединиться в борьбе за обретение независимости Польши. Имя Мицкевича стало своеобразным символом сопротивления русской оккупации польских земель. Этим символом Мицкевич оставался в глазах поляков до своего смертного часа.

Несколько лет Мицкевич квартировал вместе с Игнатием и двумя его братьями Адамом и Казимежем в популярном студенческом пансионе, который в Вильно был известен как Дом Орловского. Этот пансион находился в двух шагах от университета. Гениальность молодого Мицкевича уже четко обозначилась даже в те годы его ранней юности. К тому же, он был чрезвычайно харизматичной личностью, что не могло не сделать его кумиром студенчества: в глазах молодых Адам Мицкевич был уже самым настоящим национальным лидером. В то время Мицкевич трудился над первым своим крупным поэтическим произведением, поэмой «Дзяды». Кстати, один из персонажей поэмы по имени Жегота был списан с юного Игнатия Домейко. Жегота — это была его студенческая кличка. Так шутливо подначивали Игнатия однокурсники, любившие молодого товарища за его веселый нрав и остроумие. Но предельно собранный, всегда опрятно одетый,

аккуратный Игнатий вечно куда-то торопился, и это давало повод незлобиво пошутить над ним. Впрочем, в постоянной спешке Игнатия не было ничего удивительного, учитывая, сколько дисциплин он изучал и какую интенсивную общественную жизнь вел. В отличие от своих братьев, ничем не примечательных молодых людей, которые поступили в университет исключительно потому, что так надо и так принято в их кругу, и которых светская жизнь занимала гораздо больше, чем учеба, Игнатий был по-настоящему увлечен наукой, всерьез вознамерившись сделать ее делом всей своей дальнейшей жизни.

Летние каникулы молодые люди чаще всего проводили вместе, навещая многочисленных родственников и друзей. Так, однажды они заглянули в имение Михаила Верещаки, двоюродного брата Игнатия, расположенное в окрестностях Вильно. Именно в доме Верещаки Адам Мицкевич познакомился со своей первой любовью, сестрой Михаила, Марией. То была не только любовь с первого взгляда, но и любовь взаимная. Адам немедленно поделился с приятелем своими сердечными переживаниями, и их дружба с Игнатием стала после этого только крепче.

Несмотря на свою общенациональную известность как поэта, Адам оставался в глазах родственников Марии всего лишь простым студентом. Девушке из состоятельной и гораздо более родовитой семьи прочили совсем иную партию. Вскоре Мария Верещак стала женой богатого аристократа, а в сердце поэта ее образ сохранился навсегда. Именно Мария Верещак послужила прообразом главной героини поэмы «Дзяды» Марыли.

Предоставление стипендии на обучение в университете оговаривалось рядом условий. В частности, по завершении учебы Адам Мицкевич должен был отработать какой-то срок школьным учителем. Его направили в Ковно (нынешний Каунас), а новым председателем Общества филоматов был единодушно избран Томаш Зан.

Дальнейшие годы и последовавшие за ними события разлучили на какое-то время двух друзей. В октябре 1823 года все 19 членов Общества филоматов были арестованы и брошены в тюрьму, которую разместили в помещении бывшего базилианского монастыря Святой Троицы. После нескольких месяцев заключения состоялся суд, а по сути своей расправа над бывшими студентами. Несколько членов общества были сосланы в Сибирь, на каторгу, других направили в штрафные батальоны на театр военных действий, которые вела тогда Россия на Кавказе. Адама Мицкевича сослали на юг России: он должен был работать учителем в Одессе. Игнатию повезло несколько больше остальных. Хлопоты и заступничество влиятельных родственников принесли свои плоды. Игнатия освободили в числе первых заключенных, заменив сибирскую ссылку домашним арестом. Отныне Домейко воспрещалось заниматься какой бы то ни было политической деятельностью, и за ним устанавливался постоянный полицейский надзор.

Изредка Игнатий получал письма от Адама, которые скрашивали однообразие уединенной жизни в деревне. У Мицкевича все сложилось не так уж плохо. В Одессе он вел насыщенную светскую жизнь и даже имел несколько романов с тамошними красавицами. По условиям ссылки Мицкевичу не возбранялось посещать Москву, что он и сделал. В Москве произошло знакомство поляка с великим русским поэтом Александром Пушкиным. Два поэта, несмотря на то, что, по сути, принадлежали к враждующим сторонам, немедленно прониклись самыми приязненными чувствами по отношению друг к другу. Мицкевич искренне восхищался творчеством Пушкина, а тот, в свою очередь, не менее высоко оценил поэзию польского гения.

В 1825 году увидела свет эпическая поэма Мицкевича «Конрад Валленрод». Повествуя о делах давно минувших дней, борьбе литвинов против тевтонских рыцарей, она, тем не менее, содержала более чем недвусмысленные намеки на современную ситуацию. И польский читатель немедленно понял завуалированный смысл поэмы. Российские цензоры спохватились слишком поздно: произведение имело ошеломляющий успех у читателя и прибавило известности поэту. Слава и заступничество влиятельных друзей помогли Мицкевичу вырваться из ссылки. В

1829 году он уезжает в Европу. Начинаются многолетние странствия поэта. Но все эти годы его связь с Игнатием Домейко не прерывалась.

Вот небольшой фрагмент из письма Мицкевича, датированного 23 июня, которое он отправил из Рима.

«Я снова в Риме, и рад этому несказанно. По правде говоря, этот город нравится мне сейчас еще больше, чем при первом посещении. Пожалуй, только в Риме, единственном из всех зарубежных городов, мне хотелось бы сделать попытку обустроиться надолго. Мое нынешнее положение может даже вызвать зависть у кого-то из посторонних. Когда мы с приятелями, попыхивая трубками, всерьез рассуждаем о том, поехать ли нам на карнавал в Неаполь или все же лучше остаться в Риме, или планируем, куда отправиться на зиму, в Париж или в Лондон, то со стороны может показаться, что это разговаривают властители Вечного города. С другой стороны, я и в самом деле пребываю в отличном расположении духа: стараюсь не думать о завтрашнем дне и чувствую себя богачом, имея в кармане несколько золотых монеток. К сожалению, монетки уже улетучились. Истратил ли я их с пользой, или просто так, какая теперь разница! Ведь все наши недостатки, как и наши прихоти, всегда путешествуют вместе с нами.....

Когда я думаю о Литве, то всегда вспоминаю только определенные места и определенных людей, которых люблю и буду любить до конца своих дней. Пожалуй, если в один прекрасный день мне будет суждено вернуться на родину, то я не стану спешить с расширением круга знакомств. Ты ведь отлично знаешь, в какой небольшой круг я с радостью вольюсь опять... Адам».

Однако вопреки своим первоначальным намерениям Мицкевич обосновался не в Риме, а в Дрездене. Из столицы Саксонии было рукой подать до Польши и его любимой родины Литвы.

Летом 1830 года Игнатий Домейко получил, наконец, разрешение от властей посетить Варшаву. Он провел в Варшаве несколько недель, встречаясь с друзьями и родственниками, в том числе и со своей кузиной Марылей. Игнатий знал, что Мицкевич, несмотря на свои многочисленные романы, продолжает по-прежнему хранить в своем сердце память о его кузине. И косвенным тому подтверждением стала посылка, полученная Домейко от друга незадолго до его отъезда в Варшаву. В ней были четки, одни для Марии, другие для ее матери, которые Адам специально купил для них в Риме и которые благословил сам Папа. В сопроводительном письме он просил Игнатия передать четки дорогим ему людям. Марылю глубоко тронул этот знак внимания. Несмотря на свой статус замужней дамы и графини, она, тем не менее, дерзнула ответить Адаму, приписав несколько строк к письму кузена.

«Хочу выразить свою глубокую признательность, — писала она, — *за те четки, которые Вы переслали мне в дар. Я была счастлива получить такой дивный подарок. Но еще большее счастье переполняет меня при мысли о том, что память обо мне все еще жива в Вашей душе. Мне казалось, что среди утех большого света Вы уже давно забыли о нашем знакомстве, зато Ваш образ постоянно со мной. Я до сих пор слышу каждое слово из тех, что Вы когда-то говорили мне. Порой мне кажется, что я воочию вижу Вас, слышу Ваш голос, хотя, конечно, это всего лишь игра воображения. Ах, как бы мне хотелось еще хотя бы разок увидеть Вас, увидеть, оставаясь при этом незамеченной. О большем счастье для себя я бы и не мечтала! Вполне возможно, когда Вы снова вернетесь на родину, меня уже не будет в живых. Тогда перекрестите тот камень, который будет лежать на моей могиле и знайте, Ваши четки я унесла с собой. Отныне они всегда будут при мне. Прощайте! Кажется, я и так позволила себе написать много больше того, чем должна была. Надеюсь, мое послание застанет Вас в добром здравии и счастливом расположении духа, чего я Вам искренне желаю».*

Польское восстание 1830—1831 гг. закончилось поражением. Игнатий, сражавшийся в рядах армии генерала Хлоповского, вместе с остатками его войска пересек границу Пруссии, сдавшись на милость прусского монарха. На этот шаг

генерал решился, пытаясь спасти жизнь своих солдат, которых, в противном случае, ожидала бы неминуемая кровавая расправа. И очень скоро молодой Домейко очутился в концентрационном лагере для интернированных. После некоторых колебаний прусские власти, наконец, решили выдать паспорта тем офицерам, у которых имелись средства для самостоятельного выезда в соседние государства, в том числе и во Францию. В числе этих счастливчиков оказался и Игнатий Домейко.

В этой связи стоит сказать, что вместе с разрозненными остатками армии повстанцев в Пруссию устремились и многие члены правительства, сейма, сенаторы и другие государственные деятели Польши. И все рвались во Францию. Начался массовый исход поляков, то, что позднее историки назовут Великой эмиграцией. Более 5000 беженцев покинули родину. Большинство из них приняла и приютила у себя Франция.

Незадолго до своего отъезда во Францию Домейко нанес прощальный визит генералу Хлоповскому и получил от него рекомендательное письмо, адресованное старинному другу генерала, проживавшему на тот момент в Париже, который в случае чего мог бы оказаться полезным молодому человеку.

«В самых лестных выражениях рекомендую Вам господина Домейко, участвовавшего вместе со мной в военной кампании на территории Литвы, — писал генерал. — *Он воевал как солдат, но во Франции намерен снова заняться наукой. Прошу Вас, представьте этого молодого человека, которого лично я считаю своим другом, тем людям, которые могли бы помочь ему в достижении этой цели».*

11 июля 1832 года Игнатий Домейко пересек французскую границу и оказался в Страсбурге. Несмотря на пережитое, его сердце переполняла радость. Ведь совсем скоро он увидит Париж!

Князь Адам Чарторыйский, являясь неформальным лидером польских аристократов, оказавшихся в изгнании, принял самое живое участие в судьбе Домейко. Он был прекрасно осведомлен о личной порядочности молодого человека и о его незаурядных организационных талантах. При содействии князя Домейко получил место секретаря Комитета по оказанию помощи польским беженцам. Во главе Комитета стоял маркиз де Лафайет, дружеские отношения с которым Игнатий Домейко сохранил до самой смерти маркиза. В обязанности секретаря входило распределение ежемесячных пособий для тех польских семей, которые оказались в изгнании вместе с детьми, а также для тех поляков, которые обучались во французских университетах. Стараниями Комитета, развившего очень бурную деятельность, в Париже была открыта Польская библиотека, а чуть позже две школы, одна — для мальчиков, другая — для девочек.

Широкий круг обязанностей Игнатия Домейко позволял ему постоянно общаться со многими польскими интеллектуалами, обосновавшимися в Париже: учеными, профессорами, художниками, поэтами. Разумеется, самой выдающейся фигурой в этой среде был Адам Мицкевич, находившийся тогда в расцвете своего таланта. Он интенсивно трудился над III главой поэмы «Дзяды» и одновременно приступил к работе, которая позднее сделает его всемирно известным, — к поэме «Пан Тадеуш».

Кстати, Игнатий помогал Мицкевичу в переписывании «Пана Тадеуша». Зная, какой собранный и организованный друг его юности и какой у него безупречный почерк, Адам доверил Игнатию переписывать набело черновики своей новой поэмы. А вот и письменное тому подтверждение. В 1833 году Мицкевич отъехал на какое-то время в Швейцарию, чтобы попрощаться с умирающим другом, молодым поэтом Стефаном Гарчинским. Ниже отрывок из письма Мицкевича Игнатию Домейко, датированного 12 августа 1833 года.

«Дорогой Жегота! Так ты переписываешь «Пана Тадеуша»? Стефану немного полегчало, и я тоже занялся переписыванием IV главы. А вот когда приступлю к работе над новой главой, и сам не знаю, ибо буквально валюсь с ног от усталости».

Впрочем, иногда от Мицкевича приходили совершенно неожиданные письма. Например, такое, датированное июлем 1834 года.

«Дорогой Игнатий! Завтра я женюсь. Приезжай при полном параде. Облачайся в свой черный костюм, и в таком виде я жду тебя ровно в девять утра в доме Вольковских. Оттуда мы вместе направимся на церемонию бракосочетания. И, пожалуйста, никому ни слова. Постарайся не опоздать. Адам».

И действительно, Игнатий Домейко и Эдуард Одинец были единственными свидетелями на свадьбе Адама Мицкевича, а имя невесты своего друга юности Игнатий узнал только непосредственно на церемонии венчания. Избранницей поэта стала Целина Шимановская, дочь прославленной польской пианистки Марии Шимановской, дружившей в свое время с самим Бетховеном.

Женитьба друга лишний раз напомнила Игнатию о собственном одиночестве. Разумеется, для него не было секретом, что он считается завидным женихом в среде польской эмиграции: красивый, воспитанный, образованный, с хорошими связями. Чем не выгодная партия для многочисленных дочерей на выданье? А потому его наперебой приглашали на всяческие светские мероприятия: обеды, вечера, приемы. Порой и у самого Игнатия появлялся соблазн завести скоропалительный роман с какой-нибудь хорошенькой девушкой, но его высокие моральные принципы, неподдельная религиозность, все противилось такому развитию событий. Ведь для Игнатия понятие любви ассоциировалось прежде всего с супружеством, с семьей. Размеренная семейная жизнь с женщиной своего круга где-нибудь в имении, в Литве, среди друзей и родных, что может быть лучше? И что может быть более нереальным в нынешних обстоятельствах? А потому пока он предпочитал просто наслаждаться обществом красивых дам, но сердце его при этом оставалось и холодным, и свободным.

В 1837 году почти одновременно с получением диплома горного инженера Игнатий Домейко получил и весьма заманчивое для молодого специалиста предложение. Его пригласили на преподавательскую работу в Чили — вести курс химии и минералогии в одном из тамошних высших учебных заведений. Правительство Чили оплачивало все транспортные расходы и предлагало жалование 6000 франков в год.

Перспектива оказаться на другом конце света вызвала у Игнатия самую настоящую эйфорию. Чили! Да ведь это же истинный рай для любого геолога! Его новая работа, вне всякого сомнения, будет сопряжена с множеством длительных экспедиций и заманчивых приключений, а он так мечтал всю жизнь о путешествиях в неизведанные земли. Домейко принял предложение, не задумываясь, и вскоре получил напутственное письмо от друга.

«Дорогой Жегота, — писал ему Адам Мицкевич. — *Я очень рад за тебя. Наконец-то ты нашел себе дело по душе. Ты, конечно же, понимаешь, что, исходя из своих политических принципов, я искренне желаю тебе обнаружить под землей целые залежи золота. Впрочем, если найдешь железо, тоже неплохо. А может, тебе повезет обнаружить и более благородный металл…»*

И приписка в конце: *«Береги себя, дорогой Жегота, твой Адам».*

В декабре 1837 года Домейко подписывает контракт с владельцем приисков на территории Чили Шарлем Ламбертом, выступавшим в данном случае как представитель правительства Чили. Единственная загвоздка, мучившая Домейко, состояла в том, что чилийцы настаивали на подписании контракта сроком минимум на шесть лет. Игнатий же категорически не хотел уезжать из Европы на такой долгий срок. А вдруг на родине вспыхнет новая освободительная война, а он будет за тридевять земель от Польши? После длительных переговоров стороны, наконец, нашли приемлемый компромисс. Домейко подписывает контракт при условии, что в случае войны за освобождение Польши правительство Чили согласится на досрочное расторжение контракта и отпустит его на родину.

Весь следующий месяц Игнатий потратил на сборы. Часть денег, которые выдал ему Ламберт, пошла на закупку необходимого оборудования для химиче-

ской и минералогической лабораторий, образцов минералов и новейших учебников по тем курсам, которые ему предстояло читать.

Мицкевич посоветовал другу завести дневник, куда бы тот смог заносить свои впечатления от морского путешествия и последующего пребывания в Чили. Он пообещал, что обязательно изыщет возможность опубликовать позднее эти дневниковые записи в Польше. Игнатию идея понравилась. К тому же, перед отъездом он оставил Мицкевичу рукопись книги, написанной на польском языке «Эссе по географии, геологии и природным ресурсам Польши» в надежде на то, что Адам сумеет раздобыть средства на ее публикацию. Мицкевич клятвенно заверил Домейко, что обязательно постарается сделать это.

Провожали Домейко торжественно. Князь Адам Чарторыйский устроил по поводу его отъезда прием, на котором присутствовало более 400 гостей. Собрался весь цвет польской эмиграции: аристократы, профессора, однокурсники, вместе с которыми Домейко слушал многочисленные курсы наук. Пришли также те поляки, с кем он познакомился, работая в Комитете по оказанию помощи польским беженцам. Было много французов, которые за годы, проведенные Домейко во Франции, в полной мере смогли оценить и высокую порядочность этого человека, и его доброе сердце, всегда готовое на поддержку и сочувственное слово.

«Наверняка многие считают меня безумцем или осуждают за то, что я бросаю Польшу в такой тяжкий для нее час», — думал он с грустью. Особенно тяжело было ему переживать предстоящую разлуку с самыми близкими друзьями — Адамом Мицкевичем, его женой Целиной и их крохотной дочерью Марией, которую он крестил. Прощаясь, они обещали регулярно писать друг другу. Да и вообще, Игнатий не прощался, он говорил «до свидания». Вот только суждено ли было состояться этому свиданию? И когда? То было известно одному лишь Богу.

Оказавшись в Чили, Игнатий немедленно бросился строчить письма своим родственникам и друзьям: особенно часто он писал Мицкевичу и своему кузену Владиславу Лашковичу, с которым, несмотря на разницу в возрасте (Лашкович был гораздо моложе его), они особенно сблизились в Париже. Кстати, Владислав был одним из немногих корреспондентов Домейко, который всегда регулярно отвечал на его письма, в отличие от других. А со временем Лашкович и вовсе превратился для Игнатия в единственный источник получения известий с родины. Их переписка длилась более 50 лет, и Владислав Лашкович бережно сохранил для потомков все письма своего кузена, начиная с самого первого, полученного им еще в студенческие годы, и кончая тем, которое Домейко написал ему за пять дней до собственной смерти.

Наконец пришла и весточка от Адама Мицкевича, длинное письмо, датированное 14 июня 1838 года. В нем поэт довольно подробно описывал свое настроение.

«Здоровье мое в порядке, а вот дух! Я все время взвинчен и пребываю в крайне раздраженном состоянии. Самые разные проблемы, о которых я в свое время предпочитал не рассказывать тебе, давят на меня со всех сторон, разъедая душу. Даже не знаю, чем все это закончится: острым сердечным приступом или же я, подобно змее, просто сброшу с себя старую кожу и начну жизнь заново. Если я сумею выкарабкаться, то, вполне возможно, когда-нибудь все минувшие страдания принесут мне пользу…. Пожалуйста, не забывай присылать мне путевые наблюдения о своих путешествиях. Мне твои регулярные отчеты доставят удовольствие, а тебя заставят писать мне чаще. Да поможет тебе Бог. Адам Мицкевич».

В начале 1839 года от Мицкевича пришло новое письмо.

«Дорогой Жегота! Я получил все твои письма, включая и те два, в которых ты описываешь свое путешествие в пампасы… Читая твои письма, мы с Витвицким пришли к единому мнению, что тебе там гораздо лучше, чем нам здесь. Во всяком случае, ты, окруженный бескрайними степями, недоступен там ни для каких враждебных происков. Несчастья по-прежнему преследуют меня со всех сторон. Я попытался получить место преподавателя в Академии города Лозанна и получил его. Хороший предмет, но тут внезапно заболела жена…. И вообрази мою ситуа-

цию. Жена все еще в тяжелом состоянии и, несмотря на месяцы лечения, далека от полного выздоровления. Детей забрали на время чужие люди, но они, слава богу, пока здоровы. Едва ли в сложившихся обстоятельствах мне снова предложат это место в Лозанне. Моим бедам не видно конца. Я сам удивляюсь, хватит ли у меня сил вынести все это. Душа моя состарилась… Новости с родины тоже скверные. Наших систематически преследуют по всей стране, а те же, кто здесь, по своему обыкновению воюют друг с другом, сводя старые счеты. А потому мой тебе совет: оставайся в Кокимбо до тех пор, пока тебе там окончательно не надоест».

А в письме, датированном 1 августа 1839 года, Мицкевич даже пытается шутить.

«Когда у меня появятся деньги, я обязательно навещу тебя. Знаешь, я даже купил лотерейный билет в Вене в надежде на выигрыш. Найди мне какую-нибудь работу в Кокимбо, и я немедленно заявлюсь к тебе со всем своим семейством. А если это невозможно сделать, тогда я изыщу возможность вытащить тебя сюда, к нам».

И действительно, все последующие годы Мицкевич старательно пытался найти для Игнатия работу в качестве преподавателя химии в одном из университетов или колледжей во Франции или Швейцарии. В письме от 7 мая 1841 года он пишет другу:

«Наши продолжают собачиться друг с другом. Все та же глупость, она у нас уже стала хронической. Вдруг пошли разговоры о каком-то длительном перемирии. Думаю, они позволят вернуться на родину кое-кому из нас, скорее всего, самым непримиримым, и тем самым ослабят силы эмиграции. В стране по-прежнему свирепствует террор, и людей по-прежнему бросают за решетку. Но, несмотря на все это, многие добровольно хотят вернуться в этот ад, лишь бы только подальше от эмигрантской грызни. Наверное, мое собственное самочувствие было бы гораздо лучше, если бы я, наконец, научился трезво воспринимать человеческую глупость и смотреть на страдания людей глазами стороннего наблюдателя. Но это трудно, особенно, когда и дома полно горя… Так ты планируешь остаться еще на три года? А может, есть возможность расторгнуть контракт? Думаю, ты совершишь ошибку, если останешься. Разве что влюбишься или вдруг откопаешь там залежи золота. В этом случае даю тебе милостивое разрешение остаться в Чили еще на целых четыре года… Береги себя. Посылаю тебе третий том «Пан Тадеуша». Надеюсь, новые истории про семейство Сопликов тебе понравятся. Адам».

Между тем письма Игнатия к Адаму Мицкевичу делаются все короче и формальнее. Он явно не готов признаться другу, что идея вернуться в Европу в качестве рядового преподавателя химии в каком-нибудь заштатном швейцарском городке вовсе не кажется ему такой уж соблазнительной. В Европе он будет одним из многих, а здесь, в Чили, он — единственный и первый. Первопроходец. Да, он, как и раньше, страстно желал снова встретиться с друзьями, но погрузиться в интриги и скандалы, раздиравшие польскую эмиграцию… Нет уж, увольте! Вот если начнется новое восстание и если Польша в своей борьбе за независимость получит поддержку и военную помощь со стороны других стран, то он не будет колебаться ни секунды. А сейчас… Зачем разрывать контракт с государством, которое отнеслось к тебе с такой благожелательностью?

Следующие несколько лет были наполнены интенсивной научной и преподавательской работой. Помимо бесчисленных научно-исследовательских экспедиций по всей стране Домейко всерьез занялся учебной базой для своих студентов. Учебников по физике и многим другим дисциплинам на испанском языке на тот момент не было. Домейко самолично перевел несколько учебников, включая учебники по физике и минералогии, с французского языка на испанский, существенно обновив и отредактировав содержавшиеся в них сведения. Его авторитет в мире науки рос год от года. Иногда случались весьма трогательные проявления признания научных заслуг Игнатия Домейко. Известный французский ботаник Клод Ге, который познакомился и подружился с Игнатием еще в Кокимбо, до

переезда последнего в столицу Чили Сантьяго, обнаружив во время одной из своих экспедиций по территории Чили новую разновидность фиалки, назвал ее в честь Домейко: *'Viola Domeykoana'*.

Вместе с тем, в письмах, адресованных своему двоюродному брату Владиславу на протяжении всего 1847 года, Игнатий постоянно жалуется на то, что друзья и родственники совсем забыли его. Так, в письме от 23 июля 1847 года он буквально умоляет своего кузена:

«Пожалуйста, непременно сообщай мне в каждом письме новости об Адаме (Мицкевиче). *Сам я не писал ему почти год, а от него не имею известий уже года два, если не больше. Кто бы мог подумать, что такое может случиться!»*

Новости, поступавшие из Европы, были неутешительными. Новое французское правительство мало интересовалось делами Польши и не собиралось поддерживать ее борьбу за освобождение. Напротив! Оно посчитало, что отныне интересы внешней политики Франции состоят именно в поддержке России. Польская эмиграция, осевшая во Франции, была, как и прежде, раздираема всевозможными внутренними противоречиями.

В письме, датированном июлем 1849 года, которое Игнатий Домейко получил от Мицкевича, подтвердились его худшие опасения.

«Мой дорогой Игнатий! Пишу тебе в сложный момент для всех нас. Вокруг сплошная тьма, и никакого просвета. Одни лишь бури и штормы. Господь отвернулся и от нас, и от нашей отчизны. Мы даже лишились права оплакивать ее горькую участь».

И хотя письмо кончалось на более оптимистической ноте, ибо Мицкевич пишет, что все еще верит в конечное торжество добра над злом, он при этом весьма резонно добавляет, что без давления извне едва ли удастся изменить что-то в лучшую сторону в судьбе Польши.

Между тем в судьбе самого Домейко произошло событие, которое вполне можно отнести к категории судьбоносных. 5 июля 1850 года состоялась его свадьба. Избранницей Игнатия Домейко стала юная чилийка, старшая дочь известного и уважаемого во всей стране инженера Хуана де ла Крус Сатамаера пятнадцатилетняя Энриветта.

Накануне свадьбы Игнатий пишет восторженное письмо другу юности, рассказывая ему о своей невесте.

«Не могу описать тебе, насколько эта девушка хороша собой. Едва ли тебе доводилось встречать подобных красавиц. Воистину, такая красота может взрастать только под этими божественно голубыми небесами, всегда чистыми, всегда ясными, всегда безоблачными. Разве что зимой налетит туча и на какое-то короткое время небо потемнеет. Да, я люблю ее… Хотя вряд ли смогу выразить словами все, что творится сейчас в моей душе. А потому скажу коротко: Энриветта де Сатамаер Гусман — моя невеста. Таков итог истории, продолжавшейся пять месяцев. А через две недели — наша свадьба».

Спустя пару недель после свадьбы Домейко получает письмо от Адама Мицкевича, датированное 7 июля, то есть письмо написано через два дня после бракосочетания. Естественно, Мицкевич еще не в курсе тех перемен, которые произошли в жизни друга. Он пишет о своем, и его просьба к Игнатию вызывает у того откровенное изумление.

«Дорогой Игнатий! Помнится, в своем последнем письме ты предлагал нам переехать к тебе. Конечно, я бы предпочел, чтобы это ты вернулся к нам. Однако, судя по всему, такое пока маловероятно. А потому я готов, хотя бы частично, воспользоваться твоим приглашением. Я всерьез обдумываю возможность отправить к тебе в гости на какое-то время своего сына Владислава. Ему уже скоро двенадцать и, по правде говоря, я и сам не знаю, что с ним делать дальше. Школьные программы здесь отвратительные, учеба стоит дорого, ученики испорчены. Он — способный мальчишка и тянется к знаниям. Вопрос только, к каким? Избрать для себя профессию юриста и обслуживать здесь французов?

Или стать спекулянтом и играть на бирже? К медицине у него нет склонностей… Мне кажется, у Владислава есть способности к естественным наукам. Словом, если позволят обстоятельства и материальные возможности (что не просто), мы его отправим к тебе. Бог знает, когда это случится. Сомневаюсь, что в скором будущем. А пока жду твоего ответа на мое предложение».

Разумеется, Домейко отписал ответное письмо незамедлительно, заверив Адама Мицкевича, что приложит все усилия, чтобы помочь его сыну с образованием, но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь.

Удивительно, сколь часто именно незримое присутствие друга юности помогало Игнатию Домейко в непростых жизненных ситуациях. Его моральный авторитет в студенческой среде был чрезвычайно высок, но молодых людей смущало одно обстоятельство: глубокая религиозность их профессора. Молодежь того времени, взращенная на идеях вольтерианства и агрессивном материализме Бюхнера, отказывалась понимать, как можно совмещать занятие естественными науками и веру в бога. Либо лжет наука, рассуждали они, либо вся религия — это ложь.

Любопытный факт приведен в «Воспоминаниях» бывшего студента медицинского факультета Чилийского университета, доктора Августо Оррего Луко, студенческие годы которого пришлись на начало шестидесятых девятнадцатого века. На письменном столе дона Игнасио, как называли Домейко его студенты, постоянно лежали два небольших мешочка, и все гадали, что именно в них могло находиться. И вот однажды, в день святого Игнатия, Луко, зайдя в кабинет к профессору, чтобы поздравить его с днем ангела, рискнул задать вопрос, занимавший всех однокурсников, и получил неожиданный ответ. В этих двух мешочках хранится польская земля.

«Для нас все кончено, — пояснил своему студенту Игнатий, словно угадав ход его мыслей. — *У нас больше нет отечества. Единственное, что осталось нам от Польши и чего никто и никогда не сумеет у нас отнять, — это наша вера. Она — единственная связующая нить, объединяющая всех, кто оказался в изгнании. Для всех нас — наша вера подобна сердцу: с ней мы родились, с ней мы живем и с ней мы умрем».*

Несколькими днями позже Августо, на которого разговор с профессором произвел очень сильное впечатление, пересказал его одному приятелю. Тот молча подошел к книжной полке, снял с нее томик со стихами Мицкевича, открыл книгу и прочитал Вступление.

«Напрасно некоторые упрекают Мицкевича за его приверженность к католицизму. Разве они не понимают, что, нападая на основополагающие принципы его творчества, они тем самым ставят под сомнение и само творчество поэта. Уберите католицизм, и что станет с Польшей? Что останется от поэмы Мицкевича «Дзяды»? Что, наконец, станет с самим поэтом? Мицкевич — католик, потому что он — поляк. И он никогда не откажется от своей веры, потому что это равносильно тому, чтобы отказаться от прошлого своей родины. Для него вера — это величайший источник вдохновения…»

Отныне тема религиозности профессора Домейко была закрыта в студенческой среде раз и навсегда.

В сентябре 1854 года объединенные силы коалиции в составе Англии, Франции и Оттоманской империи высадились в Крыму. Началась так называемая Крымская война, весьма рискованное и непродуманное предприятие. Война обернулась для всех ее участниц не только огромными материальными затратами, но и большой кровью. Командиры в подавляющем большинстве оказались неподготовленными к ведению боевых действий, многие вопросы обеспечения тыла были также не решены своевременно, и солдаты чаще гибли от голода и холеры, чем от вражеских пуль. Тем не менее поляки в своей массе приветствовали начало войны с Россией. В их сердцах снова затеплилась надежда. А что, если на сей раз их извечный враг Россия будет, наконец, повержена?

Поначалу Игнатий тоже пребывал в радостном возбуждении и даже подумывал о том, чтобы отправиться с семьей в Европу. А вдруг его любимая Польша

снова обретет свободу, и он-то, наконец, сможет показать жене и детям родные места? Но шло время, и надежды таяли. Домейко трезво оценивал то, что происходит в Крыму, и чем дальше, тем яснее понимал: никаких выгод Польше Крымская кампания не принесет. Но он по-прежнему регулярно писал своим друзьям и родственникам в Европу, и все чаще в этих письма фигурировал один и тот же вопрос: *«А что Мицкевич делает в Стамбуле?»*

Задаваясь этим тревожным вопросом, Домейко еще не подозревал о том, что друга его юности уже несколько месяцев как нет в живых. Лишь в марте 1856 года он получил несколько писем и европейские газеты, из которых узнал страшную правду.

Трагическая новость о смерти Мицкевича, скончавшегося в Стамбуле от холеры, потрясла Домейко до глубины души. Многие из его друзей филоматов уже ушли из жизни: кто-то умер в изгнании, кто-то погиб в сибирской ссылке, и смерть каждого он оплакивал как свое личное и большое горе. Но смерть Адама — это совсем другое. Ведь Мицкевич был не просто другом его юности, человеком, которого он любил, которым восхищался, за которым безоговорочно признавал право всегда и везде быть лидером. Ушел великий поэт, ушел его товарищ по несчастью, с которым они вместе столько пережили в первые годы своего изгнания во Франции. Тогда Мицкевич воистину стал ему братом. Да и потом, когда Домейко уехал в Чили, а Адам колесил по всей Европе в поисках работы и пристанища для своей семьи, их связь никогда не порывалась. Разве что в последние годы, когда Мицкевич попал под влияние своего духовного наставника и религиозного мистика Анджея Товяньского, переписка друзей стала суше и почти сошла на нет. Что не мешало Игнатию в каждом своем письме, адресованном двоюродному брату Владиславу Лашковичу, передавать приветы Адаму и его домочадцам и постоянно интересоваться новостями о его делах.

Когда после смерти Мицкевича его друзья в Париже стали разбирать архив поэта, то среди бумаг обнаружили множество писем Игнатия первых лет его пребывания в Чили и его путевые дневники, в которых тот весьма красочно описывал свои впечатления от поездок и экспедиций по стране. В свое время Мицкевич пообещал другу непременно издать все эти записки на родине, с тем чтобы с ними могло познакомиться как можно большое число людей. Но ничего из этого не вышло, и Игнатий, который слишком любил своего друга, не обиделся на него за такую нерасторопность и не затаил зла.

Напротив! Когда друзья поэта обратились к нему с просьбой разрешить издание этих дневников сейчас для того, чтобы деньги, вырученные от продажи книг, передать детям Мицкевича, потерявшим за короткий промежуток времени и отца, и мать, Игнатий Домейко откликнулся на это предложение незамедлительно.

«В своем письме от 15 марта, — писал он Владиславу Лашковичу, — *ты спрашиваешь меня, дам ли я согласие на публикацию в ежемесячном журнале «Час», который выходит в Кракове, моих дневников путешествий по Чили в 1838 году, с тем чтобы полученные средства передать в фонд помощи детям Адама. Разумеется, да! Тем более, что все рукописи, находящиеся в архиве Адама, являются его безусловной и полной собственностью. А потому я уполномочиваю тебя, дорогой Владислав, действовать впредь именно в таком русле… Еще раз подтверждаю, что отказываюсь от всяких притязаний на свои рукописи и прошу распорядиться ими наилучшим образом для того, чтобы выручить хоть какие-то средства для помощи детям… Одно лишь меня тревожит. Ведь прошло столько лет! Многое могло устареть с тех пор, как я заносил на бумагу свои путевые впечатления, многое изменилось и в моем отношении к тем вещам и идеям, которые тогда казались мне правильными. А потому, прежде чем публиковать, я бы предварительно тщательно отредактировал рукопись. Кое-что убрал, исправил или просто дал бы соответствующие пояснения по ходу текста».*

Несмотря на личное горе, постигшее Домейко в том же году (4 сентября скоропостижно скончался его младший сын Генрих), он продолжает живо интересоваться судьбой детей Мицкевича и их материальным положением.

«Хорошо, — пишет он своему кузену в очередном письме, — *что вы уполномочили заниматься всем этим делом Генрика Сенкевича. Уверен, этот достойный и любимый всеми писатель и гражданин наилучшим образом распорядится моими рукописями. Лично я сомневаюсь, что от их публикации будет большой прок. Сам я их не видел уже столько лет. Многое устарело и изменилось, и в жизни, и в моих взглядах на нее. А потому передай Сенкевичу, что я разрешаю ему убрать из моих дневников все, что он сочтет ненужным или обидным для кого-нибудь из ныне живущих».*

В 1860 году из Европы приходит радостная весть: крестница Игнатия, старшая дочь Адама Мицкевича Мария вышла замуж за Горецкого и уже даже родила девочку. Вместе с этой новостью друзья переслали Домейко и последнюю прижизненную фотографию поэта, сделанную незадолго до его рокового путешествия в Турцию. В памяти Игнатия Адам навсегда остался молодым красавцем, которого он помнил по тем давним годам, проведенным вместе. А потому, глядя на тучного пожилого господина с величественной и благородной осанкой, Домейко испытал самый настоящий шок.

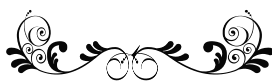
«Спасибо тебе за фотографию Адама, — писал он Владиславу. — *Я облил ее слезами. Но бог мой! Как же он постарел и изменился. Ни за что бы не догадался, глядя на снимок, что передо мной портрет Мицкевича, если бы ты сам не написал мне об этом в письме».*

Так завершились отношения двух замечательных людей. Дружескую приязнь, вспыхнувшую между ними в далеком 1816 году, каждый из них пронес через всю свою жизнь.

Много-много лет спустя, когда в 1884 году Игнатий Домейко, наконец, после долгих лет разлуки с родиной, снова приехал в Польшу и посетил Варшаву, одна из ведущих польских газет того времени так откликнулась на это событие:

«Одна из самых важных и значительных новостей минувшей недели, привлекшая к себе всеобщее внимание и вызвавшая интерес всех варшавян, — это, безусловно, появление в Варшаве одного из филоматов и близких друзей Адама Мицкевича Игнатия Домейко, приехавшего на родину из благословенной, золотой страны Чили. Имя этого человека известно каждому, кто хотя бы раз читал поэму «Пан Тадеуш». В этой поэме Мицкевич вывел своего друга под именем Жегота. Помните, в третьей главе поэмы есть эпизод? Жегота в застенках тюрьмы, в которую превратили базилианский монастырь, рассказывает своим товарищам притчу о пшеничном зернышке. Дьявол обслюнявил зерно и зарыл копытом в землю в надежде на то, что там оно сгниет без всякой пользы для людей. Но вопреки его чаяниям зерно взошло и дало невиданный урожай. Эта притча, пересказанная Адамом Мицкевичем в поэме, является олицетворением самого Домейко и его жизни. Везде, куда бы ни забрасывала его судьба, рядом с ним были святые пшеничные зерна, которые он взял когда-то с собой в момент прощания с родиной. С родиной, которую он никогда не забывал и с которой никогда не порывал. Всю свою жизнь Игнатий Домейко берег эти зерна как самое дорогое и бесценное свое сокровище».

Перевод с английского Зинаиды КРАСНЕВСКОЙ.



ВЯЧЕСЛАВ РАГОЙША

Первая из вершин

Прославление безымянного[1]

Стихотворение «Перад будучыняй» заканчивалось строфой с вопросительной интонацией:

Няўжо нас не аб'ясніць розум ясны
І не пакінем біцца з кута ў кут?
Няўжо кліч вечны будзе ў нас напрасны —
Кліч бураломны: вызваленне з пут?! [1, т. 4, с. 107.]

Призывая белорусов к национально-созидательному труду, Янка Купала, видно, и сам не до конца был уверен в успехе своих усилий. Но время шло, «вызваленне з пут» ощущалось все отчетливее. Белорусы были в основном трудовой, точнее — крестьянской, мужицкой нацией. Передел барской земли, наделение ею безземельных, развитие рыночных отношений, доступность образования, науки — все это соответствовало их интересам, а значит, радовало и народного заступника Янку Купалу. Уверенности в светлом будущем народа придавал и взятый партией ленинский курс на свободное развитие ранее угнетенных наций и национальных культур, что было подтверждено решениями очередного, XII съезда РКП(б) (апрель 1923 г.), которые по национальному вопросу были еще более радикальными, чем решения X съезда партии. Особенно поэт радовался за молодежь — будущее нации и государства. В стихотворении «Арлянятам», этой купаловской оде молодости, которой открывался в 1923 г. первый номер нового журнала «Маладняк», поэт с юношеским задором призывал:

Гэй, узвейце сваім крыллем,
Арляняты, буйна, бурна,
На мінулых дзён магіле,
Над санлівасцю хаўтурнай!..

У маланках перуновых,
З гулкім гоманам грымотаў
Для вякоў дыхтуйце новых
Нечуваныя ясноты [1, т. 4, 119].

Поэт выказывал твердую уверенность в том, что именно рабочая молодежь, которой «Серп і Молат даравала доля», сметет окончательно «цень мінуўшчыны праклятай, // Дзе бізун гуляў з нагайкай». Романтическая приподнятость, искренность высказывания, прозрачная, высокопоэтичная символика (орлята, серпы, косы, зерно «чыстае як вока», песни и т. д.), мажорный хореичный метр, упругие краткие строчки из четырех и трех стоп, возвышенная интонация — все это придало стихотворению-призыву, стихотворению-обращению, стихотворению-посланию не только особую пафосность, но и силу убеждения, чрезвычайную душевность. Стихотворение произ-

[1] Окончание. Начало в № 6, 2012 г.

вело огромное впечатление, и не только на молодежь, но и на все общество. Оно сразу стало хрестоматийным, повлияло на творчество многих «маладнякоўцаў» (Михась Чарот, Павлюк Трус, Валерий Моряков и др.), стало «популярным революционным гимном всей советской молодежи» (Александр Якимович).

В начале 1924 г. умер Ленин. Янка Купала откликнулся на жизнь и смерть вождя переводом на белорусский язык поэмы украинского поэта Валерьяна Полищука «Ленин» (опубликована в первом номере журнала «Полымя» за тот же год). Перевод, думается, был вызван не какими-то конъюнктурными соображениями, а искренним уважением переводчика к вождю, мысли которого были закреплены в решениях последнего при его жизни партийного съезда. А в решениях, которые, несомненно, импонировали Янке Купале, была поставлена цель «добиться того, чтобы… органы национальных республик и областей создавались преимущественно из людей местных, которые знают язык, быт, нравы и традиции соответствующих народов; были изданы специальные законы, которые обеспечивали бы употребление родного языка во всех государственных органах и во всех учреждениях, обслуживающих местное население других национальностей и национальных меньшинств, законы, которые преследовали бы и наказывали со всей революционной строгостью всех нарушителей национальных прав, и особенно прав национальных меньшинств» (из «Резолюции XII съезда РКП (б)»). Именно эти решения повлияли на соответствующие постановления партийных и советских органов БССР, на основе которых в республике началась официальная работа по белорусизации и «коренизации»: выделение на ответственные посты белорусов, придание белорусскому языку (наряду с русским, польским и еврейским) статуса государственного и перевод на него, как на язык преимущественного большинства населения, государственного делопроизводства, науки, преподавания в средних школах и вузах и т. д. В частности, в июле 1924 г. пленум ЦК КП(б)Б обязал всех членов партии, которые не владели белорусским языком, выучить его до 1 января 1928 г. Ослабли и цензурные ограничения. Наконец «Полымя» смогло опубликовать комедию «Тутэйшыя». Такая социокультурная ситуация окончательно убедила Янку Купалу в преимуществах советского строя, в перспективности пути, по которому пошло общество. Это и предопределило пафос многих его произведений того времени, в частности — поэмы «Безназоўнае» (1924).

Сначала поэт, по-видимому, не думал писать поэму. Он просто отзывался на те или иные события стихотворным словом. Так, в начале января Янка Купала опубликовал в газете «Савецкая Беларусь» (тогда она выходила на белорусском языке) стихотворение «Трэба» с подзаголовком «Газеце «Савецкая Беларусь» с приветственным словом по случаю выхода ее тысячного номера». Стихотворение позже стало восьмым разделом поэмы. В марте в той же «Савецкай Беларусі» было напечатано стихотворение «Як бы хто набаяў…» с посвящением: «На приветствие расширения Беларуси и шестого Всебелорусского съезда Советов». Это стихотворение позже вошло в поэму как ее шестой и седьмой разделы. Возможно, некоторые части поэмы были написаны еще раньше, приблизительно в одно время со стихотворением «Арлянятам» — настолько пафос, интонация, даже стихотворный размер у них схожие. Во всяком случае, уже во втором номере «Полымя» за 1924 г. произведение под названием «Безназоўнае» было напечатано целиком.

В отличие от прежних лирико-эпических поэм Янки Купалы («Курган», «Магіла льва», «Бандароўна», «Яна і я» и др.), «Безназоўнае» вовсе не имеет сюжета (возможно, отсюда и название произведения). Перед нами, по сути, новый тип лирической поэмы, какую условно можно назвать стансовой. Как и в стансах, где каждая строфа имеет интонационно-синтаксическую и смысловую завершенность, в «Безназоўным» каждый из десяти ее разделов напоминает отдельное стихотворение со своим мотивом, конкретным содержанием, видом строфы, ритмико-интонационным строем. Композиционное же единство произведения достигается единым лирическим героем, в котором угадывается сам поэт, а также лейтмотивом радости за новую явь Беларуси, которой пропитаны буквально все разделы поэмы, стилевым единством, общностью

пафоса. Причем общий романтический пафос поэмы олицетворяется в яркой символико-аллегорической форме. В частности, в первом разделе поэт рассказывает, как «беларускія межы // Усталі з залежы» — как стала, вначале «вельмі нясмела», Беларусь пробуждаться и наконец пробудилась совсем:

Скаваная сіла паўстала
Бурай... навалай...
Надзелі чырвоныя кветкі
Нашы палеткі [1, т. 6, с. 120].

Под «чырвонымі кветкамі», очевидно, надо понимать новую революционную явь. А вот как конкретно реализовывалась эта явь, как воздвигалась «*будыніна // На іншы склад і лад*», як «*плойма-чарада суседаў... // На каравай пшанічны наш // Машкарой ляцелі, елі»* — об этом (опять же языком символов) рассказывается во втором и третьем разделах поэмы. В четвертом разделе упоминается прошлое — как «*На нас ляцела смецце, // Бязладдзе, беспрасвецце, // Пятлю віло сіло*». Шестой раздел поэмы почти кульминационный. Здесь в образной форме выявлен патриотический идеал Янки Купалы. Беларусь предстает в аллегорическом образе гостеприимной и заботливой хозяйки:

Беларусь на куце
Ў хаце сваёй села, —
Чарка мёду ў руцэ,
Пазірае смела [1, т. 6, с. 124].

Обратим внимание на детали: Беларусь сидит « *у хаце сваёй»*, и не где-то, а «на куце», при этом «*пазірае смела*». «Сядзіць важна, сама сабе гаспадыня» — это уже из следующей строфы. Только «гаспадыня» не занимается самолюбованием, а «глядзіць, // Ці ўсё як трэба», ведь «Трэба ўсім дагадзіць // І соляй і хлебам». Очень важны и детали-символы убора хозяйки:

На галоўцы вянок
З сініх *васілёчкаў,*

А *чырвон* паясок
Стан абвіў дзявочы [1, т. 6, 124].

Несомненно, красный цвет в поэтике купаловского произведения символизирует революционно-советское («чырвоныя кветкі»), в то же время васильки — символ белорусско-национальный. Таким образом, Янка Купала в своем патриотическом идеале органично соединил социальное с национальным, был уверен сам и уверял других, что «революция решила белорусскую проблему, соединив национальный момент с социальным» (*Л. Клейнбарт*).

Шестой раздел поэмы кульминационный и в смысле накала патриотической радости поэта, достигающей здесь своей высоты. Высокий мажор поддерживается и седьмым разделом, его «веселым» хореическим метром (вспомним «Арлянятам»), всей системой разных повторов, аллитераций и ассонансов:

Зручна, гучна грай нам, грайка,
Ад усіх рэж струн!
Не свісціць ужо нагайка,
Не гудзіць бізун [1, т. 6, с. 125].

Следующие разделы поэмы по своим мотивам, а потому и по ритмико-интонационному строю, несколько иные. Радость от новой яви остается, но к ней добавляется размышление: размышление-предупреждение («*Бо цікуе злосны вораг // Тых, што спыняцца не ў часе // У сваім паходзе ў зорах // І задрэмлюць на папасе*»), размышление-прорицание («*Яшчэ ўспалаюць там паднебныя // Чырвоным полымем пажары...*»). Наконец — размышление-убеждение:

Дасталі сцежкі, ад якіх прапасці
Маглі мы ў беспуцці,
А кінем бітыя шляхі да шчасця,
Абы умець ісці [1, т. 6, с. 128.]

Лишь бы уметь идти… Об этом всегда думал великий Янка Купала, этому он учил родной народ.

На переломе железа и песни

В одном из своих стихотворений 1930-х годов Максим Танк писал:

Жыць нам прыйшлося вялікімі днямі
На пераломе жалеза і песні.

Это было сказано про другую действительность — действительность Западной Беларуси, входившей тогда в состав Польши. Однако еще больший перелом «железа и песни» происходил в то время в Беларуси советской.

Как мы уже говорили, в 1924 г. (и об этом ярко свидетельствует та же поэма «Безназоўнае») Янка Купала воспринимал БССР как свое родное и единое государство, а новый советский строй — как наиболее соответствующий настроениям и чаяниям рабочего люда. В 1925 г. торжественно отмечалось 20-летие литературной деятельности поэта. В июне того же года его — первого в истории Беларуси — правительство республики удостоило почетного звания народного поэта. Одновременно СНК БССР постановил назначить поэту пожизненную пенсию, что дало возможность ему целиком отдаться творческой работе. Это событие Янка Купала воспринял как «праздник… белорусской национальной идеи», «триумф освобожденной рабочей Беларуси». В искренности этих слов невозможно сомневаться. Как и в искренности следующих: «Иной Беларуси, как крестьянской и рабочей, я себе в своих мыслях и песнях не представляю, иных песен, как песен борьбы, освобождения и свободы, я не умел слагать и не смогу». Поэт был уверен: «Что бы ни творилось в мире, белорусская мысль о национальной и социальной свободе как жила, живет, так и жить будет» («Письмо в редакцию газеты «Савецкая Беларусь», 1925; 1, т. 8, с. 105). Через три года Янка Купала, после создания Белорусской академии наук, становится ее академиком (1928), еще через год избирается действительным членом Академии наук Украины…

Из уверенности и радости рождались в 1926 г. такие произведения песняра, как «За ўсё», «Сей, вольны сейбіт!», «Улетку», «Піянерскае», «Аб дзяўчыне», а также стихотворные юморески «І што я ёй зрабіў такое?», «Гутарка аб кепскай гаспадыні», «Гутарка аб кепскім гаспадару»… Кстати, юмористических произведений поэт не писал с дореволюционных времен. И уже само обращение к юмору показательно.

Однако радость Янки Купалы была далеко не безоблачной. Она каждый раз овевалась грустью и тревогой. В стихотворении «У лесе» (1926) поэт признавался:

Калі бывае мне маркотна, —
А я маркочуся часцей,
Чым гэта думае ахвотна
Мой дабрадзей ці ліхадзей, —
Тады іду я ў лес… [1, т. 4, с. 145].

Почему же поэт «чаще печалился»? На это было несколько причин. В СССР всю партийную и государственную власть в своих руках начал концентрировать диктатор-тиран Сталин. И это несмотря на предупреждение Ленина своих партийных коллег. «Чересчур грубый»; «став генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, что он всегда сумеет достаточно осторожно пользоваться этой властью»; «я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места

и назначить на это место другого человека…» — это из предсмертного ленинского завещания («Письмо к съезду»). Уже тогда стали формироваться сталинские стиль и методы руководства, которые позже были определены как «культ личности». Чем больше времени проходило со дня смерти Ленина, тем быстрее партийные функционеры, вознесенные на высокие должности генсеком Сталиным, отходили от ленинских идей, тем чаще ленинизм начал подменяться сталинизмом. Сталин отклонял от власти, а часто, организуя надуманные судебные процессы, физически уничтожал представителей так называемой ленинской гвардии: Бухарина, Троцкого, Каменева, Зиновьева, Пятакова, Рыкова… На рубеже 1925—1926 гг. потерпел поражение бухаринизм, а еще до этого, в 1925 г., — «новая оппозиция» во главе с Зиновьевым и Каменевым. В 1926 г. был идейно разбит на XV партконференции «объединенный блок» во главе с Троцким. В жизнь начал претворяться тезис Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. В 1926 г. началось активное наступление на НЭП (он был в основном ликвидирован в 1928 г.). В 1927 г. была провозглашена политика коллективизации крестьянских хозяйств — по сути, новое закрепощение крестьян. В белорусских деревнях началось сражение с «кулаками» — как правило, самыми трудолюбивыми, самыми умными крестьянами. Они лишаются недвижимости, а их самих вывозят в Сибирь, на Север, в Казахстан. В стране создается сеть концентрационных лагерей (ГУЛАГ). Больших усилий стоит Янке Купале спасти от вывоза в Сибирь своих «раскулаченных» мать и двух сестер…

Стали происходить перемены и в национальной политике. Сталин, обустраивая единое тоталитарное государство, начал тайно и откровенно выступать против прежней линии на суверенизацию республик СССР, сворачивать выполнение решений X и XII съездов РКП(б) по национальному вопросу. «Некоторые товарищи всерьез восприняли заявление о государственном суверенитете республик…» — предупреждал он партийных функционеров. Национальный демократизм в устах официальной пропаганды из «правого уклона» (как его называли раньше) превращается во «вражескую идеологию», а национальные демократы (нацдемы), как и национал-коммунисты, становятся «злейшими врагами партии и народа», само слово «нацдем» становится своеобразным прозвищем «врагов народа»…

В Беларуси начала сворачиваться белорусизация, стали проявляться рецидивы беззакония (например, арест драматурга Ф. Алехновича), великодержавного шовинизма, откровенной белорусофобии. Что, в свою очередь, вызывало определенное сопротивление школьной и студенческой молодежи, национально ориентированного учительства («Лістападаўшчына»). И вот в это судьбоносное время талант Янки Купалы вспыхнул с новой силой. Поэт встал на защиту народа, родного языка, культуры, демократии, Отечества. В шестом номере журнала «Полымя», в газетах «Савецкая Беларусь», «Беларуская вёска» в 1926 г. он поместил свыше двадцати стихотворений, написанных преимущественно в Окопах. Подборка в «Полымі» начиналась стихотворением «Ёсць жа яшчэ…», в котором поэт предстал не только Песняром, Пророком, но еще и Борцом. Борцом за правду, за свой народ, за Отечество:

Ёсць жа яшчэ ў мяне сіла
Крыўдзе не дацца, змагацца,
Над спячых продкаў магілай
Вольна маланкай мігацца [1, т. 4, с. 151].

Это — о себе. О личном были и другие переживания поэта: «*Ёсць жа яшчэ ў мяне сэрца, // Поўнае шчырых жаданняў*»; «*Ёсць жа яшчэ ў мяне песень, // Поўных надзеі, жыцця…*». Вместе с тем было у поэта еще одно чувство, которое его закаляло и добавляло сил в то нелегкое время, — вера в родной народ, его свободолюбие:

Ёсць жа яшчэ ў мяне вера
Ў вольны мой родны народ,
Што — у патрэбе — з сякерай
Выйдзе за волю ў паход! [1, т. 4, с. 151].

Янка Купала опять взял на себя обязанность звонаря-будителя, чтобы еще раз напомнить об идеалах, которые нужно отстаивать. «*Залеглі, бы ў ступе груца, — // Той не хоча, а той квол*», — с сарказмом писал он о некоторых своих современниках в стихотворении «Праз гультайства…» (1, т. 4, с. 162). Из-за этого *«гультайства, праз нядбальства»* (в черновом варианте было: «*Ад паляцтва, ад маскальства…*») белорусы «*Лазма лезлі самі ў нерат, // Як бы гнаў хто у каршэль*». Поэт, как и когда-то в 1919 и 1922 гг., призывал белорусов к большей самостоятельности. Он стыдил своих соотечественников: «*Быць затычкай пустой бочкі — // Сорам вольнай грамадзе!*» Он призывал их «*працерць… // Вочы хоць бы кулаком // І заняць у куце месца, // А не недзе за вуглом*». Та купаловская Беларусь, которая в первой половине 1920-х годов «*на куце ў хаце сваёй села*», в начале второй половины того же десятилетия, как видим, начинала отодвигаться дальше от него…

Если в стихотворении «Праз гультайства…» Янка Купала просто журил белорусов (прежде всего интеллигенцию) за их инертность, то в стихотворении «І прыйдзе…» он с тревогой предупреждал: «*А ўжо свой выдасць непадкупны // Аб нас гісторыя прысуд…*» и даже угрожал: «*А суд гісторыі цяжкі!..*» За что же, по мнению поэта, история будет судить и осуждать белорусов 20-х годов XX века? За что она попросит их «*даць адказ*»? А спросит история, насколько они «*сумленна // Жыццё прайшлі*», или «*па-даўняму нясмела // Жылі не ў лад і неўпапад*», или «*аб свой гонар дбайна дбалі // І дабравольна, без прынук, // Самі сабой не гандлявалі, // Не неслі ў петлі дум і рук*»? Вопросы были во многом риторические. А еще, по мнению Янки Купалы, история будет судить поколение 1920-х годов за то,

Што нейкі з нас хоць быў не зломак,
А плечы гнуў у крук не раз;

Не йшоў з адкрытымі вачыма
У свет і сцежкі не прастаў,
А ўсёй магчымасці магчымай
Таптаў сляды, сябе таптаў [1, т. 4, с. 140].

Как тут не вспомнить купаловское выражение «*Абы ўмець ісці*»?! Именно этому умению и учил поэт своих читателей.

Сам же он делал все ради осуществления тогдашней «*магчымасці магчымай*». Тем, кто «*над Беларусяй // Хоча распасцерці // Свой бізун чужацкі // І народ усмерціць*», поэт бросил вызов в написанном в стиле народных проклятий стихотворении «Каб…» (1, т. 4, с. 150—151). Проклятия посылались ужасные: «*Каб вады гарачай // На таго нагрэлі // І не ўстаў ён болей // Са сваёй пасцелі…*»; «*Каб таго парвала // З сэрцам на тры часці // І звяр'ё збрылося // Мяса параскрасці…*»; «*Каб таго скруціла // Га́дзінавым скрутам // І прастала потым // Сухажыльным прутам…*». По-видимому, надо было сильно допечь шляхетного, тонкого поэта, чтобы из его уст вырвались такие слова. И допечь не его лично, а его Отечество, его народ.

Конечно, Янка Купала не знал о том, о чем знаем сегодня мы, всей неизбежности тяжелых итогов захвата власти Сталиным, в результате чего, в частности, начала сворачиваться белорусизация, ожило «море великорусской шовинистической дряни» (Ленин). Этот шовинизм не побоялся вылезть даже на страницы республиканской печати. Так, в газету «Савецкая Беларусь» кто-то из Полоцка под псевдонимом «Белорусс» прислал статью «Вражда из-за языка» — пасквиль на белорусов и белорусский язык, на белорусских писателей. Чего стоит только одна фраза из нее: «Ведь язык белорусский, не имеющий литературы (ибо нельзя же в самом деле считать большими литераторами таких «письменников», как Янка Купала, Якуб Колас…), в сущности говоря, служит лишь для того, чтобы портить, извращать фонетику, стиль, грамматику чисто русского языка…» Разумеется, такое оскорбительное высказывание не могло не вызвать горячую защиту белорусчины, целую дискуссию о характере и судьбе белорусского языка, культуры, белорусского народа, в которую включились знаменитые культурные и общественные деятели (профессор Белорусского государ-

ственного университета Петр Бузук, председатель СНК БССР Язеп Адамович и др.), в том числе — и Янка Купала…

Подключившись к дискуссии, Янка Купала в произведении «Акоў паломаных жандар: На палеміку ў «Сав. Беларусі» аб беларускай мове» [1, т. 4, с. 133—134] пламенным поэтическим словом выстегал бывших «царадвораў», шовинистов, назвав их «*акоў паломаных жандарамі*», которым «не па нутру» была белорусизация, то, «*што хлапчук ў лапцёх, // Напаўадзеты вёскі сын, // У роднай мове ўчыцца змог*». Каждый такой «*расійскі чынадрал*», «*слуга оцечаству, цару*» видит во сне «*былую моц і шыр… // Пагромы, катаргі, Сібір*», не может смириться с развалом «единой и неделимой» Российской империи, образованием отдельных республик со своими языками в качестве государственных: «*Рэспублікі?! ды з «языком» // З іх лезе кожная ўсур'ёз…*». «*Масквы каронны гразь*», — так точно, апеллируя к известному высказыванию Тараса Шевченко («Варшавське сміття, грязь Москви…»), назвал поэт «*скінутых сатрапаў*», которым «*дай вісельню, дый каб // На ёй «языкі» ўсе ўшчаміць*». По-видимому, со времени «Ворагам Беларушчыны» (1907) Янка Купала не был более язвительно-саркастическим, чем теперь, во время написания стихотворения «Акоў паломаных жандар…».

Еще один бой с «чынадраламі» развязал Янка Купала в 1926 г. На этот раз в связи с постановкой комедии «Тутэйшыя». Написанная в 1922 г., она, несмотря на авторитет автора, никак не могла пробиться на сцену. И вот как раз теперь, имея уже звание народного поэта, Янка Купала добился, наконец, постановки пьесы на сцене БДТ-1. Постановка «Тутэйшых» была приурочена к Академической конференции по реформе белорусского правописания и азбуки, в которой приняли участие не только крупные ученые и деятели культуры БССР, но и РСФСР, Украины, Германии, Польши, Литвы, Латвии (П. Росторгуев, И. Свенцицкий, М. Фасмер, Ю. Галомбак, М. Биржишка, Я. Райнис и др.). Участникам конференции и показали спектакль 16 ноября 1926 г.

Что это был за спектакль и какая на него была реакция официальных властей, можно представить по небольшой дневниковой записи известного русского режиссера и тогдашнего главного художественного руководителя театра, постановщика «Тутэйшых» Н. Попова. Как он записал себе «для памяти», спектакль «напугал коммунистов Минска». И реагирование на испуг было мгновенное: «После первого и единственного представления пьесы были сняты со своих должностей все, кто имел отношение к разрешению постановки пьесы на сцене». Сам же Н. Попов был вынужден покинуть Беларусь…. Добавим, что опять в Белорусском национальном академическом театре имени Янки Купалы «Тутэйшыя» были поставлены только в конце 1980-х годов и долго не сходили с его сцены. Спектакль получил широкое общественное признание, а его постановщики и исполнители главных ролей — звание лауреатов Государственной премии Беларуси имени Янки Купалы.

Однако 1926 г. заканчивался. В 1927 г. республиканскую партийную организацию снова возглавил Вильгельм Кнорин, который в 1922 г. из Беларуси был отозван в Москву. Теперь он опять пригодился тут. Правда, ненадолго, на два года (1927—1928), чтобы только раскрутить маховик репрессий. Как и следовало ожидать, Кнорин сразу поднял партийный «молот», начал острую «классовую борьбу» с «нацдемами», «кулаками» и другими «врагами народа». В критике стал преобладать вульгарный социологизм, который чернил дореволюционную классику, писателей старшего поколения, «выводил на чистую воду» многих литераторов-современников. Дело Кнорина продолжил вскоре новый первый секретарь ЦК КП(б)Б Константин Гей. Стали распадаться отдельные литературные объединения, закрываться журналы (в 1928-м — «Маладняк», в 1931-м — «Узвышша»). Кропотливо составленные текстологами собрания произведений классиков начали выходить или в урезанном виде, или вообще не выходить. Так, из подготовленного под руководством академика И. Замотина трехтомного Собрания сочинений Максима Богдановича свет увидели только два тома. Под цензурный запрет попадает сборник Янки Купалы «Творы. 1918—1928» (1930). Янка Купала почти замолкает как поэт. В 1927 г. он печатает

только небольшую поэму «З угодкавых настрояў», в следующие два года — всего по два стихотворения.

В 1929—1930 гг. в СССР прокатилась первая волна репрессий против национально ориентированной ученой и творческой интеллигенции отдельных республик. Репрессии начались в Украине, с «разоблачения» мифического «Союза освобождения Украины», по делу которого во второй половине 1929 г. были арестованы и осуждены 45 человек [9, с. 813—814]. За «участие» в сфабрикованном ГПУ через год точно по украинскому образцу «Союзе освобождения Беларуси» (СОБ) были арестованы и осуждены 108 деятелей науки и культуры, в том числе академики Вацлав Ластовский, Степан Некрашевич, Язеп Лёсик, Максим Горецкий, профессора Аркадий Смолич, Петр Бузук, писатели Язеп Дыла, Владимир Дубовка, Язеп Пуща, Адам Бабарека… В опалу попали ректор БГУ академик Владимир Пичета, первый президент Белорусской академии наук Всеволод Игнатовский, нарком просвещения Антон Балицкий, нарком земледелия Дмитрий Прищепов… Арестованным инкриминировали то, что они, вроде бы, «являлись членами контрреволюционной националистической организации «Союз возрождения Беларуси» («СВБ»), в дальнейшем переименованной в «Союз освобождения Беларуси» («СОБ»), осуществляли организованное вредительство на культурном, идеологическом и других участках социалистического строительства, проводили антисоветскую националистическую агитацию, направленную на замедление темпов развития Беларуси по социалистическому пути, ставя окончательной целью отрыв Беларуси в этнографических границах от Советского Союза и создание так называемой Белорусской Народной Республики («БНР»)» [10, с. 245]. По делу СОБ карательные органы в конце 1930 г. вызывали на допросы Якуба Коласа, принудили его «разоружиться», написать несколько повинных заявлений в ГПУ БССР (16 ноября, 20 ноября, 6 декабря), обратиться 12.XII.1930 г. с самокритичным «Открытым письмом к молодежи» [см.: 6, *кн.* 1, с. 121—122, 122—126, 130—139, 139—145]. К СОБ органы ГПУ обязательно хотели присоединить (более того — идейно поставить во главе «организации») и Янку Купалу, который, согласно доносу в Москву, «входил в руководящий центр «Союза освобождения Беларуси», как о том свидетельствуют показания Лёсика, Некрашевича и других… являлся идейным центром нацдемовской контрреволюции, что нашло отражение в его творчестве. Наряду с произведениями вполне советскими у него имеются стихотворения и кулацкого, и прямо контрреволюционного содержания» (из письма К. Гея к секретарю ЦК ВКП(б) П. Постышеву от 21.XI.1930 г.; 6, кн. 1, с. 126). Поэта еженощно начали таскать на допросы. Но он не поверил показаниям своих бывших коллег и друзей (догадывался, как те «показания» выбивались в застенках ГПУ), не написал повинного листа. Как доносил тот же К. Гей, «приглашенный для переговоров в ГПУ, Янка Купала упорно отрицал свою принадлежность к какой бы то ни было контрреволюционной организации и не обнаружил ни малейшего желания пойти навстречу нам в смысле хотя бы осуждения контрреволюционной деятельности своих друзей — участников и руководителей СОБ» [6, кн. 1, с. 126]. Более того, после одного из таких допросов песняр 20 ноября 1930 г. сделал попытку самоубийства, решив, что «*лепей смерць фізічная, чымся незаслужаная смерць палітычная*». И добавил в том же предсмертном обращении «Председателю ЦИК СССР и БССР т. А. Червякову»: «*Павесіўся Ясенін, застрэліўся Маякоўскі, ну, і мне туды за імі дарога*» (1, *т.* 8, с. 113), догадываясь о реальной причине их вынужденной смерти…

На волнах социалистического романтизма

Самоубийство, на счастье, не удалось. Минские врачи спасли поэта. Человек, побывавший на «том свете», уже несколько по-другому смотрит на жизнь. По-новому, видно, начал воспринимать ценности жизни и Янка Купала. Но главное, что его предохранило от повторной попытки самоубийства, — это, думается, желание в новых обстоятельствах и по-новому послужить родному народу, белорусской нации.

Бюро ЦК КП(б)Б на закрытом заседании 21.11.1930 г., на второй день после попытки самоубийства поэта, в своем постановлении записало: «1. Рассматривать попытку Я. Купалы к самоубийству как форму политич. протеста против борьбы с контрревол. организацией (СОБ). 2. Считать необходимым добиться выступления Я. Купалы, Я. Коласа, Зарецкого и др. с резким осужд. контрревол. деятельности арестованных по делу СОБ и с осуждением тех своих произведений, которые служили нацдем. контрреволюции» [6, кн. 1, с. 127—128]. В газете «Звязда» 30 ноября 1930 г. было напечатано «Открытое письмо Я. Коласа». В той же «Звяздзе» за 14 декабря 1930 г. появилось и саморазоблачительное «Открытое письмо Я. Купалы» [1, т. 8, с. 114—119]. Якуб Колас и Янка Купала раскаивались в своих «грехах», но при этом они не назвали ни одной конкретной фамилии «врага народа», никого персонально не оговорили. Якуб Колас письмо писал сам, сохранился его рукописный оригинал с подписью [6, кн. 1, с. 139—145]. Что касается письма Янки Купалы, то купаловского оригинала не существует. Нельзя не согласиться с Янкой Саламевичем, что «это сфальсифицированное «Открытое письмо Янки Купалы» не принадлежит песняру, ведь в больнице Я. Купала не мог физически сделать это»; его, очевидно, «написал Л. Бенде» [1, т. 9, кн. 2, с. 202]. В подтверждение такого вывода говорит и выразительно бендевский, далеко не купаловский, стиль высказывания, и даже его дата: 10.12.1930 г. Конечно, понятно, что текст купаловской «декларации» был готов еще до этой даты. Так, в постановлении бюро ЦК КП(б)Б от 6.12.1930 г. сказано: «Декларацию Янки Купалы в печати не печатать до ознакомления с нею членов бюро ЦК» [1, т. 8, с. 394]. Даже не сохранилось сведений, прочитал ли вообще «свое» письмо Янка Купала…

В условиях сталинского политического преследования, которое началось с уничтожения национальной элиты — интеллигенции, прежде всего творческой и ученой, на передний план выступила задача сохранения нации. Если до революции Янка Купала неутомимо занимался «творением» нации, а в 1918—1920 гг. помогал этой нации получить свою государственность, если в 1920-е годы он прославлял и укреплял белорусскую государственность в ее конкретном, пусть себе и ограниченном, советском виде, то в 1930-е годы, когда большинство лучших сыновей народа были уничтожены, поэт увидел свою роль народного песняра и народного заступника несколько по-иному. Он отлично понимал, что вместе с «физической» смертью его самого и «политической» — его произведений вся белорусская нация осиротеет, потеряет то, что никто и ничто заменить не сможет. Остались же жить в русской литературе и русском народе произведения Есенина и Маяковского! В то же время «смерть политическая» многих русских, украинских и белорусских писателей сразу и целиком вычеркивала их произведения и даже сами имена творцов тогдашней советской культуры. Понять это помог ему, в частности, и Всеволод Игнатовский, который во время посещения поэта в госпитале вскоре после попытки его самоубийства доверительно сказал: «Тебе надо жить, Янка… Надо жить. Ты у нас один». В этих словах опытного человека из партийной и ученой номенклатуры была настойчивая просьба. Просьба и наказ человека, немного позднее Янки Купалы попавшего в ту же самую ловушку, которого также таскали на допросы в ГПУ, сняли со всех должностей, исключили из партии, и в начале февраля 1931 г. он решился на суицид…

Янка Купала в начале 1930-х годов у белорусов был, к счастью, не один. Но из национальных гениев, которые бы так глубоко и талантливо выявляли саму суть нации, являлись ее душой, был действительно один. И он, как и до революции (помните: «А беларусы ж нікога не маюць»?), это понимал. Понимал, что без него нация осиротеет, потеряет то, что никто не сможет заменить.

Таким образом, и в 1930-е годы Янка Купала оставался душой нации, хотя, разумеется, не мог уже откровенно быть пророком национального возрождения, тем более — государственной независимости. Между поэтом и властью был достигнут неофициальный компромисс. Власть использовала его имя и творчество для подтверждения плодотворности «ленинско-сталинской национальной политики». Со своей стороны, поэт стал, как и многие другие известные советские литераторы (Нико-

лай Тихонов, Михаил Исаковский, Александр Твардовский, Павло Тычина, Максим Рыльский, Тициан Табидзе, Джамбул Джабаев, Наиры Зарьян, Самед Вургун и др.), по мере возможности славить «вождя», «Сталина-сеятеля», воспевать то положительное, что видел вокруг: дружбу советских народов, ликвидацию неграмотности, индустриализацию страны, осушение болот и др. Он не касался, да если бы и хотел — не мог касаться, драматических и трагических сторон тогдашней жизни (принудительная коллективизация, раскулачивание крестьян, политические репрессии и др.), чего в тех условиях сделать было нельзя. Впрочем, о реальном, трагическом поэт далеко не все и знал (например, о системе ГУЛАГ), поскольку сталинисты совершали свое черное дело под большой тайной. Он, как и большинство советских людей, в основном доверял официальной пропаганде, которая по-своему объясняла многие события. Отсюда его стихотворения «На смерць таварыша Кірава» (1934), «Мала іх павесіць…» (1937), «Смерць забойцам А. М. Горкага» (1938), статьи типа «Ворагі народаў павінны быць знішчаны» (1937) и другие «побрякушки», что возникали по горячим следам событий и делались чаще всего по настойчивому и срочному заказу редакторов газет. Разумеется, сегодня, когда многие факты тогдашних политических событий нам известны, они чести автору подобных стихотворений и статей не делают, но понять его можно. Кроме всего, в 1930-е годы сполна применялась политика «кнута и пряника». Так, в середине и второй половине 1930-х гг. на Янку Купалу обрушилась целая лавина наград, привилегий, материальных благ, что значительно удалило его от народа, от реальных народных бед и забот. Правительство БССР подарило ему дачу в Левках (около Орши), автомобиль. Причем и дача, и машина вместе с шофером (конечно же, осведомителем) были взяты на полное государственное содержание. Без задержки выходили из печати новые книги поэта. Широко, на всесоюзном уровне, отмечались его юбилеи и юбилеи его литературной деятельности (1930, 1932, 1935, 1940)…

И все же даже такой, субъективно и объективно отдаленный от многих человеческих забот, Янка Купала, как справедливо сказал Александр Твардовский, «своим собственным существованием уже был чем-то неотъемлемым от духовной жизни народа». Он показывал и этому народу, и всему миру: несмотря ни на что белорусский народ живет! Живет белорусский язык! Живет Беларусь! Благодаря Янке Купале, а также Якубу Коласу и тем немногим старейшим писателям, которые избежали репрессий (Змитрок Бядуля, Янка Мавр, Илья Гурский, Кузьма Чорный, Кондрат Крапива, Михась Лыньков, Михаил Климкович, Григорий Мурашка), их более молодым коллегам, входившим в силу (Петрусь Бровка, Петро Глебка, Александр Якимович, Аркадий Кулешов, Пимен Панченко, Эди Огнецвет), понемногу укреплялось и национальное сознание белорусов, у них возникала понятная национальная гордость за своих песняров, а тем самым — и за Беларусь. Спасенная от «смерти политической», основная часть творческого наследия песняра, в том числе дореволюционная, активно служила белорусам, стала их национальным достоянием, духовным сокровищем. В те годы произведения Янки Купалы начали переводиться во всех республиках СССР, часто доходили и до зарубежного читателя. Тем самым, кроме всего прочего, закреплялись в сознании и советских, и европейских народов понятия «Беларусь», «белорусы», которые до революции даже на самой белорусской этнической территории не везде были распространены. Так Янка Купала продолжал служить Беларуси, белорусскому народу. Только уже, как видим, несколько другим образом и другими средствами.

По своей сути Янка Купала — поэт романтического склада, творец, настроенный на высокое, необычное, идеальное. Метод социалистического реализма, который с начала 1930-х годов стал основным и единственно возможным методом советской литературы, как раз и требовал необычного, идеального — «воспитания масс в духе коммунистических идеалов». Разумеется, это значительно сужало функции и задачи литературы, поскольку узкоклассовые коммунистические идеалы не всегда совпадали с гуманистическими, общечеловеческими. Произведения социалистического реализма в своем большинстве были далеки не только от классического реализма XIX в., но и вообще от реализма как метода, который требует кроме правдивости деталей

правдивого показа типичных характеров в типичных обстоятельствах. Этот метод точнее было бы назвать социалистическим романтизмом. Потому что не типичное, а исключительное, идеальное было в его основе, причем характер этого идеального был вначале предопределен в решениях съездов КПСС и партийных постановлениях. Тем не менее через романтическое преувеличение, гиперболизацию, идеализацию можно было временами проявить и свое понимание прекрасного, доброго, вечного. Что и делал Янка Купала, пишущий, в частности, поэмы «Над ракою Арэсай» (о коллективном труде по осушению болот), «Тарасова доля» (о борце за «свабоду, родны край і мову» Тарасе Шевченко). Романтической идеализацией проникнуто и то лучшее из лирики, что он создал в 1930-е годы, в первую очередь так называемый левковский цикл — ряд стихотворений, написанных летом 1935 г. на даче в Левках. Поэт-романтик был настроен на праздничное, торжественное, радостное. Его радовали родные пейзажи («Сосны», «Дарогі»), возможность учебы и работы, открывшаяся перед советской молодежью («Сыны», «Алеся», «Як у госці сын прыехаў…», «Хлопчык і лётчык»), признание заслуг трудовой Беларуси («Беларусі ардэнаноснай»), ощущение победы над разными внешними врагами («Старыя акопы», «Партызаны»), коллективная работа и отдых сельчан («Госці», «Вечарынка»)… При всем этом, что бы или о чем бы он ни писал, чувствуется присущий ему талант перевоплощения и творческое мастерство. Показательно в этом отношении стихотворение «Лён».

Як на поле, на зямлю
Прыйшла раніца вясны,
Я пасеяла ў раллю
Жмені зёран ільняных.

Неба сеяла цяпло,
Цёплы дожджык церушыў,
Ў думках радасна было,
Беглі песні ад душы.

Ой, лянок, лянок мой чысты,
Валакністы, залацісты! [1, т. 5, с. 69—70.]

Сразу, с первых строчек, в стихотворении проявляется мотив радости — через отдельные образы-детали («*раніца вясны*», «*неба сеяла цяпло*», «*у думках радасна было*»), уменьшительно-ласкательные формы существительных (*дожджык, лянок*), отдельные эпитеты (*чысты, валакністы, залацісты*), междометие «*ой*»… Мажорную интонацию усиливает ритм — «веселый» четырехстопный хорей, разные повторы, в первую очередь — шестикратное повторение в произведении одинаковых строфических комплексов, состоящих из двух четверостиший и двустишия-рефрена. В каждом таком комплексе по принципу градации (нарастание действия) параллельно развиваются две сюжетные линии: рассказ колхозницы-льновода о своей работе — от посева льна до его обработки («*лён палола*» — «*рваць ішла яго*» — «*ішла лён абіваць*» — «*слала я лянок*» — «*змяла ў мяліцы я лён, абтрапала лён траплом*») и, с другой стороны, — о ее взаимоотношениях с бригадиром Михасем, от первых признаков любви и до их совместной жизни («*спадабала я тады брыгадзіра Міхася*» — «*брыгадзір… час ад часу моргаў мне*» — «*Міхась мне паклаў на стан руку*» — «*дзе папаўся Міхасёк, цалавала на бягу*» — «*хату новую стаўляў брыгадзір мой для мяне*»). По сути, перед нами своеобразная лирическая мини-поэма, действие которой развивается в течение года, от весны и до зимы. Чем-то это произведение напоминает поэму «Яна і я», где также чувство любви тесно переплетается с показом разных форм деревенской работы и где радость любви органично сливается с радостью работы. Только в поэме лирический рассказ ведется от имени Я-мужчины, в стихотворении — от имени Я-женщины (как, кстати, и в стихотворениях «Я — калгасніца…», «Як я молада была…» и некоторых других). Для Янки Купалы, как для любого большого поэта, был очень характерен талант перевоплощения.

Прочитав стихотворение Янки Купалы «Лён», Максим Горький на полях рукописи написал одно слово: «Славно!» Он, несомненно, был прав.

Несмотря на характер произведений, выходивших из-под пера Янки Купалы, на внешне (только внешне!) хорошее отношение к нему советской власти, жизнь поэта была не безоблачной. За ним постоянно следили разные сексоты, подслушивали каждое его слово, регулярно писали «отчеты» в ГПУ. Чуть не каждое его несогласие с высказываниями и действиями отдельных государственных чиновников квалифицировалась как «антисоветская пропаганда». Даже гостеприимство дома Купалы, подкрепленное искренностью и кулинарным мастерством жены поэта Владиславы Францевны, вызывало подозрение: а не проводятся ли какие-то неразрешенные собрания под видом званых и незваных обедов? Литературный салон — так подозрительно-пренебрежительно в высоких партийных кругах стали называть дом Купалы, и брали на заметку всех, кто туда приходил. Как известно, «за десятилетие, с 1930 по 1939 годы репрессировано не менее 350 белорусских литераторов. Почти половину из них расстреляли» [11, с. 4]. Разумеется, многие из репрессированных бывали в купаловском «литературном салоне». И те, которых арестовали в 1930 г. по делу СОБ (А. Бабарека, П. Бузук, М. Громыка, В. Дубовка, Я. Дыла, В. Ластовский, Я. Лёсик, С. Некрашевич, Язеп Пуща, Б. Эпимах-Шипила, М. Горецкий, А. Цвикевич и др.), и представители этак называемой второй волны арестов, которая началась в феврале 1933 г. (Лукаш Калюга, С. Лиходиевский, Максим Лужанин и др.), и арестованные в самом трагическом 1937 г., когда только за одну ночь 29 октября было расстреляно 20 литераторов (А. Вольный, П. Головач, М. Зарецкий, В. Коваль, Ю. Лявонны, В. Моряков, В. Сташевский, И. Харик, М. Чарот и др.). В конце 1938 г. над самим Янкой Купалой, как и над большинством других, оставшихся в живых белорусских писателей, нависла смертельная угроза.

Тогдашний первый секретарь ЦК КП(б)Б Пантелеймон Пономаренко, присланный в Беларусь из Москвы в разгар политических репрессий в июне 1938 года, 21 ноября того же года послал Сталину просьбу дать разрешение на два «мероприятия»: кардинальную, полную русификацию белорусской лексики и правописания, а также на арест «врагов народа», в первую очередь — Янки Купалы и Якуба Коласа [см.: 6, кн. 1, с. 284—291]. Уже был арестован (14 ноября 1938 г.) Кузьма Чорный, вот-вот должны были начаться новые аресты. «Наркомвнудел Белоруссии запросил из центра санкцию на арест Купалы и Коласа уже давно, но санкция пока не дана, — жаловался Пономаренко Сталину. И тут же объяснял: — В отношении Янки Купалы, Якуба Коласа, Бровки, Глебки, Крапивы, Бядули, Вольского, Аксельрода и др. <…> имеются многочисленные показания разоблаченных и арестованных врагов, изобличающих их вплоть до связей с польской дефензивой. В отношении Янки Купалы имеется 41 показание, в большинстве прямые; Якуба Коласа — 31 показание; Крапивы — 12 показаний и так далее. По количеству и качеству изобличающего материала, а также по известным нам фактам их работы, они, безусловно, подлежат аресту и суду, как враги народа» [6, кн. 1, с. 290]. Какое же это было «качество изобличащего материала», относящееся к Янке Купале? Пономаренко доносил: «Янка Купала пустил крылатое выражение «пока живе мова, живе народ»«; «Они [названные выше писатели. — *В. Р.*] печатали и печатают внешне патриотические стихи и произведения, насквозь фальшивые, но необходимые для выражения советскости (их буквальное выражение). Янка Купала говорит, что то, что он написал при Советской власти, не творчество, а дриндушки. Они говорят, что теперь литература сведена на роль придатка, разъясняющего или восхваляющего, что это не творчество, а иллюстрация. В литературе нельзя ничего ставить или решать, так как партия все уже решила на много лет вперед, план составлен, иллюстрируй то, что прошло»; «Янка Купала недавно сказал: «Все наши карты биты, лучшие люди истреблены, надо самому делать харакири». (Он уже пытался один раз покончить с собой.) В другой раз он начал жаловаться (в своем кругу) на безудержную тоску, на то, что никакой Белоруссии он не видит вокруг себя, что его жизнь прожита даром, что он скоро умрет с такой же тоской о Белоруссии, с какой начинал свою жизнь в молодости» [6, кн.1, сс. 286, 288—289, 289].

Очевидно, так действительно думал и говорил в узком писательском кругу Янка Купала. И сексоты здесь ничего не придумывали. Но не была ли правда в таких суждениях? Кто-кто, а Сталин знал их резонность. Мог разобраться он и в филологической квалификации Пономаренко, который даже в белорусском аканье и яканье, в лексическом различии русского и белорусского языков видел «происки кучки нацдемовских заправил». Можно представить, как Сталин потешался, читая такой «пример» тех «происков»: «Лозунг «Да здравствует годовщина Октябрьской революции» на белорусском языке «Няхай жыве гадавіна Кастрычніцкай рэвалюцыі», испохаблен от начала до конца, — писал Пономаренко и объяснял Сталину: Белорусы говорят здравствуй, а «няхай» означает «пусть» в смысле пренебрежительного «так и быть». Гадавіна означает гада большого размера [?!! — *В. Р.*]. Так и говорят: «Ух, якая гадавіна». Кастрычнік — октябрь. Но кастрица — это не лён, а отбросы от льна» [6, кн.1, с. 288]. Сегодня даже удивительно читать, как такой глухой к языку коренной нации человек управлял республикой, в том числе ее культурой! И Сталин поступил очень мудро. Не дал согласия на арест известных белорусских писателей, на окончательную русификацию белорусского литературного языка. Как раз в конце 1938 г. готовился указ о награждении большой группы советских писателей орденами и медалями. И он приказал «заменить ордера на ордена». В январе 1939 г. радио и газеты разнесли известие: за большие заслуги в развитии советской литературы народные поэты Янка Купала и Якуб Колас награждаются орденом Ленина, Кондрат Крапива — Красного Знамени, Змитрок Бядуля — Трудового Красного Знамени, Петрусь Бровка — «Знаком Почета»… Реальная угроза ареста от белорусских писателей отступила.

На последней версте

В 1939 г. настоящую радость Янке Купале принесло воссоединение белорусского народа в едином государстве. Сбывалась его заветная мечта, высказанная еще в газетном обращении 1925 года, — о Беларуси «в ее этнографических границах». Янка Купала пишет большой цикл стихотворений «На заходнабеларускія матывы», вместе с Якубом Коласом едет в Белосток знакомиться с западнобелорусской действительностью, избирается депутатом Верховного Совета БССР от Лидского избирательного округа… В марте 1941 г. за сборник стихотворений «Ад сэрца» поэту присуждается высшая в СССР награда — Сталинская премия 1-й степени.

Но радоваться Янке Купале оставалось недолго. 22 июня 1941 г. Гитлер напал на советскую страну, нарушив заключенный незадолго до этого договор о дружбе и сотрудничестве между СССР и Германией. Для белорусских советских писателей довоенного времени, и не только для Янки Купалы, нападение гитлеровской Германии на СССР вначале стало событием не столько трагически-неожиданным, сколько просто неожиданным. Поверившие в несравненную мудрость и предусмотрительность «великого Сталина», в непобедимость Красной Армии, они, хоть и отлично видели еще задолго до Великой Отечественной войны, что *«гітлеры і герынгі з Берліна… // На край савецкі точаць шаблі і штыкі»*, все же, как Янка Купала, были уверены и заверяли других: «*На іхніх землях з іхніх генералаў // Знімаць пагоны будзем, шаблі і крыжы*» («Старыя акопы», 1935 г. — 1, т. 5, с. 58). Даже 1 мая 1941 г., за каких-то полтора месяца до фашистской агрессии, в стихотворении «З Першым маем» Янка Купала, обращаясь к советскому народу (который, кстати, в это время, готовясь к наихудшему, расхватывал в магазинах соль и мыло), оптимистично утверждал:

Пад расстрэлам стаяць больш не будзеш нідзе,
Больш тыран ланцуга на цябе не ўскладзе,

Бомбы больш не спадуць з самалётаў,
Кветкі сыпацца будуць з высотаў…
[«З Першым маем», 1941; 1, т. 5, с. 171.]

Однако немецкие бомбы начали падать с самолетов на белорусские города и деревни. И народный песняр сразу стал во главе духовного сопротивления фашистам, которые хотели лишить белорусский народ самого дорогого — Отечества. Янка Купала начал писать пламенные обращения к населению оккупированных районов, к партизанам (печатались в газетах «Правда», «Известия», «Красная Звезда», «За Советскую Беларусь» и др.), выступать на митингах, по радио, призывать к сопротивлению гитлеровской интервенции, вселять веру в победу над кровожадным врагом, «Гітлерам ашалелым». Особую известность получило его стихотворение «Беларускім партызанам», написанное в сентябре 1941 г. в здании Черноречкого лесничества (под Москвой), где поэт-беженец нашел временный приют.

Партызаны, партызаны,
Беларускія сыны!
За няволю, за кайданы
Рэжце гітлерцаў паганых,
Каб не ўскрэслі век яны.

На руінах, папялішчах,
На крывавых іх слядах
Хай груган іх косці ліча,
На бяседу соваў кліча
Баль спраўляць на іх касцях [1, т. 5, с. 172].

Это стихотворение-послание, стихотворение-призыв своей стилистикой очень напоминает прежнее купаловское стихотворение «Арлянятам». В нем то же романтическое обобщение, та же оптимистическая интонация, тот же четырехстопный хорей (вперемежку с трехстопным). Однако тема и идейная направленность произведений совсем разные. Если в стихотворении «Арлянятам» Янка Купала призывал молодежь к созидательному труду, выявлению своих творческих способностей, то в стихотворении «Беларускім партызанам» он зовет «арлянят» к безжалостной мести фашистам. Причем немецких фашистов поэт рисует средствами гротеска («*Сыты быў людскім ён жырам, // П'яны быў крывавым вірам*»), посредством вульгаризмов («*фашыстаў род сабачы, // Людарэзаў зброд смярдзячы*», «*нечысці*», «*людаеды*»). В отличие от «Арлянятам», в «Беларускім партызанам» романтическое соседствует с реалистическими деталями, даже натуралистическими («*рэжце гітлерцаў*», «*выразайце людаедаў*», «*вырывайце з жывых жылы*»). В ином случае это вносило бы в произведение дисгармонию. Тут же не только сам текст, пронизанный антифашистским пафосом, но и контекст тогдашней действительности, когда буквально каждый день приносил примеры неслыханной жестокости немецких захватчиков, уравнивали романтическое с реалистическим, даже натуралистическим.

Стихотворение «Беларускім партызанам», как никакое другое, сыграло огромную мобилизующую роль во время войны. Его перепечатали в оригинале и в переводе на русский язык Михаила Голодного все центральные и подпольные партизанские издания, его в виде листовок сбрасывали с самолета на оккупированные районы СССР, первыми строчками из него (они цитировались выше) начинались и заканчивались передачи радиостанции «Советская Беларусь», что работала тогда в Москве. Со временем стихотворение стало гимном партизан, и не только белорусских.

Однако враг наступал, несмотря на отчаянное сопротивление Красной Армии и партизан. Летом 1942 г. он уже стоял у стен Москвы. Янка Купала эвакуировался в поселок Печищи, что под Казанью. Как тут пригодились бы опыт, мужество, сила многих тысяч не только штатских людей, но — прежде всего — офицеров, генералов, маршалов, уничтоженных в 1930-х годах по приказу Сталина! Многих из репрессированных народный поэт знал лично как искренних патриотов, людей с кристальной совестью, верных революционным идеалам. Не мог он понять и необходимости заключения перед самой войной договора о дружбе и сотрудничестве СССР с фашистской Германией. Именно сталинская политика привела к быстрому захвату фашистами Беларуси, значительной части территории СССР, к тому, что гитлеровцы

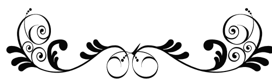
очутились у самой Москвы. Но даже не слова — мысли такие в то время становились известны ведомству Берии…

Янка Купала в начале июня 1942 г., накануне своего 60-летнего юбилея, был вызван в Москву. 8.6.1942 г. Казанский городской комитет ВКП(Б) выдал поэту удостоверение на поездку. Приехал он в столицу 18 июня. В тот же день встретился с Михасем Лыньковым, Кондратом Крапивой, Кузьмой Чорным. 21 июня поселился в гостинице «Москва» в 414-м номере. Какая основная цель была той поездки, почему не пригласили в Москву и Владиславу Францевну — неизвестно. Некоторое время в литературоведении бытовало мнение: готовиться к юбилею, который можно было бы отметить как всенародный праздник непобежденной Беларуси. Но против этой версии свидетельствует тот факт, что хотя юбилей был на подходе, специального правительственного постановления насчет этого события не было принято. Хотя еще 14 апреля 1942 г. Бюро ЦК КП(б)Б приняло решение «провести в ноябре 1942 г. юбилей 60-летия Народного поэта БССР Я. Коласа» [1, т. 9, кн. 2, с. 367]. В состав юбилейной комиссии по проведению юбилея Якуба Коласа был включен и Янка Купала. Поэт, несомненно, знал об этом, но не мог понять: почему игнорируется его собственный юбилей, который фактически почти на полгода раньше Коласова?

28 июня при загадочных обстоятельствах поэт трагически погиб — упал в пролет гостиничной лестницы. Вот как об обстоятельствах его гибели писал из Москвы в Ташкент Якубу Коласу Михась Лыньков, из комнаты которого на десятом этаже «Москвы» (№ 1034) вышел Янка Купала в половине одиннадцатого вечера — за пару минут до трагедии: «Упал Янка, видно, с площадки между 9-м и 10-м этажами, в пролет лестницы. Смерть была внезапной. Говорили, что будто он разговаривал с какой-то женщиной на площадке и стоял, пригнувшись к парапету. Но тройное следствие, которое велось [НКВД, военной прокуратурой и милицией г. Москвы. — *В. Р.*], так и не установило причины падения. Медицинское вскрытие не нашло никаких следов опьянения. Человек был трезвым, немножко выпившим шампанского. О самоубийстве не могло быть ни малейшего намека. Был он жизнелюбом, таким мы видели его и в последние дни» [7, с. 159—160]. Добавить надо разве что следующее: материалы «тройного следствия» гибели народного поэта Беларуси исследователям творчества Купалы до этого времени недоступны. В свое время с версиями о смерти Янки Купалы выступили Борис Саченко [12], Георгий Колас [13] и некоторые другие. Однако по-прежнему последние минуты жизни поэта остаются тайной…

Урна с прахом Янки Купалы в 1962 г. была перевезена в Минск и захоронена на Военном кладбище (ул. Долгобродская. Теперь улица В. Козлова. — *В. Р.*) рядом с могилой другого классика белорусской литературы — Якуба Коласа. В столице Беларуси в Парке имени песняра, что рядом с улицей Янки Купалы, на месте, где до войны стоял деревянный дом поэта (сгорел в первые дни войны), построено двухэтажное здание Государственного литературного музея Янки Купалы (он имеет свои филиалы в Вязынке, Левках, Окопах и Яхимовщине). В этом же парке с 1972 г. возвышается величественный памятник народному поэту Беларуси работы скульптора Анатолия Аникейчика.

Перевод с белорусского Татьяны КУВАРИНОЙ.



Три новых автографа Купалы и другие экспонаты

Интервью с директором Музея Я. Купалы Е. Лешкович



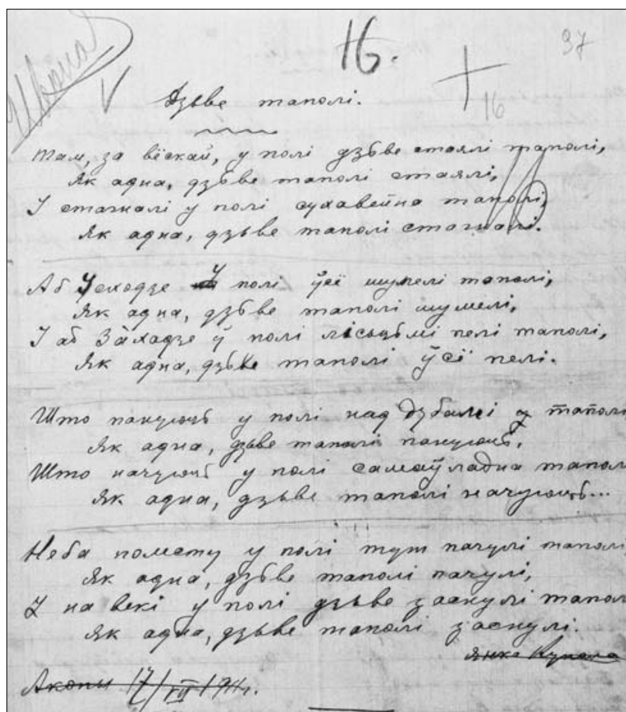
«Это фантастическое ощущение! Одно дело, когда ты берешь в руки изданные произведения и читаешь их, и совсем другое, когда ты держишь в руках лист бумаги, на котором текст написан рукой Купалы», — директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович вдохновленно рассказывает о своей работе с рукописями дореволюционных стихотворений поэта для каталога «Автографы первого народного поэта Беларуси Янки Купалы». Презентацией этого издания в Купаловском музее торжественно открыли юбилейный год Песняра. В каталог вошли все 559 автографов поэта, которые хранятся в музее. Но спустя всего полгода после презентации его уже нельзя назвать полным. И это не недостаток, а хорошая новость: значит, еще возможно отыскать неизвестные рукописи и автографы. Какими экспонатами пополнилась коллекция музея за это время? Какие особенности отличают известные рукописи? Экскурсию по фондам Купаловского музея специально для читателей «Нёмана» провела его директор Елена Лешкович.

— *Елена Романовна, расскажите, пожалуйста, о музейной коллекции «Автографы Янки Купалы».*

— Вначале мне бы хотелось отметить, что в нашем музее (в основном и научно-вспомогательном фонде) хранится более 40 000 музейных предметов. Безусловно, одна из самых ценных музейных коллекций — это рукописи Янки Купалы. 559 их хранится в нашей коллекции автографов. Таким количеством рукописей национального поэта не может похвастаться ни один белорусский музей. И я думаю, в мире немного найдется музеев, которые имеют такое количество рукописей национального гения.

Музею повезло, потому что создателем и его первым директором, человеком, который заложил принцип формирования коллекций, была жена поэта Владислава

Францевна Луцевич. Именно благодаря ей мы имеем сегодня такие фонды. Конечно, следующие поколения музейных работников тоже причастны к сбору коллекции. Но основные экспонаты передала в музей именно Владислава Францевна. Она лично разыскивала рукописи по всему СССР. Находились они и в Вильнюсе, и в Днепропетровске, и в Москве, а Владислава Францевна ехала за ними, привозила в музей. У нас есть уникальный экспонат — рукописный сборник «Шляхам жыцця», который хранился в Белорусском музее в Вильнюсе (на сборнике, кстати, есть интересная помета о том, что Янка Купала подарил его Клавдию Душевскому, а Клавдий Душевский заложил его в депозит в Виленский белорусский музей им. Ивана Луцкевича с правом вернуть по первой просьбе). После войны Владислава Францевна съездила в Вильнюс, забрала этот сборник и привезла его в наш музей.



16. 37

Дзьве таполі.

Там, за вёскай, у полі дзьве стаялі таполі,
Як адна, дзьве таполі стаялі;
І стаялі у полі сухавейна таполі,
Як адна, дзьве таполі стаялі.

Аб Усходзе ў полі ўсё шумелі таполі,
Як адна, дзьве таполі шумелі,
І аб Захадзе ў полі лісцьмі пелі таполі,
Як адна, дзьве таполі ўсё пелі.

Што пачуюць у полі над [illegible] таполі,
Як адна, дзьве таполі пачуюць,
Што пачуюць у полі самаўладна таполі
Як адна, дзьве таполі пачуюць...

Неба помету у полі тут пачулі таполі,
Як адна, дзьве таполі пачулі,
І на векі у полі дзьве заснулі таполі
Як адна, дзьве таполі заснулі.

Янка Купала

~~Акопы 17/VII 1914.~~

— Возможно ли сегодня заполучить в фонды рукопись из другого музея?

— Нет. Ни нормативная, ни законодательная база не позволяет нам получить оригинал рукописи, которая хранится в архиве или музее другого государства. Но мы стараемся, чтобы в наших фондах появились электронные копии таких рукописей. Например, у нас есть копии рукописей стихотворений Купалы «Роднае слова», «Хаўруснікам», «Памяці Вінцука Марцінкевіча», поэмы «Курган», которые хранятся в Белорусской библиотеке и музее имени Франциска Скорины в Лондоне и которые в 2010 году в музей передал Александр Надсон. Есть копии рукописей, которые хранятся в архивах: Государственном архиве Российской Федерации и Российском государственном архиве литературы и искусства.

— Значит, коллекция электронных автографов и копий постоянно пополняется?

— К счастью, не только электронных. Что касается новых копий в коллекции, то известно, что у Янки Купалы была обширная переписка с деятелями культуры и искусства, с российскими писателями. Поэтому в фондах других музеев, в личных архивах случаются интересные находки. В мае мы были в Риге, где в Белорусской рижской школе создается музей Янки Купалы. Во время этого визита посетили музей Яниса Райниса в Юрмале. Известно, что в 1926 году Янис Райнис приезжал в Беларусь на академическую конференцию, посвященную вопросам белорусского правописания, и встречался с Янкой Купалой. Владислава Францевна вспоминала, что Райнис приходил к ним в гости, после поэты переписывались. Переписка в нашем музее, к сожалению, не сохранилась (дом Янки Купалы сгорел в первые дни войны). Но мы надеялись: что-то сохранилось в музее Яниса Райниса — и не ошиблись.

Когда мы приехали в музей, я поинтересовалась у директора: «Известно, что, когда Райнис был в Минске, Янка Купала подарил ему книгу с автографом. Сохранилась ли она у вас?» Директор ответила: «Не одну книгу, а несколько, две из них с автографами. Мы подготовили эти автографы для вас». И теперь наша

коллекция автографов пополнилась еще двумя копиями. Такие находки воодушевляют.

Сохранилась ли переписка — еще неизвестно. Мы договорились о том, что сотрудники нашего музея поработают у них в фондах со всеми материалами, которые касаются Беларуси и Янки Купалы. Мы шутим, что Янис Райнис оказался прирожденным музейщиком: после визита в Минск в 1926 году он сохранил даже билет в театр. Сохранен оригинал приглашения на конференцию, которое ему отправляли из Академии наук Беларуси. Сохранилось много книг, которые ему подарили белорусские писатели. Мы нашли там проект реформы правописания с автографом Владимира Дубовки. И мы надеемся, что отыщем у них в фондах еще что-нибудь.

— Вы сказали о том, что сегодня коллекция пополняется не только копиями, но и оригинальными автографами…

— В январе в Беларусь приезжала дочь писателя Алексея Новикова-Прибоя (Янка Купала дружил с ним). Она пришла к нам в музей, мы показали ей всю экспозицию, долго говорили. Речь зашла об архиве ее отца. Ирина Алексеевна сказала: «Да, архив сохранился, он у меня на даче». Я попросила посмотреть, остались ли там какие-то документальные свидетельства дружбы с Купалой, спросила о возможности передать эти документы в музей. Но скажу честно: особенно мы ни на что не надеялись. И вдруг, спустя три месяца, в музей приходит обычная бандероль с тремя автографами Янки Купалы. Ирина Алексеевна передала в музей две книги и фотографию с автографами поэта. Кстати, похоже на то, что одна из книг — сборник «Песня будаўніцтву» — это вообще сигнальный экземпляр, потому что подарен он был в 1935 году, а год издания стоит 1936-й.

Для нас этот подарок — большая радость и очень хороший знак. Мы надеемся, что можно найти новые экспонаты в домашних архивах: известно, что у Янки Купалы было много друзей, соратников среди русских писателей, среди художников.

— Получается, недавно изданный каталог автографов уже неполный?

— Да, но это такое счастье, что еще удается что-то отыскать. Что касается каталога «Автографы первого народного поэта Беларуси Янки Купалы», то сегодня — это наиболее полное издание. Он увидел свет в двух вариантах — бумажном и электронном. Бумажный вариант скорее презентационный: в книгу, естественно, не могли войти все автографы. А вот в электронном уместились абсолютно все рукописи, которые на тот момент имелись в музее, в том числе и копии. Это и рукописи его произведений (стихотворений, поэм, пьес, публицистики), и дарственные надписи на книгах, фотоснимках, и конверты, подписанные Янкой Купалой.

— Какие из этих рукописей посетители могут увидеть в экспозиции музея?

— Оригиналы рукописей в экспозиции не представлены. Рукописи — это бумага. Янка Купала часто писал на бумаге невысокого качества, а письменные источники со временем очень легко разрушаются. Мы храним их в специальных условиях: в сейфах, в папках, завернутыми в специальную бумагу, при определенной температуре. Выставить их в экспозицию — значит погубить: например, выцветут чернила от солнечных лучей. Сегодня музейщики во всем мире такого не практикуют.

Но рукописи можно увидеть на временных экспозициях. Недавно прошла выставка, посвященная столетию со дня написания пьесы «Паўлінка», 99% представленных на ней документов, в том числе и рукописей, — оригиналы. Выставочная работа — это способ показать рукописи поэта, а в экспозиции мы заменяем их качественными копиями. Потому что это такие ценности, которые нация не имеет права потерять.

Кстати, в новой экспозиции будут использоваться мультимедийные технологии, и каждый посетитель сможет посмотреть на рукописи в электронном варианте. Например, полистать тот же сборник «Шляхам жыцця» на мультимедийном

экране. Увидеть тексты, написанные рукой поэта, его редакторские правки синим и красным карандашами.

— А расскажите о «фирменном» стиле рукописей Янки Купалы. Менялся ли он с годами? Отличаются ли чем-то рукописи 1910-х гг. и 1930-х гг.?

— Отличаются. В ранних рукописях, например, поэт пользовался черными чернилами, синими и красными карандашами. Этими карандашами Янка Купала пользовался преимущественно при редакторских правках, а чернилами он писал именно когда правил свой текст. Позже он стал вносить правки фиолетовыми чернилами и простым карандашом.

Отличаются подписи. В рукописях 1910-х гг. поэт подписывался: «Янка Купала», «Я. Купала», «Купала», сокращал «К—а». Под рукописями 1930-х гг. чаще всего стояли подписи «Я. Купала» или «Янка Купала».

Что касается бумаги, то в ранний период творчества Янка Купала чаще всего писал на линованной бумаге или листах в клетку. В рукописях дореволюционного периода творчества, особенно это касается написанного в Окопах, много автографов оставлено с обратной стороны банковских бланков и других подобных бумаг, которые попались под руку. Сохранилась рукопись на обратной стороне заявления помещицы Марии Желяговской, у которой семья Купалы арендовала землю, в какую-то судебную инстанцию. А вот в 1930-е гг. для письма Купала использовал современную бумагу: в клетку, в линейку, часто нелинованную.

В ранних рукописях довольно редко, но все же встречается схема подсчета слогов, определяющая размер строфы. Среди автографов тридцатых годов встречаются не только рукописи, но и автографы на папиросных коробках, этикетках от вина, конвертах. У нас хранятся открытки, которые Янка Купала присылал в Минск с отдыха на Кавказе, из Грузии, из Карловых Вар.

— Что можно сказать о творческой манере писателя, исходя из рукописей? Много ли правок, например, вносил Янка Купала в текст?

— У нас сохранились разные рукописи Купалы. Ранние — с меньшим количеством правок. Возможно, их поэт просто переписывал, не оставляя черновиков. Поздние — с гораздо большими следами работы над текстом: в наших фондах есть несколько вариантов одного и того же стихотворения — Купала по нескольку раз переписывал его, правил. Взять, например, рукописный сборник «Шляхам жыцця», в котором очень много правок. У нас в музее хранится корректура первого издания этого сборника, и в машинописи правок Купалы не меньше, чем в рукописном варианте. Это говорит об отношении Купалы к работе, о его отношенни к своему творчеству, о стремлении совершенствоваться. И все это несмотря на то, что сборник «Шляхам жыцця» — это третий сборник поэта, признанного поэта, которому в 1908 году его первый сборник «Жалейка» принес европейскую известность.

— Ожидают ли какие-нибудь изменения экспозицию музея?

— Предыдущая экспозиция была создана еще в 1976 году. Это пример классической музейной экспозиции, и на мой взгляд, очень удачной. Но время идет, на дворе — третье тысячелетие: появляются новые музейные мультимедийные и информационные технологии. Время требует нового художественного решения, поэтому было принято решение о создании новой экспозиции, первая очередь которой (три зала) уже открыты.

Цель экспозиции — показать жизнь и творчество Янки Купалы в контексте культурного и исторического развития нашей страны. Показать Янку Купалу как поэта-пророка, поэта-философа, который своим творчеством воспитывал самосознание белорусов и который достойно соотносился с европейским окружением. Что нового увидят посетители в нашей экспозиции? Впервые в ней будет раскрыта тема дворянского происхождения Купалы: раньше мы говорили об этом, но никакими экспонатами слова не подтверждались. В новой экспозиции посетители смогут увидеть генеалогическое древо Луцевичей: начиная от Станислава Луцевича (XVII век) и заканчивая Янкой Купалой. Мы знаем, что в

советское время Янку Купалу представляли как крестьянина, поэтому в экспозиции невозможно было рассказать о древнем роде Луцевичей, который даже имел свой герб. Теперь это будет исправлено.

Еще одна тема новой экспозиции: Янка Купала — первый создатель сонетов в белорусской поэзии XX века. Какое-то время считалось, что первым сонетописцем был Максим Богданович, но теперь историческая справедливость будет восстановлена.

Мы хотим показать Янку Купалу-горожанина. Дом Янки Купалы называли домом под тополем, и в экспозиции мы хотим создать «Салон под тополем». Чтобы с помощью музейных экспонатов было представлено не только то, что Купала — гений, первый народный поэт Беларуси, но чтобы в экспозиции проступали и его личностные черты характера. Знаменитый дом под тополем был очень гостеприимным, уютным, и любой человек, который приходил в этот дом, попадал в очень душевную атмосферу и никогда не уходил голодным. Нам бы хотелось показать Ивана Доминиковича как простого минчанина, хозяина этого дома. Мне кажется, это будет интересно посетителям, потому что в наследство с советских времен нам достался бронзовый Купала, а он, прежде всего, был человеком.

Еще мы планируем сделать несколько интерактивных зон для детей. Одна из них разместится в первом зале, где мы будем рассказывать про рождение человека, про то, почему Янка Купала взял себе такой псевдоним. И конечно, обойти вниманием праздник Ивана Купалы невозможно. Посетители, надев 3D-очки, смогут как бы оказаться на Купалье. Аутентичный праздник, подготовкой которого занимались студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств, был снят на видео в этом году в Вязынке. И это важно, что наши городские дети, которые очень мало знают о народных традициях, смогут виртуально побывать на Купалье, услышать аутентичные песни из околиц Вязынки, посмотреть на купальские костры, поучаствовать в купальских гаданиях. Вторая интерактивная зона будет создана с отсылкой к стихотворению Янки Купалы «Хлопчык і лётчык». Над ее концепцией мы еще работаем. Возможно, это будет рассказ о современной авиации и авиации тридцатых годов прошлого века. Возможно, путешествие по небу в кабине пилота, чтобы ребенок смог почувствовать себя летчиком.

И еще одно важное обновление в экспозиции: будет раскрыта тема зарубежного купаловедения в конце XX — первом десятилетии XXI вв., в том числе и исследования белорусской эмиграции. Эта тема в экспозиции не присутствовала, но она показалась нам достаточно интересной, и мы решили включить ее в структуру.

Мы сохраняем в экспозиции все мемориальные уголки: уголок виленской библиотеки «Веды», уголок петербургской квартиры Янки Купалы, гостиная купаловского дома здесь, в Минске, купаловский кабинет, — интерьерные залы всегда вызывают самый большой интерес.

Мы определили художественный образ, который должен пройти через всю экспозицию (она будет охватывать период с XVII в. — первые упоминания о роде Луцевичей — и до сегодняшнего дня), — это образ дороги, пути. Это сквозной образ для экспозиции: путь как история семьи Луцевичей, как история жизни белоруса испокон веку, как осмысление поэтом своей литературной миссии, как стремление в будущее, как пути поэта по Беларуси и пути поэта к Беларуси.

Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ,
фото Константина ДРОБОВА.

«Мы все — дети Купалы...»

В связи с 130-летним юбилеем Янки Купалы редакция журнала «Нёман» обратилась к представителям творческой интеллигенции с предложением поразмышлять над тем, какое влияние оказало творчество великого поэта на их гражданскую позицию, мировосприятие, понимание искусства и каково его значение в общем для белорусской литературы, культуры, государственности, национального самосознания. Актуально ли наследие поэта сегодня? Могут ли белорусы говорить о Янке Купале так, как говорят русские «Пушкин — наше все»?

Микола МИКУЛИЧ,
писатель, зав. отделом взаимосвязей литератур Института языка и литературы имени Я. Коласа и Я. Купалы НАН Беларуси



Янка Купала и Якуб Колас — классики белорусской литературы, основные духовные символы белорусского народа, с которыми связаны определяющие в отечественной истории художественно-философские и социально-моральные ценности и приоритеты. Утверждая лучшие национальные традиции, выявляя идеи белорусского возрождения, свободы и справедливости, равенства и гуманизма как идеи государственного строительства и независимости Беларуси, ее социально-политической самоидентификации, они своей деятельностью в начале XX столетия консолидировали широкие интеллектуальные силы белорусского общества, обусловили интенсивное развитие духовно-этнического самосознания и народно-патриотического движения.

Для творчества Янки Купалы характерно обращение к фольклору, к сокровищам устной народной поэзии. Оно выделяется подчеркнутой шириной и емкостью художественного мышления и соединяет в себе объективное и субъективное, реальное и идеальное, земное и небесное, тяжелую эмпирическую будничность и недосягаемую мечту. Янка Купала владел могучим и ярким талантом идейно-эстетичного обобщения. В его произведениях глубокое реалистичное отображение действительности переплетается с высокими взлетами фантазии, романтичными духовно-иррациональными озарениями героя. Они прославляют социально-моральные основы и принципы, способы и формы жизнедеятельности белорусов в контексте глобальных жизненных процессов и преобразований первой половины XX столетия.

Лирика и эпос Янки Купалы отображают характерные особенности национально-исторической судьбы белорусского народа, его духовного мировоззрения, интересов и устремлений. Они направлены на раскрытие глубин человеческого духа, его взаимодействия с миром социальной природы и общественного развития, к выявлению сложной и противоречивой философии жизни на земле.

В первой половине 1990-х годов я мечтал заняться изучением сложной проблемы, связанной с влиянием духовно-художественных поисков Янки Купалы на развитие белорусской литературы. В связи с этим было проведено анкетирование некоторых писателей и исследователей жизненного пути и творческого наследия народного песняра. Миновало чуть ли не два десятилетия, но материалы той далекойанкеты кажутся интересными и актуальными и сегодня — особенно в контексте 130-летнего юбилея Янки Купалы.

Предлагаю некоторые из них вниманию читателей журнала «Нёман» (публикуется впервые).

— Место Янки Купалы в литературном мире. Какими Вам видятся личность и творчество Янки Купалы с высоты сегодняшнего дня?

Василь БЫКОВ, народный писатель Беларуси:

— Янка Купала, безусловно, апостол белорусчины, один из самых святых людей Беларуси, первейший поэт очередного белорусского Возрождения.

Рыгор БОРОДУЛИН, народный поэт Беларуси:

— Быть душою и голосом своего народа, не это ли самое главное предначертание и призвание поэта. В литературе Янка Купала занимает свое, Богом данное ему место, ведь благодаря в первую очередь Янке Купале знали, знают и еще долго будут знать белорусскую письменность. В обществе, опять же, Янка Купала занимает выдающееся место, ведь по его творчеству в первую очередь судят о Беларуси, о белорусах. Белорусский характер в лице Янки Купалы получил свое нравственное завершение.

Владимир КОНОН, доктор философских наук:

— Янка Купала — центральная фигура новой белорусской литературы в ее трех измерениях — былом, настоящем и будущем. Его предшественники (самые значительные — Винцент Дунин-Марцинкевич и Франтишек Богушевич) — только предвестники большого духовного порыва, переросшего в «нашаніўскае» национальное Возрождение». Оно длилось всего пятнадцать лет (1906—1920). За это время была создана белорусская литературная классика: Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович и их последователи. В количественном (не в качественном) плане она уступает классической русской литературе. Но русская литература создавалась сто лет. От Александра Пушкина до Александра Блока.

Творчество Янки Купалы — это белорусский аналог больших открытий мировой поэзии и драматургии. Янка Купала как творец — гений, который создает поэзию экстатично — в порыве большого вдохновения. Но эту его доминанту не надо абсолютизировать. Ведь в процессе творчества он отшлифовал свой талант, стал отличным мастером-профессионалом, который мог и умел перевоплощаться, сознательно «входить» в состояние вдохновения, духовного напряжения, в вымышленный мир. Кроме того, он был высокообразованным человеком, врожденным филологом, первооткрывателем и создателем национального литературного языка, что, к сожалению, и сегодня осознано далеко не полностью.

Наше, а тем более общеевропейское, открытие Купалы — еще в будущем. В Беларуси на уровне массовой культуры совсем не знают аутентичного Купалу. Ведь у него, как и у других творцов интуитивного, стихийного склада, вместе с отличными встречаются и средние произведения, даже неудачи. Этим он отличается от Максима Богдановича, который умел терпеливо отшлифовывать, «ковать» свои стихотворения. Но в творчестве Купалы есть экзистенциальная, духовная и «жизненная» глубина, в которую заглянули только наиболее проницательные читатели.

Да и вся белорусская поэзия нашего времени в основном развивалась под звездою Купалы. Можно говорить про доминанту купаловской школы в ней. За пределами Беларуси Купалу (кстати, как вообще белорусскую литературу) еще не открыли. Между тем, Купала — это не только наш белорусский Пушкин, Мицкевич, Некрасов, Блок, но и белорусский Гёте. Вот только один фрагмент:

Няма для духа вольнага граніцы, меры,
Дзе б ён сягнуць не смеў, дзе б ён не узлунаў:

У хаосе быцця, у цьме ўсясветных з'яў
Ён не ніштожыцца, у сябе не губіць веры...
(«Чаму?», 1915)

В близком зарубежье про Купалу, пожалуй, слышали. В дальнем зарубежье — не читали и не слышали, кроме славистов.

Янка Купала был среди тех, кто духовно создавал белорусскую нацию, провозглашал белорусскую национальную идею. Это он сам понимал и сказал миру:

...І калі здзекваецца нада мною хтосьці —
Над Бацькаўшчынай здзекваецца ён маёй,
Калі ж над ёй — мяне тым крыўдзіць найцяжэй...
(«Бацькаўшчына», 1915)

Петр ВАСЮЧЕНКО, кандидат филологических наук:

— Купала — творец XX столетия, который как минимум на пятьдесят лет опережал свое время. Хотя многие исследователи отыскивали и сегодня пробуют отыскивать в его произведениях проявления архаики и древности. Безусловно, в купаловском наследии есть произведения и одномерные, узкофункциональные, локальные по содержанию. Но ядром его наследия являются те произведения, в которых автор не ограничивался однозначной творческой целью, не стремился к эстетическому «оживлению» одной идеологемы, где исследователи находили бесчисленное количество невыразительных мест и «противоречий». Именно они наиболее соответствуют современным воображениям про усложненность, многомерность, полифонизм.

Хронотоп мира Купалы чуждается простых линий, плоскостей; это микрокосм, построенный в созвучии с новейшими представлениями о пространстве и времени, где все относительно и подвижно, где нет раз и навсегда принятого вывода, где господствует противоречивая и всегда неожиданная художественная концепция, где развитие образов, их эволюция движутся по сложной линии — параболе.

Разветвленная купаловская символика достойно вписывается в систему эстетического и интеллектуального достояния мастеров европейской литературы XX столетия, притом не только символистов или «новых романтиков». Ведь Купала с его поэтическим темпераментом местами «прорывает» эту систему, расшатывает ее. «Прорывы» чаще происходят в той сфере художественного внимания, где исследуются импульсы человеческого «я», духовный потенциал индивида, где человеческое «я» в страданиях и срывах ищет новых путей к гармонии с Вселенной. Здесь Купала вплотную подходит к проблемам, над которыми позже столько настрадались художники-экзистенциалисты.

В контекст близких Купале произведений могут на полном основании включаться не только произведения современных ему писателей (Гамсун, Метерлинк, Гауптман и др.). В ряду авторов, близких Купале соответственно эстетике («гармоничного раздора»), согласно сходству гипотез, предупреждений, предположений про тайны и судьбы человеческого бытия — Сартр и Камю, Кафка и Джойс, даже драматурги-абсурдисты Ионеско и Беккет.

Характерно, что среди создателей былых времен величайшее внимание Купалы притягивали именно те писатели и поэты, прелесть произведений которых была обусловлена мотивами раздора — как в самой жизни, так и в ее вос-приятии. Пример — Сервантес, Байрон, Шиллер, Шекспир.

В обозначенном контексте Купала выглядит не как мэтр, не как «учитель» или «первооткрыватель», чьи произведения стимулировали бы ученичество или подражание. Подражать купаловской манере невозможно — в отличие от манеры, скажем, Богдановича, Маяковского или Есенина. Как невозможно в чем-то превзойти Купалу. Можно говорить про колоссальную силу воздействия, притяжения, которую оказывали и оказывают личность Купалы и его наследие на творчество всех без исключения белорусских поэтов. У одних создателей находит творческое продолжение купаловская эстетика, эстетика «гармоничного раздора», наполняется новыми реалиями модель Вселенной Купалы. Другие заряжаются купаловским поэтическим темпераментом или гражданским пафосом, которыми проникнуто каждое произведение Мастера. Третьи идут путем отрицания, преодоления, творческой «антигравитации»

и творят, как Богданович, собственную систему поэзии «чистой красоты». Но и эта «независимость от Купалы» — кажущаяся.

Ирина БОГДАНОВИЧ, кандидат филологических наук:

— Место Купалы в мире литературы давно определено: Классик, Песняр в вещем смысле этого слова. Его имя — духовный символ Беларуси. И я думаю, что с этого места никто и ничто Купалу не стронет, по крайней мере, пока не исчезнет последний белорус с Беларусью в сердце.

Анатолий ВОРОБЕЙ, кандидат филологических наук:

— Его талант чрезвычайно богатый, глубокий и многогранный. Это замечательный белорусский и вообще европейский писатель. Он стоит рядом с Пушкиным, Мицкевичам, Шевченко. Неповторим как романтик и выразитель национальной идеи возрождения.

Дмитрий САНЮК, кандидат филологических наук:

— Художественный мир Купалы очень разнообразен и многолик. Он обозначен таким универсализмом, что в белорусской литературе рядом с фигурой Купалы почти и поставить более некого. Купала — уникальное явление нашей литературы, ее экстремум. Эта эпохальность и исключительность отличают качество в эстетике Купалы, которая, словно солнце, освещает своими лучами необъятные купаловские материки и океаны. И качество это — трагицентризм. Мироощущение поэта, который является трагиком по своей духовной сущности, наложило сильный отпечаток на все творчество Купалы, все роды и жанры, которые в большой степени драматизируются и «трагедизируются».

Трагическое у Купалы — внежанровое синтетическое целое, которое подчиняет себе все «измы» его поэзии (романтизм, реализм, символизм и т. д.). Оно придает другую жизнь языческому мироощущению поэта, а также трансформирует в новое качественное образование его патетический оптимизм, оно пронзает насквозь фольклорные мотивы и заимствования в творчестве Купалы. Одним словом, художественно-эстетический мир поэта мог бы существовать при отсутствии всех вышеназванных элементов, но без трагического он не был бы миром Купалы.

Трагическое у поэта тот абсолют, возле которого существуют все другие эстетические явления относительного характера, и все они варьируются и взаимопроникают друг в друга. Трагическое же самодостаточный феномен, и он составляет фундамент эстетики Купалы.

— Ощущали ли вы на определенном этапе своего творчества влияние художественного слова Янки Купалы? Если да, то в чем оно проявилось?

Василь БЫКОВ:

— Не художественного слова (все же я пишу прозу, а не поэзию), а его политической позиции, безусловно. Хотя именно эта позиция Купалы умалчивалась. Да разве такое спрячешь? И она стала насущным заветом для Беларуси в конце XX столетия.

Рыгор БОРОДУЛИН:

— Мы все — дети Купалы. Кто больше похож на отца, кто меньше, кто совсем не похож. Без Янки Купалы не было бы белорусской поэзии как поэзии европейской ориентации, поэзии мысли и чувства, поэзии с языческими корнями и космическими устремлениями.

Меня лично Янка Купала учил думать по-белорусски, видеть по-белорусски, дышать по-белорусски. Учил сохранить душу и собой оставаться, видеть лучшее у друзей и соседей.

Талант Янки Купалы так многогранен, что трудно выделить какие-то отдельные грани. Когда в жару пьешь из источника, не думаешь, какие элементы делают воду именно родниковой. Поэзия — это прежде всего слово. Остается и останется загадкой, откуда у Янки Купалы такая власть над словом. Поэт служил слову, слово служило ему. Да это и

не назовешь ни служением, ни ремеслом, ни мастерством. Это, скорей всего, — озарение, прозорливость, астральность. Это от Всевышнего.

— Чему учились и учатся белорусские поэты у Янки Купалы? Какими гранями своего таланта он влияет на них?

Рыгор БОРОДУЛИН:

— Тяжело ответить, чему учится белорусская поэзия у Янки Купалы. Никогда не был ни в роли обвинителя, ни в роли заступника. Однако осмелюсь заметить, что большей части нашей современной поэзии неизвестен глубинный, вещий, загадочный в своем доверии и недоверии, земной и небесный Янка Купала.

Ирина БОГДАНОВИЧ:

— Понимая ученичество как процесс духовного взросления, который формируют определенные факторы, я думаю, что белорусские поэты специально не учатся у Купалы, условно говоря, не ходят в его творчество за наукой, как писать стихотворения. Влияние Купалы скорей отражается на формировании личности поэта, что выявляется в заимствовании художественных средств создания образов, что чаще всего открывает путь к простому эпигонству. А вот формирование личности творца под влиянием Купалы — фактор чрезвычайно важный для белорусской культуры, потому что передается дух, а не форма. Потому что, к сожалению, мы не рождаемся белорусами, а становимся ими благодаря Купале.

Анатолий ВОРОБЕЙ:

— Любви к Беларуси, ее народу и отдельному человеку, глубине мысли, пронзительности чувства и совершенству художественной формы, мастерству в использовании сокровищ фольклора и мировой культуры.

Дмитрий САНЮК:

— Легче и правильнее сказать, чему не училась белорусская поэзия у Янки Купалы. Не училась быть искренней, непосредственной, преданной и верной духовному, вечному, божьему. Большой духовный потенциал его волшебной поэзии почти совсем не использован поэтическими поколениями. Только теперь все мы ощущаем, что же такое Купала. А это — не фольклор, не мотивы и образы Беларуси, не идеи и т. д., это большое духовное явление, которое даже выше, чем художественность и эстетизм в его творчестве.

Заимствование внешних тем и образов не спасет поэзию, если она не будет жить внутренней жизнью Купалы. Но поэт — как неуловимая идея — символ, который все время надо ощущать по-новому и открывать для себя как тайну. А пока что он очень закрыт для нас как «вещь в себе». И учиться поэзия сможет у Купалы тогда, когда увидит и откроет настоящего Купалу, не идола скульптурного пошиба, а вечно живого поэта и человека. А пока что белорусская поэзия учится только простому и примитивному у Купалы, что лежит на поверхности очевидного текста. А весь транстекст, интертекст и подтекст купаловского творчества остается неиспользованным. Настоящий Купала более в подтексте своей поэзии, чем в прямом тексте. Потому и настоящая учеба у поэта еще впереди…

Перевод с белорусского Татьяны ДЕРЕХ.



Владимир ГНИЛОМЕДОВ,
писатель, литературовед, академик:

«Творчество Я. Купалы — это наш паспорт»

Если воспринимать как метафору выражение «Пушкин — наше все», то с ним можно согласиться. Метафора допускает преувеличение, в том числе эмоциональное. Но в обычном понятном, логическом смысле остается некоторое недоумение: а как же быть с Лермонтовым, Некрасовым, Достоевским и прочими? Им вроде бы и места не хватает. Думаю, что Пушкин с его демократизмом, уважением к человеку и его правам, с его умом и безмерным талантом с этим бы не согласился. Не хорошо быть всем, достаточно быть собой, и это очень немало.

Янка Купала тоже не один в белорусской литературе: рядом Якуб Колас, Максим Богданович, Максим Горецкий, Змитрок Бядуля... В плане типологической параллели его роль и место в белорусской литературе вполне можно соотнести с ролью и местом А. С. Пушкина в русской литературе и культуре, но это другая эпоха, начало нового, XX века. Янка Купала — поэт белорусского Возрождения, пророк нации, ее харизматический лидер. Родился он на одной земле с Адамом Мицкевичем (современником Пушкина). Янка Купала — это, так сказать, Адам Мицкевич в его «втором пришествии». В первый раз он не состоялся как белорусский поэт, потому что очень ополячено было общество, шляхта, и потребовалось почти столетие, чтобы появился Янка Купала и на полный голос заявил о себе и о своем народе. Он появился на рубеже XIX—XX столетий, когда старая культура переходила в новую цивилизацию. Происходили глубокие тектонические разломы, сдвиги, духовное землетрясение. Корневая Беларусь (Литва) — какой она была в средневековье, во времена Великого Княжества Литовского вместе со своей богатой историей, многообразной духовностью, когда при всех противоречиях уживались между собой различные конфессии, — требовала себе места в новой цивилизации. Купала стал защитником глубоко исторических национальных традиций перед лицом нового времени — практичного, более корыстливого, рационального. Он заявил о духовных и исторических ценностях народа, которые, по его мнению и мнению его сподвижников, должны были жить и развиваться. Этот процесс, названный белорусским Возрождением, происходил непросто, в сложной обстановке, при противодействии всевозможных противников. На всех своих уровнях — личностном, общественном, социально-экономическом, государственно-политическом, идеологическом — он питал творческую энергию Янки Купалы.

Творческое наследие Янки Купалы — это наш паспорт, без которого мы, может быть, не знали бы своего имени. Александр Твардовский всю жизнь стремился говорить правду и никогда не преувеличивал. Про Купалу он сказал: «Лирик по складу своего чудесного таланта, песняр Беларуси, выразивший сердце ее с необычайной силой, он всей своей поэтической сущностью как бы символизировал творческую мощь народа». Я согласен с этой оценкой.

Купала, мне кажется, повлиял на меня своей гражданской позицией, многими гранями мировоззрения и мировосприятия, верностью идеалам. Да, в 30-е годы в его творчестве подчас слышались «неверные звуки», но — что делать? — иначе, видимо, было нельзя. Но даже при этом он не отдалялся от людей, не изменял своему народу.

Купала, думается, актуален и сегодня, актуален всем идейным комплексом своего творчества, его эстетическим пафосом. Влияние его велико. Конечно же, никто не призывает писать так, как писал он. Структура стиха, поэтика меняются на глазах, и в этом смысле Купалу повторять не надо. Важно другое: Купала писал, как дышал. Вот об этом забывать не следует.



Михаил ПОЗДНЯКОВ,
поэт, переводчик, языковед, критик:

«Его лира воспевает неизменные духовные ценности»

Если русские говорят «Пушкин — наше все» (и с этим нельзя не согласиться), то мы, белорусы, можем не менее гордо сказать: «Янка Купала, Якуб Колас и Максим Богданович — наше все». Эти три титана нашей литературы, нашего национального духа заложили прочный фундамент белорусского здания культуры, определили его высоту и предназначение.

Янка Купала и сегодня для нас — символ высоких идеалов гуманизма, добра и справедливости. Именно через художественное слово он раскрыл душу простого белоруса, его характер, мысли и чаяния, его извечную жажду «людзьмі звацца».

Вместе с Якубом Коласом и Максимом Богдановичем, они, как основоположники новой белорусской литературы и белорусского литературного языка, в полный голос, убедительно и навсегда заявили о бессмертии народного искусства как высочайшей ценности человеческой жизни и деятельности. Это особенно ярко звучит в поэмах «Курган» Янки Купалы и «Сымон-музыка» Якуба Коласа.

Особенность гения Янки Купалы, его непреходящая значимость как творца, мыслителя и человека еще и в том, что его творчество и жизнь посвящены созиданию справедливого, честного, высоконравственного общества, мира с человеческим лицом. Янка Купала — истинно народный поэт. Этим, в первую очередь, он актуален и современен. При возрастании нестабильности в мире, угроз истинно демократическому, а не ложному мироустройству, поэтический голос Янки Купалы в наши дни приобретает второе дыхание. Его лира, вобравшая глубинные надежды народа, воспевающая неизменные духовные ценности, помогает отстаивать общенародные приоритеты. Она созвучна нашим главным государственным и народным устремлениям в построении социально ориентированного общества, в котором справедливость, нравственность и созидание во имя человека носят принципиальный характер.

Безусловно, все творчество Янки Купалы, начиная с его первого стихотворения «Мужык», которое отчетливо отразило жизненное и поэтическое кредо автора, оказало на меня огромное влияние. Сын деревни, вобравший в себя дух народа, вышедший из его глубин, как человек и писатель я формировался на творчестве основоположников нашей литературы и Янки Купалы в частности. Не могло быть у нас и не может еще очень долгие десятилетия ни одного серьезного писателя, не испытавшего влияния наших великих предшественников. Ибо они — явление и национальное, и философское, и литературное, и человеческое в нашей истории. Явление, не осознав и не приняв которое, художник, политик, творческий человек могут быть похожими на блуждающих в тумане.

И наша задача сегодня (задача государства, общества, школы, всех образовательных и воспитательных институтов) — умело донести до юных современников главные духовные и художественные ценности, заложенные в творчестве Янки Купалы. А этого после не одного потерянного года, после обрушенных на нас потоков грязи, бездушия, лжи, искривления и упрощения путей формирования сознания человека, достичь ой как не просто. Мир вокруг нас сложный, алчный, жесткий. Необходимо сохранить и усилить ориентацию на истинные духовные ценности. Белорусское государство этим сегодня и укрепляется. Этим и отличается: у нас истинно народное руководство и государство, с вытекающими из этого последствиями и реакцией на его политику.



Георгий МАРЧУК,
драматург:

«Поэт умел соединить лиризм и гражданский пафос»

У каждой нации в поэзии есть свои знаковые фигуры. Поэты уровня А. Пушкина, Гёте, Рудаки, Мицкевича, Фирзуоси, Купалы, Коласа, Лермонтова, Ду Фу, Шекспира — это маяки. И хорошо, что есть у каждого народа, кроме упомянутых, еще добрая сотня высокоталантливых поэтов. Вы спросите, а что же делать, как быть с менее талантливыми поэтами? Отвечу — читать и гордиться ими, потому как каждый поэт вносит свою, пусть небольшую, лепту в духовную ауру общества.

Поэзия Я. Купалы способствовала активизации национального самосознания. Он очень тонко умел соединять лиризм и гражданский пафос. В мировой поэзии это линия Гомера, Шиллера, Некрасова, Шевченко, Твардовского, Танка.

Самый яркий его шедевр «Адвечная песня».

К сожалению, и в детстве, и в юности я был далек от его поэзии, не знал и не читал. Я любил юмор, басни. Открыл для себя поэзию Купалы уже взрослым человеком, когда сочинил и свои первые произведения. Открывал, чтобы и не закрывать. Редко, возможно, но перечитываю его поэзию. Сказать, чтобы круто мое мировосприятие и мировоззрение его поэзия изменила, не могу. Каждому писателю, естественно, самому хочется дойти до понимания мироустройства и смысла жизни. Но всегда приятно, когда твои собственные мысли и эмоции совпадают с мыслями выдающихся поэтов.

Актуален ли Купала сегодня? Настоящая поэзия всегда актуальна, тем более такого гиганта, как Купала.



Иван САВЕРЧЕНКО,
доктор филологических наук:

«Беларусь возродится через любовь и красоту…»

Значение творческого наследия Янки Купалы я осознал достаточно поздно, где-то после сорока лет. Хотя в школьные и студенческие годы, несомненно, читал его произведения и, наверное, ощущал их влияние. Правда, творчество Янки Купалы я знал в меньшей степени, чем произведения русских поэтов и прозаиков — Михаила Лермон-

това, Александра Блока, Сергея Есенина, Льва Толстого, Федора Достоевского. Многие из них я просто знал наизусть, мог цитировать, что помогло мне овладеть русским литературным языком, поскольку в родной деревне на Могилевщине мы, естественно, разговаривали на белорусском языке.

Перечитав и глубоко проникнув в произведения Я. Купалы, я по-настоящему восхитился его гением, поскольку он наиболее полно аккумулировал извечные чаяния белорусского народа, выступил за социальное и политическое освобождение, полноценное развитие национальной культуры, языка, сохранение народных традиций.

Поэзия Я. Купалы исключительно социальная. Об этом красноречиво свидетельствуют его первые сборники — «Жалейка» (1908), «Гусляр» (1910) и «Шляхам жыцця» (1913). В программном стихотворении «Чаго б я хацеў» (1905) поэт сформулировал миссию своей поэзии — служить белорусскому народу, поддерживать его устремления к «лучшей доле».

В великолепных стихах Я. Купала воспевал красоту родной земли, раскрывал богатый духовный мир человека, изобличал врагов Беларуси, осуждал колонизаторов всех мастей.

Я. Купала — неповторимый поэт-эпик. Его перу принадлежат замечательные поэмы — «Зімой», «Нікому», «Адвечная песня», «Курган», «Магіла льва», «Яна і Я», которые вошли в сокровищницу славянской и мировой литературы.

В комедии «Паўлінка» Я. Купала художественными средствами высказал мысль о том, что Беларусь возродится через любовь и красоту. В пьесе «Тутэйшыя» Купала-драматург глубоко осмыслил цивилизационный феномен белорусов, обосновал право белорусской нации на свое место в мире.

Исключительную ценность представляет интеллектуальная публицистика Я. Купалы. В своих статьях он неизменно выступал в защиту прав личности, отстаивал идею формирования политической нации и создание белорусского государства. В статье «Вера и национальность» писатель-интеллектуал гневно осудил разжигание межрелигиозной вражды и разделение единого белорусского народа по конфессиональному признаку.

Творческое наследие Я. Купалы не утратило своей актуальности. Его произведения приносят неизмеримое эстетическое наслаждение. Они полны красоты, совершенства и художественной изысканности.

Андрей СКОРИНКИН,
поэт: исполнитель роли гусляра в рок-опере «Курган»



«Купала выражал чаяния простого народа...»

Несмотря на то, что по материнской линии мой дед являлся троюродным братом Янки Купалы, в его оценке я постараюсь быть максимально объективным. Янка Купала большой поэт. Белорусский. Поэт своего времени, своей земли, своего народа. Некоторые из его произведений пережили и его, и свое время. В частности, поэма «Курган», которая была написана Иваном Доминиковичем в Санкт-Петербурге в 1910 году, когда в воздухе витали бунтарские настроения. И, как мне кажется, здесь при смешении белорусского менталитета и русского бунтарского духа получилось произведение, которое концептуально не только для того времени. Единственно, чего мне не хватает в этом произведении,

да и во многих произведениях Янки Купалы, христианского взгляда на мир, христианского фундамента. В нем ярко выражено, несмотря на католическую веру, языческое начало. Он обращается к Ветру, обращается к родной Земле, к Солнцу, редко к Богу. Выпадает из христианской традиции все его творчество, на мой взгляд. Когда он пишет в поэме «Курган» про князя, про противостояние князя и песняра, то естественно, князь — это эксплуататор, гусляр — выражает настроения простых людей и совершенно сознательно идет на заклание для того, чтобы прозвучало слово правды. Вот в этом противостоянии я бы очень хотел увидеть какой-то христианский сюжет, т. е. за средневековым князем я бы хотел увидеть другого князя — князя мира сего, который периодически вселяется в каких-то ярких людей, которые готовы так же, как и он сам, вступить в противоречие с Богом. Мне образ гусляра близок. И поэтому, когда три года назад композитор Игорь Лученок, написавший в 1963 году кантату для хора, солистов и симфонического оркестра на основе поэмы Я. Купалы «Курган», высказал идею новой постановки, я охотно ее поддержал. Нелегко было осуществить задуманное. Когда-то на основе этой кантаты в репертуаре легендарного ансамбля «Песняры» уже звучала поэма-легенда «Гусляр» в талантливой обработке Владимира Мулявина. Это была не просто аранжировка, а обработка произведения И. Лученка. Мы с творческим объединением «Спадчына» решили создать свой вариант — рок-оперу «Курган», уточнив некоторые места поэмы, поставив строфы на место и расширив произведение за счет вступления — и музыкального, и поэтического, чего не было ни у Лученка, ни у Мулявина. У Янки Купалы за год до сотворения самой поэмы было написано еще предисловие, которое не публиковалось. Вернее, публиковалось, но не во всех изданиях.

Скінь, мой дружа, пыху сэрца,
Скінь, вазьмі паслухай.
Што хачу тут расказаці...
...Так, па-простаму, па-свойскі —
не магу іначай.
Стану баіць, гаманіці
Аб жыцці лядачым.
Сэрцам сэрца закалыша
У душу загляне...

Во вступлении и в самой поэме у Янки Купалы проявился дар предвидения, предсказания. По сути, там описана и наша жизнь. И тем, что мы сделали эту рок-оперу «Курган», мы как бы исполнили пророчество Я. Купалы, заложенное в этой поэме.

Прайшло сто лет, ці болей —
Кажуць людзі
У год раз дзед з гуслямі
З кургана, як снег белы, выходзіць
Гуслі строіць свае…

Творческая команда, осуществившая проект рок-оперы «Курган», объединила арт-группу «Белорусы», исполнившую основные вокальные партии, известных белорусских певцов: Анатолия Ярмоленко, исполнившего роль князя, Валерия Дайнеко, Инну Афанасьеву, Яна Цыбулько, актера Валерия Анисенко, который читает от автора, и государственный ансамбль танца под управлением Валентина Дудкевича. Дудкевич — автор хореографической идеи. Благодаря этому коллективу проект стал театрализованным. В спектакле занята инструментальная группа — Святослав Позняк, Сергей Антишин, Вячеслав Михнович и другие.

Купала разный. Купала дореволюционный — какой-то естественный. Купала послереволюционный, на мой взгляд, несколько неестественный. Видно, что рука мастера не потеряла своей искусности, но, тем не менее, как мне кажется, Купала утратил свою, что ли, искренность и свободу. Но время было такое. У каждого свой выбор. Бог дает свободу выбора. Купала выбрал именно этот путь. Он активно следил за тем, что происходит. Он писал произведения, которые восхваляли тогдашних руководителей. Но судьба его все равно трагическая. Как судьба всякого настоящего поэта.

Я хочу напомнить библейскую мудрость: дружба с миром есть вражда против Бога. Собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Купала был на

виду, Купала был с властью, он активно занимался общественной деятельностью. Его литература была на виду, не запрещалась открыто. Хотя втайне, возможно, ему было не очень-то сладко жить. Но это судьба всякого художника. Он пронес свой крест, насколько ему Бог дал сил. Каждому дается не больше, чем он готов нести. Хорошо было уходить из жизни для истории, для легенды... Пушкин, Лермонтов... Неизвестно, что было бы с ними, если бы они жили долго. Но они остались яркими, они были подстрелены на самом взлете. Купала тоже совершил свой подвиг. Но у каждого народа свои герои. И, наверно, в нашей болотистой местности стать поэтом мировой величины очень сложно. И, на мой взгляд, Купале, если говорить по-крупному, это не совсем удалось. Но для белорусов он велик. Он истинно народный поэт. Потому что он всегда в своих произведениях выражал чаяния простого человека. То, что он говорил, было понятно читающему человеку. Его поэзия проста по форме и по содержанию. В ней не было общепринятых классических размеров. Он писал, как мог. Богданович, например, в свои стихи привносил какие-то европейские размеры. И сейчас, возможно, Купала был бы близок и понятен, хотя теперь другие приоритеты, вкусы, другая мода. Хорошо, что он в школьной программе, хорошо, что есть Музей Янки Купалы, и не один, с филиалами. Есть памятник. Это хотя бы заставит современного человека и человека будущего открывать его произведения. Великие произведения великого белоруса — Янки Купалы.



Елена ЛЕШКОВИЧ,
директор Государственного литературного музея Янки Купалы:

«Нас объединяет любовь к поэту»

О том, кто такой Янка Купала, я узнала, когда училась в первом классе. Тогда я познакомилась даже не с произведениями поэта, а прочитала книгу Зинаиды Бондариной «Ой, рана на Івана», которая была у нас в домашней библиотеке. Она произвела на меня необычайно глубокое впечатление. Это сейчас мы знаем, что Янка Купала — шляхтич, потомственный дворянин. А в советское время Купала считался крестьянином. И мне было так жалко бедного крестьянского мальчика, он казался таким обездоленным: столько ему пришлось пережить. Первое знакомство с творчеством Янки Купалы — это, конечно, чтение его стихотворения «Хлопчык і лётчык». Потом были поэмы, и самая любимая из них — «Бандароўна». Из драматических произведений предпочтение отдаю «Паўлінцы», столетие со дня написания которой мы отмечаем в этом году. Сейчас у меня на столе лежит сборник «Избранное» Янки Купалы. Это моя палочка-выручалочка. Когда что-то не ладится в жизни, на работе или просто нехорошо на душе, я открываю томик стихов Купалы и начинаю читать, это меня сразу успокаивает.

Для меня Янка Купала — символ Беларуси. Я все время это подчеркиваю. И нет, наверное, в истории нашей страны писателя, исторического деятеля, который бы так же страстно, так пламенно любил Беларусь, любил белорусский язык и всегда бесстрашно выступал в его защиту. Сказать, что он талантливый поэт, — это ничего не сказать. Он — гений. Его произведения актуальны и сегодня. В этом и заключается сила гения: читаешь стихотворение и думаешь, что оно как будто бы вчера написано. Но кроме того, что он гениальный поэт, он еще и гениальный философ, пророк. Концепция государственной независимости Беларуси, которую Янка Купала декларировал в своих произведениях, стала основой для нашего суверенного государства.

Когда-то Владимир Короткевич сказал о Янке Купале: «Гэты чалавек усім створаным вярнуў народу годнасць, годнасць за сваё мінулае, сілу жыць у сённяшнім, мужнасць, каб глядзець у будучыню.

Бываюць паэты большага ці меншага генія, больш ці менш моцнага ўплыву на розум і ўяўленне Чалавека, але для нас, беларусаў, ён адзін такі.

Ён — Купала. І гэтым усё сказана».

Мне очень хочется, чтобы мы, белорусы, всегда помнили эти слова.

Как директор Музея Янки Купалы я чувствую большую ответственность. Пять лет назад, когда я узнала, что мне придется возглавить Купаловский музей, мне было тревожно: боялась подвести память поэта. Я думаю, что мне очень повезло: во-первых, я работаю именно в этом музее, а во-вторых, у нас креативный коллектив, причем работают люди разных возрастов — и молодежь, и те, кто постарше. Но это коллектив единомышленников, и нам творить комфортно и интересно. Главное, что нас объединяет, — это любовь к Янке Купале.

Русские говорят: «Пушкин — наше все». Мне кажется, что для белорусов Купала — это тоже все. Я наблюдаю за нашими посетителями. В основном к нам приходят школьники, но в последнее время среди посетителей много молодежи, пенсионеров. И, наблюдая за тем, как они воспринимают творчество Песняра, я могу сказать, что Янка Купала близок каждому белорусу: и белорусам, которые живут в нашей стране, и белорусам, которые живут за границей.

Недавно мы вернулись из Латвии, из Риги, где именем Янки Купалы названа белорусская гимназия: презентовали выставку, провели общественно-культурную акцию «Читаем Купалу вместе!». В этой гимназии планируется открытие музея Янки Купалы, и мы принимаем непосредственное участие в его создании. Было очень приятно, что для белорусов, которые живут в Латвии, которые любят и знают других авторов — и классиков, и современников, для них Янка Купала был и остается Поэтом номер один. Для нас Янка Купала, безусловно, — тоже Поэт номер один, мы его очень любим и стараемся, чтобы его наследие стало близким новым поколениям, и прежде всего нашей молодежи.



Зоя БЕЛОХВОСТИК,
актриса Национального академического театра имени Янки Купалы,
заслуженная артистка Республики Беларусь,
заслуженная артистка Автономной Республики Крым:

«“Паўлінка” не перестает быть интересной людям…»

В детстве я все время слышала: «Театр Янки Купалы», «Театр Янки Купалы»… Помню, как я спросила у бабушки, что это такое. Она мне рассказала, но мне тогда было лет пять, и я так и не поняла. Потом я посмотрела «Паўлінку» с дедушкой (народный артист Беларуси Глеб Глебов, в «Паўлінке» исполнял роль Пусторевича. — *Ред.*), но тоже особенно не поняла, где там Янка Купала, кто такая Павлинка: в детстве же все совершенно по-другому воспринимается. И вот как-то мы гуляли с бабушкой и оказались возле Музея Янки Купалы. Бабушка стала мне рассказывать про этого человека, про тетю Владю, уже после, дома, показала мне фотографии. И, наверное, моим первым впечатлением о Янке Купале стали именно эти фотографии. Мою романтическую детскую натуру он впечатлил. Во-первых, он показался мне очень красивым: шляхетная красота, тонкие, прекрасные черты лица (у меня были фотографии Купалы средних лет). Во-вторых, у него были глубокие, очень грустные, трагичные глаза, кстати, на это я до сих

пор обращаю внимание на всех его портретах: и фотографических, и живописных. Природа этой грусти понятна — иначе бы он поэтом не был: он умел воспринять жизнь близко даже не к сердцу и не к душе, а еще к чему-то более тонкому…

Я благодарна ему за то, что он белорусский поэт. Потому что он был бы не менее известным, а то и более известным, если бы он был польским поэтом, что было бы для него легко, я думаю, — он прекрасно писал и говорил по-польски.

Мой дебют связан с Янкой Купалой, хотя я никогда не думала, что сыграю Павлинку. Т. е. это была такая мечта, о которой не хочется даже думать, чтобы потом не жалеть, что не исполнилась. Но мне очень повезло. И сколько я играла Павлинку, столько я получала удовольствие, столько я в этой простой истории взрослела как актриса (а роль Павлинки я исполняла 18 лет). Это династическая постановка: в ней был занят дедушка, потом я, сейчас Павлинку играет моя дочь Валя (актриса Купаловского театра Валентина Гарцуева. — *Ред.*). Простая история, написанная очень красивым, сочным языком, веселая, яркая, радостная… Но в ней есть очень трагические нотки, которые мне всегда важно было по-актерски усилить, — невозможность быть с Якимом, препятствия для любви. И удивительно: сколько бы ни играли, когда бы ни играли — эта история не перестает быть интересной людям. На нее ходили, когда я была крошечной, на нее ходили, когда я играла, сегодня ходят, приводят детей, внуков… Это непостижимо, и разгадать эту загадку невозможно.

Я счастлива, что играла в «Тутэйшых», этот спектакль неподражаемо поставил Николай Пинигин. И мне бы хотелось еще поработать с драматургией Купалы. Хотелось бы Марылю сыграть в «Раскіданым гняздзе», вдруг получится — я буду очень рада. Хотя я играла в «Раскіданым гняздзе», когда училась в Минском институте культуры. Я играла в этой пьесе Зоську.

Мне кажется, что у нас, белорусов, есть такое неприятное качество: нам очень нравится что-то не наше, что-то чужое. Мы очень любим восхищаться чужим, действительно прекрасным, но чужим. Мы не умеем возводить на пьедестал свое. А если взять поэмы Купалы, его дореволюционное творчество, драматургию, переводы. Это же пласты, это чеховское наследие! Он нам дал, а мы не берем, вот так мне кажется. Я думаю, что лучше его никого нет и не будет. Да, есть Богданович, есть Короткевич, но Янка Купала — это вершина вершин.



Николай ПИНИГИН,
художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы:

«Многое, о чем он мечтал, осуществилось…»

Про Купалу тяжело говорить, потому что он мощный поэт, выдающаяся личность, и сколько про него ни говори, как ни говори — будет несоразмерно.

В нашем театре идет «Паўлінка», шли «Тутэйшыя», «Раскіданае гняздо», но Купала для меня прежде всего поэт. Любимый поэт, который проявил через белорусский язык особенную, характерную только для нашей земли красоту. Он был одним из тех людей, которые в начале прошлого века мечтали о независимости Беларуси. Он был интеллигентным человеком, хотя и писал: «Я — мужык-беларус…» Многое, о чем мечтал Купала, осуществилось. В пьесе «Тутэйшыя» он писал, что когда-нибудь у нас, может, и появится свой университет. Сегодня он у нас не один — их много. Мечты осуществились. Да, мы можем сетовать на сегодняшнюю Беларусь, но у нее есть государственность и она развивается. Тяжело, мучительно, но развивается.

Я поставил пьесу «Тутэйшыя» в 1990 году. Спектакль шел довольно долго, кажется, еще четыре года назад появлялся в афише. Я думаю, этот спектакль сделал свое дело, по крайней мере, одно поколение белорусов его посмотрело и поняло, что хотел сказать Купала. У этой пьесы мученическая судьба: ее запрещали в 20-е гг. прошлого века, к ней не очень хорошо относились в последние годы ее существования в нашем веке.

Я снял «Тутэйшых». Виктору Манаеву, который играет молодого неженатого парня Микиту Зносака, уже за пятьдесят; других актеров возрастное несоответствие тоже коснулось… «Тутэйшыя» — лучшая пьеса Купалы, пьеса на все времена. Но повторять ее я не буду. Пусть мои «Тутэйшыя» останутся в том времени, в котором появились, с тем же финалом, в тех же декорациях. Он был удачным в свое время, получил Государственную премию Республики Беларусь, но в одну реку нельзя войти дважды. Когда-нибудь эту пьесу поставит кто-нибудь другой.

В этом году исполняется 100 лет со дня написания пьесы «Паўлінка», а в следующем — 100 лет со дня ее первой постановки в Петербурге. В 2013-м я собираюсь обновить «Паўлінку», которая идет у нас с 1943 года в постановке Льва Литвинова. Спектакль требует обновления: декорации, костюмы, ввод молодых актеров.

Юбилей ничего такого особенного не значит, не только по поводу круглых дат наш театр обращается к творчеству Янки Купалы. Но осенью мы сделаем небольшой вечер его стихов и поэм, так мы отметим юбилей. Сейчас театр находится на реконструкции, у нас нет возможности делать полноценный репертуарный спектакль по произведениям Янки Купалы. Но я думаю, что все это у нас еще впереди. Может быть, мы поставим что-то из его поэм, например, «Адвечную песню» или «Сон на кургане».

Для белорусов Янка Купала — это все, в этом человеке соединяется и гражданин, и лирик, и философ. Но главное, что он создавал ценности на родном языке. В культуре самое важное — это создавать ценности. Только этим мы интересны миру, только своими ценностями: культурными, языковыми, поэтическим, театральными. Янке Купале удавалось создавать и быть интересным.



Светлана НАУМЕНКО,
режиссер-постановщик Республиканского театра белорусской драматургии:

«Янка Купала обогатил белорусский язык»

Работая над спектаклем «Янка Купала. Круги рая» в качестве автора пьесы и режиссера-постановщика, мне довелось в течение полутора лет изучать как литературные произведения Янки Купалы, так и исторические документы, связанные с его биографией. До того как я занялась этим театральным проектом, у меня были расхожие, общепринятые и стандартно установленные понятия о народном поэте Беларуси Янке Купале как об «иконе белорусской культуры», а браться за работу, не имея личного, абсолютно личного отношения к Человеку, о котором делаешь спектакль, совершенно невозможно. Поэтому Янка Купала должен был стать для меня человеком с конкретной судьбой, поступками,

мыслями, желаниями. Читая его произведения, хронометрируя их с историческими фактами биографии, я испытала боль, восхищение и некое уверенное предчувствие того, что театру удастся сказать о Поэте нечто новое или посмотреть на его жизнь и смерть другими глазами…

Я не филолог и не языковед, но понимаю, что кроме той глыбы животворного культурного слоя, который Пушкин принес в пространство России, этот поэт еще может считаться одним из создателей современного русского языка. Сам по себе русский язык — это одно из осязаемых богатств нации. Такого уникального языка в мире больше нет! На мой взгляд, Янка Купала выполнил такую же миссию для белорусского языка: обогатил его, расширил границы происхождения и образования новых слов, усложнил синонимический ряд и т. д.

Вот почитайте, какая красота с точки зрения литературного языка и образности:

Удар, душа, удар ты, сэрца,
Па струнах думак-весялух!
Збудзіце ўспаны ў паняверцы
Жыццяя змянлівага мой дух.

Или вот эти стихи, в которых звучит почти шекспировская тональность:

Мяцеліцы нашу айчызну зглушылі;
Найлепшых авечак уносяць звяры;
Жыццё тут заціхшы, як сон у магіле:
Тут цёмна, не знаці ні дня, ні зары.

В стихах Янки Купалы помимо утонченного белорусского языка есть потрясающий ритм, внутренний темп, который очень хорошо ложится на музыку. Именно поэтому в нашем спектакле звучат шесть песен на стихи Янки Купалы, которые до этого никогда не исполнялись. Это абсолютно новые музыкальные произведения, которые могут существовать самостоятельно. Удивительно то, что так мало сейчас появляется песен на стихи Янки Купалы, они так актуальны и способны звучать в самых разных музыкальных жанрах и аранжировках:

Маці мая, маці
Што ж ты мне зрабіла, —
За што гараваці
На свет нарадзіла?
За што, за што
Твой сын бядак,
За што, за што
Ён плача так?
— Скажы!

Если говорить о значении творчества Янки Купалы для национального самосознания, то его произведения 1905—1926 гг. — это жгущие сердце призывы к белорусам понять значение своей нации, ощутить гордость за нее. На мой взгляд, национальное самосознание и самоидентификация нации происходят, в первую очередь, посредством литературы и искусства, корни которых исходят из народной культуры. Истинный писатель, мыслитель, деятель искусства по-настоящему народный в том случае, когда его волнует судьба народа, частью которого он является. Янка Купала отдал свое сердце народу, и эту любовь он пронес через все испытания, выпавшие на его долю в то жестокое время, в которое ему довелось жить и умереть.

Актуален ли Купала сегодня? Как настоящий классик он очень современен. Сегодня нужно читать его стихи и поэмы, чтобы понять точность его предвидения того, как будет развиваться история страны. Купала нужен нам сегодня…

Можно обратиться к Янке Купале его же словами:

Паўстань з народу нашага, прарок,
Праяваў бураломных варажбіт,
І мудрым словам скінь з народу ўрок,
Якім быў век праз ворагаў спавіт.

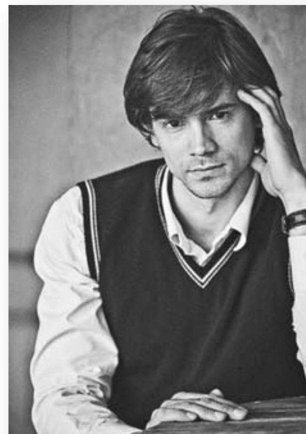


Олег МОЛЧАН,
композитор:

«Стихи Купалы — это песни…»

Что могут сказать белорусы о Янке Купале, я не знаю, потому что не могу отвечать за всех белорусов. Без всякого сомнения, Я. Купала одна из самых выдающихся личностей в истории Беларуси. Он своим творчеством внес неоценимый вклад в развитие белорусской культуры, и как следствие — духовности, ментальности и самосознания белорусов. Я. Купала — это целая эпоха национального возрождения и популяризации белорусского языка и белорусской самобытности. В своем творчестве и гражданской позиции он четко определял концепцию государственной независимости, которая была, да и сейчас, так необходима белорусам. Я однозначно могу сказать о том, что Янка Купала для белорусов — это то же, что Пушкин для русских… К сожалению, в последнее время уделяется так мало внимания родному языку и литературе, а ведь именно культура, которую донесли до нас такие выдающиеся деятели, как Я. Купала, дает нам возможность быть независимой нацией и с гордостью называться белорусами. Самосознание нации начинается с самоуважения, почитания собственных истоков, изучения своей национальной культуры.

Вся моя творческая судьба неразрывно связана с именем Янки Купалы. Первый хоровой цикл был написан мною в 1989 году на слова поэта и назывался «Я нясу Вам дар!». До сих пор этот цикл исполняют многие хоровые коллективы нашей страны, а также изучают в музыкальных учебных заведениях. Работая в ансамбле «Песняры», я много времени уделял творчеству Я. Купалы, постоянно обращаясь к стихам великого песняра Беларуси. Одно из самых моих значительных произведений — «Молитва» — также было написано на его слова. Наверное, это единственная песня, которую я создавал очень долго, на протяжении нескольких месяцев. Впервые она была исполнена народным артистом СССР Владимиром Мулявиным в 1994 году. На сегодняшний день существует много новых редакций моей песни — она живет. Сейчас мною написана большая юбилейная программа на стихи Я. Купалы, посвященная 130-летию со дня рождения великого белорусского поэта, которая называется «Моя молитва». Музыкальную программу планирую осуществить в этом, юбилейном году при поддержке Министерства культуры Беларуси. Погружаясь в атмосферу купаловской поэзии, постоянно находясь в творческом союзе с ним, размышляя на предмет воплощения стихов, невозможно не быть не подверженным влиянию его поэзии. Стихи Я. Купалы — это «песни», которые очень легко воплощаются в музыкальных интонациях и мелодиях и вместе с тем необычайно легко воспринимаются на слух, это те мысли и образы, которые вмиг рождаются в твоем воображении и становятся музыкой. Здесь сочетание нежной лирики, самобытного белорусского юмора, народной мудрости, драматизма. Все эти грани поэзии тесно переплетаются между собой и создают необычайное множество образов, которые вдохновляют на творчество. Понять поэзию Я. Купалы не составляет большого труда, потому что все образы взяты из реальной жизни, они просты и даже иногда наивны с точки зрения современного человека. Но главное — за этим разглядеть философию творца, который своими произведениями учил белорусов любить свою землю, ценить свободу и беречь свою культуру. Безусловно, я считаю, что Янка Купала актуален сегодня как никогда.



Денис ПАРШИН,
артист Театра белорусской драматургии, исполнитель роли Я. Купалы в пьесе «Янка Купала. Круги рая»:

«Быть в роли поэта — погрузиться в мир одиночества…»

Янка Купала — создатель белорусского языка! Создатель высокодуховного, высоколитературного, поэтического языка! И в этом смысле значение его творчества для белорусской культуры и литературы необъятно! А вот до национального самосознания, на мой взгляд, Купала так и не сумел достучаться... как ни старался... Непростая это задача, когда слушать либо не умеют, либо не хотят, либо боятся... А ведь он призывал свой народ быть деятельным, самостоятельным, исполненным гордости за себя и своих предков...

Не каждому актеру выпадает счастье на веку исполнить роль поэта... Тем более, если этот поэт — Я. Купала! Это большая радость и удача, но вместе с тем, и большая ответственность. Погрузиться в мир поэта — это значит погрузиться в мир вселенского одиночества и меланхолии, в мир, где нет места несправедливости и фальши, в мир, где трагедия общая — становится трагедией одного... Один за всех нас.

Повлиять на гражданскую позицию, мировоззрение людей всегда очень сложно... А вот поэзия великого Я. Купалы попадает прямо в сердце, затрагивая самые тонкие и потаенные струны души, извлекая ту пронзительную и неповторимую музыку, которая способна изменить многое...

Актуален ли Купала сегодня? Актуален как никогда! Но не все об этом знают… И задача творческой интеллигенции сделать так, чтобы те темы, те мысли, те проблемы, которые поднимал в своих произведениях белорусский Песняр, зазвучали в нашей современности с новой силой, запылали над нами неугасающим огнем веры в нацию и людей!



Выбор Ларисы Ивановой

Пять книг писателей Витебщины

Виктор УЛЮТЕНКО (Антон Параскевин).

«Детям о труде», «Детям о Любви», «Детям о Крещении».

Мн., Изд-во «Белорусская Православная Церковь», 2011, 2012 гг.

В Минском издательстве «Белорусская Православная Церковь» (Белорусский Экзархат Московского Патриархата) вышла в свет серия книг для детей: «Детям о труде», «Детям о любви», «Детям о Крещении».

Наряду с произведениями классиков в эти книги вошли и произведения современных писателей, в т. ч. рассказы Витебского писателя Виктора Улютенко (Антона Параскевина): «Пашкин клад», «Настин серп», «Божий ключ». Они адресованы детям среднего школьного возраста.

В рассказе из сборника «Детям о труде» — «Пашкин клад» повествуется о том, как важно в жизни добросовестно учиться и трудиться.

Рассказ «Настин серп», в котором говорится о работе кузнеца, учит, что к любому делу нужно подходить с любовью, тогда рождается и любовь к людям.

В помещенном сборнике «Детям о Крещении», в рассказе «Божий ключ», говорится о том, как святой родник не только очищает от грехов душу и исцеляет тело, но и роднит людей, помогает найти новых друзей.

Виктор Улютенко глубоко верующий человек, все его рассказы проникнуты любовью к Богу и людям.

Фёдар ПАЛАЧАНІН.

«Даравальная нядзеля». Драматургія.

Мн., «Кнігазбор», 2012 г.

В своем литературном творчестве Федор Полочанин постоянно обращается к религиозной тематике. Ей посвящены многие его работы. В художественных произведениях религиозная тема идет рядом с темой любви и дружбы.

Новая книга Федора Полочанина адресована руководителям драматических коллективов, работникам отделов культуры, педагогам и читателям, интересующимся драматическими произведениями.

В нее вошли произведения, в которых поднимаются актуальные проблемы. Книга отличается жизненной правдивостью, глубоким психологическим анализом, неординарным взглядом на жизнь.

Пьесы автора пользуются большим успехом у читателей и зрителей. И поэтому не случайно, что они попадают на сцену раньше, чем в печать.

ТРОФИМОВА Г. В., ТРОФИМОВ С. А.

«В мире зеленых чудес» (из серии книг «Рассказы Деда Природоведа»).

Страницы книги «В мире зеленых чудес» приглашают в путешествие к зеленым тайнам природы. Читатели узнают: может ли кровь быть зеленой?

У каких рыб кости зеленые? Оправдывает ли свое название зеленая жаба? Кому удалось разгадать тайну зеленого питона? Какое любимое лакомство у зеленого дятла? Есть ли польза от зеленой плесени? Из чего получают зеленый чай? Где расположена «Зеленая страна»? А еще познакомятся с зеленчуком, зеленушкой, зеленоглазкой и другими растениями и животными.

ТРОФИМОВА Г. В., ТРОФИМОВ С. А.
«Почемучкам о слезинках» (из серии книг «Рассказы Деда Природоведа»).

Новые открытия ждут юных читателей на страницах очередной книги из серии «Рассказы Деда Природоведа» «Почемучкам о слезинках». Почему у человека слезы соленые? Полезно ли человеку плакать? Могут ли плакать животные? Какой гриб «плачет», когда дом ест? Почему «льет слезы плакун-трава? Правда ли, что жемчуг рождается из слез? Какие деревья перед дождем «слезы роняют»? Как выглядят кукушкины слезки? Что такое «слезы апачей»? Почему ценятся «золотые слезы», вытекающие из скал? Что собой представляют «слезинки неба»? На эти и многие другие вопросы можно получить ответ, прочитав эту книгу.

ТРОФИМОВА Г. В., ТРОФИМОВ С. А.
«Отчего небо голубое, а море синее?» (из серии книг «Рассказы Деда Природоведа»).

Книга открывает читателям новые тайны природы. Мальчики и девочки найдут на ее страницах ответы на многие вопросы: почему небо голубое, а море синее? Что особенного в Голубых озерах? Где находится и чем удивляет Синий камень? Почему у человека вены голубые? Кому синяк в радость? Где растут голубые незабудки? Есть ли сорока с голубыми перьями? Какие рекорды принадлежат синему киту? Можно ли наяву повстречать синюю птицу? На эти и другие вопросы ответит Дед Природовед.

Книги природоведческой серии адресованы детям младшего школьного возраста. Ребята найдут ответы на многие вопросы, связанные с тайнами природы, а игротека Деда Природоведа предлагает юным читателям занимательные задания и головоломки, позволяющие в игровой форме получить новые знания.



История одной фотографии

Янка Купала в творчестве скульптора Аникейчика

В центре одного из центральных и любимых скверов минчан — имени Янки Купалы — находится памятник поэту: Янка Купала будто вышел на прогулку, набросив пальто и взяв в руки трость, больше напоминающую посох. Остановился, задумался о чем-то. Спокойный, немного отрешенный взгляд, направленный куда-то вдаль...

Кажется, что памятник Я. Купале всегда стоял на этом месте. На самом деле его установили сорок лет назад, в 1972 году, к 90-летию со дня рождения поэта. Над памятником работал творческий коллектив скульпторов — А. Аникейчик, Л. Гумилевский, А. Заспицкий — и архитекторов — Л. Левин и Ю. Градов.

С одним из тех, кто стоял у истоков создания этого памятника, — архитектором Л. М. Левиным — я встретилась у него на квартире. Леонид Менделевич показал фотографию, на которой трое из творческого коллектива — А. Аникейчик (слева), Л. Левин (в центре) и Ю. Градов — стоят как раз на том месте, где теперь установлен памятник, и обсуждают его проект.

— Творчество скульптора Анатолия Аникейчика в начале семидесятых годов прошлого столетия было тесно связано с личностью белорусского песняра. В 1971 году было изготовлено надгробие Я. Купалы на минском Военном кладбище, в 1972 году — памятник поэту в сквере его имени, а в 1973-м — бронзовый бюст поэта, который был установлен в Нью-Йорке, в Арроу-парке. Мы делали также памятник в музее в Левках, — рассказывает Леонид Менделевич. — Анатолий



Александрович жил в то время Купалой. Конечно, над проектами работал творческий коллектив, в составе которого были и другие скульпторы и архитекторы, но самого Купалу лепил Аникейчик.

Когда работали над проектом памятника в сквере, собирались вечерами, читали Купалу, обсуждали. Вспоминали поэта, его теплое отношение к простым людям.

Он не был для нас незнакомцем — скорее родным человеком по каким-то внутренним нашим ощущениям, по теплоте, которая исходила от личности поэта, которую мы познавали в ходе работы. Таким и хотелось преподнести Янку Купалу народу. Мы долго думали, каким делать памятник. Во-первых, он будет установлен возле музея его имени, где когда-то он жил. Во-вторых, мы хорошо знали тетю Владю — Владиславу Францевну, жену Янки Купалы. Мы с нею общались. Ее, конечно, волновало внешнее сходство памятника с любимым человеком, а мы думали об обобщенном образе поэта. Люди уже тогда воспринимали Купалу как что-то прошедшее, как события 1812 года, а для нас он стал живым, близким. И мы сделали его таким «вандроўнікам» — странником с накинутым пальто, с посохом в руке. Владиславе Францевне памятник понравился.

С течением времени начинаешь понимать, что эта работа была для нас большим событием.

В разговоре с Леонидом Менделевичем вспомнили, что в июле будет не только юбилейная дата Янки Купалы — 130 лет со дня рождения, но и юбилей скульптора Анатолия Александровича Аникейчика, которому 11 июля исполнилось бы 80 лет.

— Проходят годы, и начинаешь понимать, кто был рядом с тобой, — говорит Леонид Менделевич. — Анатолий Аникейчик был удивительным человеком. Это не потому, что мы всегда хорошо говорим о прошлом, он и в настоящем был очень ярким, энергичным, эмоциональным человеком. Глыба такая! Наша глыба. У него было много друзей, хотя были и недруги, а вернее сказать, завистники. Но это была такая фигура, такая глыба, от которой отскакивали все эти мелкие осколки.

Мы с ним работали, дружили семьями. Первое знакомство наше состоялось, когда мы создавали памятник Николаю Гастелло в Радошковичах. Он скульптор, я архитектор. Он хорошо понимал роль архитектора в возведении памятника. Очень прислушивался к предложениям. Мы вместе обсуждали, рисовали проект. Скульптор и архитектор — это единое целое. И кто это понимает, тогда и работа в радость для обоих.

А. А. Аникейчик вошел в историю белорусского искусства не только как создатель памятников Янки Купалы и многих других известных деятелей. Он воспел подвиг белорусских партизан в Великой Отечественной войне. Создал такие мемориальные комплексы, как «Прорыв» в Ушачах Витебской области (вместе с архитекторами Л. Левиным и Ю. Градовым) и «Проклятие фашизму» на месте деревни Шуневка в Докшицком районе Витебской области. Он был отмечен многими государственными наградами Беларуси, в том числе и Государственной премией БССР вместе со скульпторами Л. Гумилевским и А. Заспицким — за создание памятника Янке Купале в сквере его имени. Был удостоен звания народного художника БССР.

— Смерть Анатолия в возрасте 56 лет, он умер в 1989 году, в самом расцвете, — это была большая утрата для белорусского искусства, — вспоминает Леонид Менделевич. — Эта была личность колоритная, со своим мнением, мог сказать в глаза все, что думал, отстаивал свои проекты. Я работал со многими скульпторами, поэтому могу сравнивать. Анатолий в скульптурах выражал себя, свои эмоции, был очень чувствительным — он был депутатом, членом партии — всегда прислушивался к мнению народа, уважал традиции. Эти качества проявились во время работы над мемориальным комплексом «Прорыв». Памятник получился экспрессивным, партизаны показаны в движении.

Это был талантливый человек. Очень тонко чувствовал людей, с которыми работал. Он был одним из самых ярких творцов. Были в то время и другие яркие скульпторы — и Бембель, и Селиханов, и Азгур. И он был в этом ряду. Мне повезло в жизни, и я благодарю судьбу, что она свела меня с этим человеком. Я мечтаю написать книгу об Аникейчике. Помню встречи с ним, его разговоры с художниками, споры о жизни, об отношении к искусству. Уходит наше поколение, и о таких людях, как Анатолий, должно знать молодое поколение. Как делали мемориал «Брестская крепость». Он как скульптор все лепил своими руками. Во время работы в Ушачах он такие глыбы сам ворочал! Не ждал помощи. Все диву давались, какой он был крепкий парень.

Татьяна КУВАРИНА.
Фото Юрия ИВАНОВА
(из архива Л. Левина).

Жизнь в искусстве

Найти и перепрятать

Минские зрители увидели театральные размышления драматурга Елены Поповой и режиссера Виталия Барковского о том, чем заканчиваются женские поиски настоящего мужчины, и задумались о том, чем могут закончиться поиски творческие.

Майские гастроли Смоленского государственного драматического театра им. А. С. Грибоедова в Минске (на площадке Белорусского государственного академического музыкального театра) прошли как-то незаметно (и речь не о заполняемости зала). Хотя, казалось бы, спектакли смолян должны вызывать особенный интерес у белорусской публики — с 2010 года театр возглавляет белорусский режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, экспериментатор, авангардист Виталий Барковский.

Возможно, одной из причин этой «незаметности» стал подбор спектаклей — сплошь комедии. Весной 2011 года Смоленский государственный драматический театр им. А. С. Грибоедова привез в Минск пять спектаклей, среди которых были «Ревизор» Н. Гоголя в постановке Анатолия Ледуховского с провокативным режиссерским решением и «Вишневый сад» А. Чехова, постановка в фирменном стиле Виталия Барковского. В этот раз в гастрольный репертуар вошли: «Боинг-боинг» М. Камолетти, «Слишком женатый таксист» Р. Куни и «Ищу настоящего мужчину» Е. Поповой. Репертуар, безусловно, кассовый. Но последнее название обращает на себя особенное внимание: драматург и режиссер — белорусы.

Виталий Барковский, поставивший спектакль «Ищу настоящего мужчину», заслужил репутацию не только режиссера-экспериментатора, но режиссера, который много и последовательно работал и работает с современной белорусской драматургией. И с плохой, и с хорошей, с той, что появлялась раньше победного шествия «новой драмы» (и, кажется, к «новой драме» Виталий Михайлович не проявляет никакого интереса). Плохие пьесы Барковский нещадно перекраивает, оставляя в них только необходимое — действие, конфликт. С хорошими обращается бережно. С драматургом Еленой Поповой у режиссера Виталия Барковского сложился творческий тандем. Их последняя совместная работа — спектакль «Этюды любви» — удостоен Гран-при III Международного театрального фестиваля «Смоленский ковчег». Правда, в этот раз Смоленский театр привез в Минск не «Этюды о любви», а другую совместную работу, которая появилась в репертуаре еще в 2009 году, — спектакль «Ищу настоящего мужчину» по пьесе «Нужен муж для поэтессы». В Беларуси эта пьеса была поставлена в Минске, Гродно, Молодечно. На сцене Минского областного драматического театра ее, кстати, воплотил в 2006 году Виталий Барковский, и «отголоски» этой работы слышны в смоленском спектакле «Ищу настоящего мужчину».

Режиссер определил жанр постановки как «почти смешная история». Вокруг одинокой Поэтессы много мужчин: неудачник, которого третирует теща; Настоящий мужчина, которому удалось открыть свое дело — пиццерию; учитель пения, который неравнодушен к Поэтессе потому, что толстые стены ее квартиры наконец-то позволят ему музицировать, не мешая соседям… Но кажется, что если и найти среди них кого-то, то лучше сразу перепрятать. И, несмотря на советы приземленной подруги, которая когда-то увела жениха и знает, как жить, быть одной, но свободной…

Драматург максимально типизирует своих героев. К некоторым из них, правда, обращаются по именам — Гена, Паша. Но сколько таких ген и паш вокруг? Определяющими для героев становятся черты характера и иногда их проявление через внешние признаки: Поэтесса, Настоящий мужчина, Мужчина в шляпе, Красавчик. Режиссер максимально отстраняет их от реальности. Помещает в белое (выставоч-

ное, галерейное) пространство: над сценой раскинула крылья белая птица, на героях белые или светлые костюмы, вокруг белые декорации (художник-постановщик — Светлана Архипова, художник по костюмам Анастасия Шведова). Сочетает текст с физическим действием, где именно физическое действие раскрывает подтекст — например, Поэтесса говорит и ходит кругами, Настоящий мужчина выходит к зрителю подняв выбеленные мукой руки вверх, и кажется, он не сделает этими руками ничего, кроме необходимого.



Сцена из спектакля «Ищу настоящего мужчину». Настоящий мужчина (Олег Кузьмищев) и Подруга (Ирина Лисенкова).

Режиссерская манера Виталия Барковского отличается вольным обхождением и экспериментами с хронотопом спектакля. Это один из немногих белорусских режиссеров, которому подвластен, например, десятиминутный бессловесный пролог спектакля с минимальным физическим действием или использование такого средства выразительности, как повтор, в том числе и вербальный. Барковский не боится пауз. И по-своему воплощает чеховское утверждение о том, что «люди обедают и только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни». Правда, мелодраматическая комедия — это неплодородная почва для режиссерских экспериментов, но элементы «фирменного стиля» отчетливо видны и в ней: жизни героев рушатся, пока они всего лишь говорят о чугуне, а паузы в постановке — не только музыкальные.

Спектакль «Ищу настоящего мужчину» для Барковского не поиск нового приема, метода или новой точки их приложения, а скорее ремесленная работа с уже найденным. Но спектакль заставляет обратить на себя внимание даже в незаметной гастрольной афише. Потому что имя режиссера гарантирует зрителю не одноуровневую комедию, а многослойный спектакль, где каждый зритель обнаружит свой «культурный слой», а для кассовой комедии это сегодня редкость. А еще потому, что в белорусских театральных афишах имя Виталия Барковского встречается сегодня достаточно редко. Спектакли, поставленные им когда-то в должности главного режиссера Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа или в качестве приглашенного режиссера в других театрах, потихоньку исчезают из репертуаров, а на новые постановки Виталия Михайловича звать не торопятся…

Мне не кажется, что творческий метод Виталия Барковского сегодня на сто процентов современен, и тем более, что он легок для зрительского восприятия. Но ведь театр должен быть разным. Опыт Барковского уникален для Беларуси — с какими бы режиссерами театроведы ни проводили параллели. Он был, есть и останется уникальным, потому что Барковский работал в Беларуси и преимущественно с белорусскими текстами. Удивительно только, что я употребляю глагол «работал» в прошедшем времени, Виталий Михайлович ставит белорусские пьесы в Смоленске, а мы в очередной раз по непонятным причинам легко расстаемся с теми ценностями, которые нужно беречь.

Елена МАЛЬЧЕВСКАЯ

ЕЛЕНЕВСКИЙ Николай Васильевич. Родился в 1948 г. в д. Лунин Лунинецкого района Брестской области. Окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Печатался в отечественных и российских журналах. Автор книг «Время пастыря» и «Небесный штурмовик». Лауреат областной литературной премии им. В. Колесника и премии Белорусского союза журналистов. Живет в Пинске.

ТЯВЛОВСКИЙ Андрей Константинович. Родился в 1976 г. в Минске. Окончил Белорусскую государственную политехническую академию. Кандидат технических наук. Поэт, переводчик. Стихи публиковались в журналах «Нёман», «Полымя», сборнике «День поэзии — 2005». Стипендиат Специального фонда Президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Живет в Минске.

ЖУР Алла Викторовна. Родилась в г. Марьина Горка Минской области. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор книги «На солнечной стороне дождя». Живет в Минске.

НОРИНА Ольга (Павлюченко Ольга Михайловна). Родилась в 1965 г. в Минске. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета. Автор поэтических сборников «Пока на свете есть сирень» (2009) и «Городская трава» (2011). Живет в Минске.

ГАПЕЕВ Валерий Николаевич. Родился в 1963 г. в д. Осово Рогачевского района Гомельской области. Окончил Минский электротехникум связи. Печатался в республиканской периодике, автор нескольких книг. Живет в г. Ивацевичи.

МАТЮХИН Леонид Григорьевич. Родился в 1943 г. в г. Мстиславль Могилевской области. Окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию. Автор восьми книг стихов и поэм. Живет в Витебске.

НИЧИПОРОВИЧ Денислав Иванович. Родился в 1939 г. в г. Ржев Калининской области. Окончил Полоцкий нефтяной техникум. Автор книги «Чистое небо». Живет в Минске.

КОРШУКОВ Евгений Иванович. Родился в 1932 г. в д. Давидовичи Калинковичского района Гомельской области. Окончил Белорусский государственный университет. Прозаик, поэт, переводчик, критик. Руководитель студии военных писателей. Автор многих книг. Лауреат литературного конкурса Министерства обороны Республики Беларусь. Живет в Минске.

КУПРЕЕВ Микола (Николай Семенович). Родился в 1937 г. в д. Ямное Рогачевского района Гомельской области. Окончил факультет белорусского и русского языка и литературы Брестского педагогического института. Автор семи книг прозы и поэзии. Умер в 2004 году в д. Лесная Барановичского района Брестской области.

САПАЧ Татьяна (Дубавец Татьяна Николаевна). Родилась в 1962 г. в д. Марково Молодечненского района. Окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор сборников поэзии «Восень», «Няхай не пакіне нас восень». Погибла в 2010 году.